1973



Молодая гвардия

СССР



Сергей Воронин

(К 60-летию со дня рождения)

Статью о творчестве писателя читайте на стр. 275.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

Молодая гвардия

1973
6

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

Наш адрес:

Москва, А-30, Сущевская, 21, редакция журнала «Молодая гвардия». Коммутатор: 251-15-00; отдел прозы — доб. 2-40; отдел поэзии — доб. 4-13; отдел очерка и публицистики — доб. 4-26; секретариат — доб. 4-16; отдел критики — доб. 4-14; отдел «Товарищ» — доб. 3-66.



Феликс ЧУЕВ

ВЫСОКОЕ ДЕРЗАНИЕ

Изгладится,
забудется,
сотрется
немало из того, что берегли.
Лишь ласка нестареющего солнца
согреет корни матери-земли.

Слетит с небес иное беспокойство
к мальчишкам новым,
к старым площадям,
и улыбнется юное геройство
округлым, допотопным кораблям.

...К высокому дерзанию готова,
притихла в ожидании страна.
И смотрят в небо площадь Комарова
и улица Степана Супруна.

* * *

Надо бы летчиков награждать
щедро,
по праву,
как в годы былые.
Можно им смело —
и многим —
вручать

в мирные дни
орден боевые.

Чтобы на улицах, в Первомай,
видели все их
при полном параде.
Труд их —
перчатки хоть выжимай,
труд их —
рука дрожит при докладе.

В небо взлетают не для наград,
не из-за денег —
обычные деньги.
Может, у слесаря
больше оклад...
Что ж вы так рано,
друзья, поседели?

И под глазами
мешки в тридцать пять,
и над бровями
морщины как крылья...
Надо бы летчиков
так награждать,
чтобы за них
ордена говорили.

ПЕСНИ

Песни, как и люди, отслужили...
Лишь иногда подступит к горлу ком:
«Веди нас в бой,
товарищ Ворошилов,
донецкий слесарь,
боевой нарком!»
«Веди нас в бой!»
И плачут ветераны,
и над гвардейским знаменем полка
плывут туманы,
как аэропланы,
вдали искрится сабельно река...

Песни молчат.
Но их не позабыли —
каждый куплет, как в ножнах, берегу.
Даже из пушек, тех,
что отслужили,
в трудную пору мы били
по врагу!
Время ракет и бешеных моторов,
помни о той решительной поре —
как воевала
гордая «Аврора»
вновь
в сорок первом
грозном октябре...

* * *

Женщина с ребенком на вокзале —
символ всех российских матерей.
Мы еще о ней не написали,
песню не придумали о ней.
Столько лет знакомая картина:
с чемоданом
отправленья ждать.
Видно, есть особая причина
ей с дитем далеко уезжать.

Нынче не военные перроны,
нынче не голодная нужда,
но опять, легки и непреклонны,
женщину увозят поезда.

И опять про дочку или сына
знает весь участливый вагон:
то ли к южной бабушке на дыни,
то ли к батьке в дальний гарнизон...

Дети привыкают понемногу
жить с людьми в машинах, катерках,
но запомнят первую дорогу
и себя
у мамы на руках.

* * *

Художник, василька не прозевай,
когда еще он только расцветает,
когда он слабый ротик разевает
на самый сладкий солнца каравай.

Не опоздай, художник, не проспи!
Искусство естества неповторимо,
и так легко под солнцем опалимы
его неоперенные ростки.

Он затвердеет вскорости, цветок,
заматереет в ливнях и пожухнет,
посмотришь ты — и вдруг под взглядом рухнет
последнего дыханья лепесток.

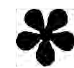
* * *

На лыжах по лужам
сквозь гам и капель
мы шумно утюжим
нагретый апрель.

Зима, до свиданья,
дай снегу отбой,
и наше катанье —
прощанье с тобой.

Прощайте, метели,
беззвездная хмарь.
Мы вышли в апреле
потешить январь.

Пока золотые
мы пьем облака,
пока молодые,
бессмертны пока.





Иван БУРСОВ

* * *

Какая сегодня луна под окном!
Явилась
как будто из давнишней были,
Закрыла полнеба червленым щитом,
Пахнула в лицо
зноем дикой ковыли.

Вот так же, наверно, вставала она
Над степью,
стекающей в полночь полого,
Где пусто звенели во мгле стремена
И ветер оплакивал внуков Стрибога.
К соленой земле пригвожденный стрелой,
Смотрел, как и я, сквозь смеженные веки
На эту луну
умирающий вой *,
С родимой землею прощаясь навеки.

Мой пращур,
сквозь сечь уходящий во тьму,
Ведет меня вновь половецкою степью,
Я накрепко,
вечно прикован к нему
Судьбой поколений — нервущейся цепью.

Проходят они под белой луной —
Меж Прошлым и Будущим прочные звенья...
Пусть помнит потомок неведомый мой
Стальное звено моего поколенья.

* Вой — воин, боец.

* * *

Кошу...
В росе соленой брови.
Машу размеренно и зло.
От запаха зеленой крови
Кренюсь, как птица на крыло.

Иду размашисто и косо,
Простор забытый обретя,
И никнут травы безголосо,
Как струи тихого дождя.

Жгут спину соляные капли,
Плывет в глазах зеленый цвет...
За дымкой,
опершись на грабли,
Мне чудится, стоит мой дед.

Стоит в своем далеком веке,
В крестьянские заботы врос.
Он знает только скрип телеги
И понаслышке — паровоз.

Стоит,
могучий и красивый,
Весь словно дуб
в тугих узлах...
Так радостно стекают силы
В косье,
гудящее в руках!
Кошу размашисто,
стараюсь.
Стелю в траве широкий след.
Спешу,
как будто пробиваюсь
Туда
к нему
сквозь толщу лет.
Кошу... Трава у ног дымится,
И я у лета на краю...
Не к деду я хочу пробиться,
А в суть крестьянскую свою.

* * *

В размытой солнцем синеве
Пугливый стриж метнулся слепо.
Лежит мальчишка на траве,
Упрямо вглядываясь в небо.

Ворчит под кручею река,
Споткнувшись о случайный камень.
Плывут по небу облака,
Спешит мечта за облаками.

О, эта детская мечта
О дерзких подвигах и славе!
Она
наивна и чиста,
И выбирать дороги вправе,
Прямые выбирать пути,
И видеть цель
цветно и крупно.
Ведь только в детстве
впереди
Все достижимо и доступно.

Лежит мальчишка на траве,
От солнца заслонясь руками.
Что разглядел он в синеве
За розовыми облаками?

Расти ему сквозь свет и тьму,
Он только почка,
только завязь,
Но у меня сейчас к нему
Большая
искренняя зависть.

Все,
что имею, что достиг,
Я отдал бы без разговора
За этот изначальный миг
Мечты,
надежды
и простора.





Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ

Черная буря

РОМАН

Рис. Н. УСАЧЕВА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Местный поезд, постукивая колесами на стыках рельсов, не спеша двигался по приазовской равнине. Зерновые были уже скошены, обмолочены и увезены. Жнивье вспахали и засеяли озимой пшеницей. Вороные массивы сыто отсвечивали под луной, пала роса. В открытые окна влетали пьянящие запахи конопли и тонкие — кукурузы. Хотя комбайны отдыхали до первой зари, казалось, еще не осела золотистая, духмяная пыльца сухих кукурузных початков.

Паровоз тоже дышал, как и поля, выбрасывал клубы дыма, иногда протяжно гудел, предупреждая сонных возниц на переездах, а проходя над речками, ронял в черную воду искры.

В поезде ехала молодежь. Проводницы комсомольской бригады, одетые как стюардессы, легко принимали шутки и комплименты. Они не разносили чаи и сухарики, такого в местном поезде не полагалось, и охотно поддерживали песни и веселый разговор студенческих бригад, ехавших из города помочь колхозникам быстрее убрать свеклу и

кукурузу. В поезде ехали не только студенты, были и те, кто срезался на экзаменах. И что бы там ни произошло, какие бы молнии ни сверкали над головами веселых пассажиров, молодость брала свое, ведь так или иначе судьбы их были надежно обеспечены всем строем раз и навсегда крепко установленной жизни.

Поезд шел к Прилиманску, пересекая приазовскую равнину. Здесь, среди обширных степей, вблизи тягучих, медлительных рек, на карбонатных черноземах, два века назад расселилось большинство казаков-черноморцев бывшего запорожского войска. Старожилы упрямо называют эту равнину с е ч е в о й степью, как именовали ее лирники, певшие под звуки немудреных гуслей.

Еще при посадке, пока поезд не тронулся, в общий вагон вошел молодой человек с чемоданом, в пиджачной паре и немаркой летней шляпе, которую он аккуратно снял, устроившись на краешке нижней полки.

Его малозагорелое скуластое лицо обрамляли черные баки, на губах поигрывала улыбочка, хотя глубоко посаженные глаза глядели угрюмо, настороженно.

Его, по-видимому, не трогало чужое веселье, молча, приподнимая то одну, то другую бровь и пожимая плечами, он дождался, когда поезд тронется, потеснил плечом соседа, паренька в расстегнутой ковбойке, и поставил между ним и собой новенький чемодан. Справившись с первой задачей, он, чуть приподнявшись и наклонив голову, чтобы не стукнуться о верхнюю полку, снял пиджак, проверил боковой карман, заколотый булавкой, и бережно положил пиджак на чемодан.

Город с множеством огней остался где-то позади. За окнами вагонов стояла теплая и густая южная ночь.

В вагоне пуще прежнего веселилась молодежь. Резкие, петушиные голоса недавних подростков врывались в общий гомон, забренчали гитары — одна, вторая, — заглушившие монотонный голос радио; возникли песни, пока еще нестройные, разные, кто-то старался кого-то перекричать. Пассажир с бачками, почмокав губами, обратился к сидевшему рядом пареньку:

— Что-то уж очень шумно.

— Шумно? — паренек удивленно округлил глаза и, сложив ладонь к ладони у рта, довольно искусно закудахтал: — Как, получается имитация? — И, вспомнив о вопросе соседа, добавил: — Подождите, на голове начнем ходить!

Сверкающие глаза паренька, взъерошенные волосы, пушок на верхней губе и подбородке, неуемная восторженность и ломкий голос говорили о крайней молодости. В таком возрасте юноша не понимает, почему, не зная броду, нельзя лезть в воду, зачем много раз мерить, чтобы раз отрезать, или, следуя кривой пословице, послать в пекло сначала своего батьку, а потом уж самому принимать решение.

Паренек в ковбойке, кого-то увидев и сглотнув слюну, с бесшабашной непосредственностью закричал:

— Зоя! Держу место! Тарасенко! Слышишь?

— Слышу, Петя! — ответил уравновешенный девичий голос, и вскоре, раздвигая столпившихся в проходе парней, подошла девушка в газовой косынке, сдвинутой почти на затылок. — Разрешите?

Паренек поставил на пол чемодан соседа, обдул место, предназначенное для девушки, и, сочинив нечто похожее на приветственный жест д'Артаньяна, усадил Зою рядом с собой.

— Водички нет?

— Лимонад устраивает?

— Вполне, — ответила Зоя, искоса бросив взгляд на незнакомого мужчину.

Выпив лимонада из горлышка, Зоя возвратила бутылку Пете, достала из сумочки зеркальце и, поворачиваясь к свету лампочки то одной, то другой щекой, вытерла платочком лицо, покусала губы, улыбнулась:

— Петя, ты тоже по сочинению?

— По сочинению, — кивнул Петя. — Достался мне Грибоедов, а я таскал себя за чубчик по Пушкину... — И, найдя общую, близкую им тему, они жарко заговорили, перебивая друг друга, делясь своими переживаниями, постепенно вовлекая в беседу и случайного спутника, отрекомендовавшегося Михаилом Кузьмичом Безмерным, агрономом.

Разговор Зои и Пети в какой-то мере занимал Михаила Кузьмича, но занимал применительно к собственной персоне. Да, у него было по-другому, собственно, не так и давно. Доведись, бывало, провалиться на экзамене — тут же и горечь, и обида, и самобичевание... Во всяком случае, не потянуло бы на песни, вряд ли присел бы резаться в подкидного. Что-то непонятно, где-то завидно, а причина всего-навсего в собственном одиночестве, зыб-

кости перспективы, ибо Безмерному было маловато обычных скудных радостей, грезилось другое... Он успел окончить вуз — диплом в чемодане, и в кармане пиджака предписание краевого исполкома на заранее обговоренное место в колхозе имени Четвертого гвардейского казачьего корпуса.

Рассудительный начальник Безмерного, чуткий и внимательный, внешне похожий на артиста Ванина, только более лысый, твердо посоветовал подчиненному пойти на первых порах к матушке-землице. Советы начальника исходили из самых добрых побуждений.

— Вот вы, Михаил Кузьмич, уже годик прокудахтали на канцелярском насесте, — сладеньким голосом увещевал начальник, — ну и что? Ну, доцарапаетесь до моего места, скажу откровенно, хотя и бойкого, но огнеопасного; из общей комнаты перейдете в отдельный кабинет с четырьмя телефонами, радиосвязью и вот этим небольшим клавиатурным коммутатором, ну и что? Подниметесь сюда с неизбежной отдышкой, вот с такой проплешиной, — он самокритично огладил свою лысину, — с прокисшими мозгами, а дальше? Чур-чура? Я ведь тоже в основном чиновничал, жалею ныне, а не вернешь... Но я и на партийной работе был, хватил живого ветерка, привык к степовому народу, не один кавун кулаком разбил, не один котелок ушицы выхлебал. Бит был, крыт был, кончал институт заочно, Михаил Кузьмич. А не то так бы и завял на корню Акакием Акакиевичем...

Беседа начальника с Безмерным, как говорится, пала на взрыхленную почву. Тут подоспела и вакансия. Разбился в автомобильной катастрофе бригадир Самойленко из Баклановской станицы. Занесло на крутом повороте, напоролся легковик на самосвал из подвижной механизированной колонны. Самосвал, утяжеленный гравийным балластом, отделался легко, а бригадира измяло до косточек. Кое-как склеенного хоронили с оркестром. Не стыдился слез председатель артели Кучеренко, были они фронтовыми дружками, из одного кавкорпуса, Четвертого казачьего, именем которого и названа артель.

Начальник Безмерного отличался служебной осторожностью, где не нужно, не нажимал, и потому, направляя молодого агронома, приказал отпечатанную бумажку вновь перестукать, добавив вместо категоричного указания гибкую формулировку «с использованием по вашему усмотрению».

Безмерный на большее пока не рассчитывал. В Баклановской ему не приходилось бывать: далековато от краевого центра, обычно командировался поближе, в районы, шутейно называемые «мидовскими», где и столовые, и рыбачьи домики у прудов, и фермы могли не только понравиться, но и удивить. Ничего зазорного или показного не было на тех объектах. Курировать Михаилу Кузьмичу приходилось ближние районы, а к землице направился подальше, в чем был тоже немаловажный и не раз наедине обмозгованный план. Бригада погибшего бригадира соседствовала с прославленным коллективом Повалия из колхоза имени Ленина. Не думал Безмерный строить высокий забор, а наоборот, до донышка стремился вычерпать прямодушного Повалия, прикинуть себе его лозунг, словно на крыльях облетевший весь край: «Поле соседа не чужое поле». Этот лозунг впервые выбросил, как кумачовый флаг, знаменитый Клепиков из Усть-Лабинска. Лозунг силен подхватом, сплочением масс. Отличиться можно только при земле, иначе кому придет на ум прославлять на пленумах, совещаниях и в газетах пусть даже самого распрекрасного канцеляриста.

А раз так, надо самому взяться за штурвал личной судьбы, иметь свой компас, активности ему не занимать, физической силы также, почему же не заглянуть вперед, не наметить флажки на местах бескровных сражений.

«Теперь все впереди, взят другой курс, — размышлял Безмерный. — Другие люди, чужие привычки, и самое главное — ты на виду. Как приживусь у строгого и недоверчивого Кучеренко?..»

Мысли, казалось, распирали голову Безмерного до ломоты в висках, рядом кто-то ел арбуз, запахи щекотали нос, потом в конце вагона хряпнула под ножом спелая корка, и снова запахи, хоть иди проси скибочку... Раньше, по простоте, сходил бы, вмешался в компанию, поддержал беседу, и сама собой получилась бы и скибочка. Теперь же где-то внутри запруживало, не отпускало, положение обязывало быть серьезным и корректным. Михаил Кузьмич встал, прошел к проводницам, читавшим вслух «Человека-невидимку», напился теплой кипяченой воды.

Напившись, Безмерный вернулся на свое место, присел, надвинув на глаза шляпу. Вагон несколько поутих. Где-то щелкали фишки: студенты играли в домино. Напротив, у окошка, сблизившись коленками друг к дружке, тихонько судачили две нестарые женщины, говорили

о детях, о плохой для озимых погоде; одна из них потянулась к синей сумке, достала оттуда кофточку, вытащила из прозрачного мешочка и назвала цену. Теперь их беседа сосредоточилась на кофточке, на товарах, противно именуемых ширпотребом.

Можно было заснуть под монотонный перестук вагонных колес, бегущих по новым рельсам и почти по тоннелю еще не сбросивших листья деревьев. За полосой отчуждения железной дороги лежала просторная равнина, облитая лунным светом.

Поля готовились к короткому зимнему отдыху. Наступала пора подсчетов и расчетов, куцего хлеборобского передыха, чтобы опять, как и десятки лет подряд, приниматься за железное дело: ковать, подтачивать, подгонять «винты и гайки» сложной техники.

Петя и Зоя продолжали сидеть рядом. Их негромкий разговор никому не мешал. Они ни на кого не обращали внимания, не таились, не оглядывались. И хотя разговаривали вполголоса, каждый, кто бы захотел, мог слышать все, слово в слово.

Михаил Кузьмич невольно слушал их полушутливую болтовню.

— Не веришь, Зоя? Люблю тебя, — Петя делал умильное лицо, закатывал глаза.

— Ой и любишь?

— Беспредельно.

— За что? — Зоя, не меняя позы, полузакрыла глаза. При тусклом свете ее лицо казалось старше и строже. Расстегнутая пуговка кофточки открывала начало желобка на груди.

— Нравишься ты мне, Зоя.

— Нравиться — одно, любить — другое.

— Любовью не шутят!

— Не шутят, — подтвердила Зоя. — Нравиться может таранька, колбаса, ботинки, — она не торопилась, говорила размышляя и, пожалуй, отвечала больше самой себе, чем зелененькому собеседнику.

— Как же говорят: я люблю колбасу?

— Неверно говорят.

— Вот оно как...

Зоя поймала Петин взгляд на своей груди, застегнула пуговицу.

— Напрасно меня отвергаешь, Зоя.

— Я тебе в мамочки гожусь.

— На сколько ты старше? На четыре?

— Хотя бы... А к тому же я уже засватанная, Петя.

— Знаю твоего Тимофея. Ну что Тимофей? От горшка три вершка.

— Тебе еще расти и расти до Тимофея.

— Я на четверть выше, — задиристо произнес Петя.

— Расти мозгами, — Зоя смахнула пальцем росинки с его верхней губы. — Еще пот не держится, Петя. Усы еще не выросли. — И, переменив тон, более серьезно посоветовала: — Тебе наша Маринка пара.

— Девчонка!

— Пятнадцать. Как раз...

— Не подталкивай меня в милицию, — отшутился Петя.

— Мы с Тимофеем, посчитай, три года дружили. Больше. Еще до армии. Не сразу же в загс!.. А Маринка у нас девочка замечательная. Прелесть девчоночка. — И Зоя так же тихо, задумчиво принялась расхваливать свою младшую сестру.

— Ладно... подумаем, — промямлил Петя, уперся локтями в столик, и вскоре его лохматая голова закачалась в ритм движения поезда.

— Не выдержал ваших правоучений, — заметил Зое Михаил Кузьмич.

— Выпил с хлопцами рислинга, и с непривычки развезло. Болтал чепуху, выдохся, заснул. Дома ему вина и нюхать не дают. Семья у него хорошая, умная, отец замечательный. Наш бригадир. Может быть, слыхали о Повалии?

— Если вы имеете в виду Николая Ивановича...

— Другого Повалия я не встречала, — Зоя нехотя вела разговор, отвернулась, вытерла пот на щеках Пети платочком. Михаил Кузьмич имел время внимательней присмотреться к своей соседке, оценить ее. Зою нельзя было назвать красавицей, однако что толку в так называемой писаной красоте, когда ей сопутствуют жеманность и хилость, если вместо естественного свежего лица приходится подбадривать щеки румянами, подводить брови и травить губы. Не лучше ли вот такая здоровая, естественная красота под стать самой природе. Руки у нее были крупные, рабочие, ну и что? На вопрос отвечала спокойно: «Вожу трактор «Беларусь».

У нее есть старшая сестра Римма, она в беде, муж, моряк торгового флота, погиб во время шторма в Индийском океане. Она осталась с девочкой, приехала к родителям из Новороссийска и живет пока на выселках, в Облучках. Зоя хотела еще что-то сказать о сестре, запнулась и, в свою очередь, полюбопытствовала:

— А вы в командировку?

— Почему так решили?

— С чемоданом и в пиджаке, — Зоя говорила просто, без игривости, как бы напевая отдельные слова. Посмотрела на себя в зеркальце и, спрятав его в сумочку, повернулась к спутнику.

Михаил Кузьмич решил продолжить разговор с единственной целью: выяснить кое-что о Повалии.

— Я еду на работу, Зоя, — сказал он. — Фамилия моя Безмерный, имя, если интересуетесь, Михаил, а по батюшке — Кузьмич.

— Спасибо. — А я — Зоя Тарасенко.

— Вот и познакомились.

Она протянула Безмерному руку.

— Раз агроном, от нас никуда не денетесь. Не к нам ли путевка, в артель Ленина?

— Нет, к сожалению, в «Четвертый корпус», — он назвал артель, как ее называли в обычном разговоре.

— Значит, к Кучеренко.

— Вы его знаете?

— Соседи. Погранстолбов нет, инцидентов тоже. Общаемся, как выражается наш пред Харченко. И еще одно, для сведения на будущее, мы соревнуемся с «Четвертым корпусом».

— Хорошо. Будем соперниками.

— Соперниками? — она пожала плечами. — Лучше будем соратниками, товарищ Безмерный.

— Договорились, товарищ Тарасенко. Не будем драться на дуэли. Да и, пожалуй, непохож я на дуэлянта.

Она оглядела его внимательней, с предубеждением.

— Непохожи на Лермонтова, хотя тоже Михаил... Бачки, может быть, еще туда-сюда... А в остальном нет!

— Почему? Возраст у меня такой же!..

— Глаза не те.

— Какие же?

— Странные, — она подумала, добавила: — Хитрые.

— Вот оно что... Благодарю за откровенность.

— Говорите одно, а думаете другое, — твердо объ-

яснила Зоя. — Мы разучиваем одну современную пьесу. Мне досталась роль женщины, хитрющей, утаенно хитрющей, а внешне влипчивой. Понимаете? — Он кивнул, и она продолжала, как бы рассуждая сама с собой. — Все считают эту женщину хорошей, откровенной, а она на семи замочках, и ключики все при себе...

Зоя весело и лукаво взглянула на Безмерного.

— Вы в мой огород камешки? — спросил Безмерный. — Напоминаю вам столь непривлекательную личность?

— Извините, — протянула она певуче, — я вас совсем не знаю. Иногда всматриваешься в того, в другого, ищешь... Чего не хватает, добавляешь. У нас хороший режиссер, кончил институт в Москве, правление двести ему положило, ключ от квартиры. Мы формируем образ творчески... — Зоя не сразу произнесла последнее слово и тут же добавила: — Мы должны развивать наблюдательность.

— Получается?

— Получается, — охотно ответила Зоя. — Считайте, из-за этой наблюдательности срезалась на экзамене. Пригласили нас в класс, пятерых, предложили тянуть билеты, попался мне билет с двумя вопросами, один знаю, туда-сюда, а второй... Отвели нам минут по двадцать на подготовку. Присели, сосредоточились. Напротив меня один из экзаменаторов, молодой, ловкий, глаза сальные... Вижу я, что у него на уме, смутилась: противно и стыдно. — Она махнула рукой. — Отвечала плохо... Ну ясно, низкий балл, чего там... Вышла сама не своя, а подружка: чего, мол, заершилась, подмигнула бы ему. Нет, не могу подмигивать... Значит, вы в «Четвертый корпус»?

— Может быть, удостоверить документально?

— А, ладно, все в строчку... Хорошо идет поезд, как у нас говорят, шибко.

Михаил Кузьмич старался мысленно восстановить главное в разговоре, и ему было не по себе. С ним не сближались, быть может, чувствовали разницу лет или неизбежные перемены, которые произошли в нем, и заставляют посторонних глядеть на него по-другому, чем несколько лет назад.

После длительной заминки Безмерный снова обратился к Зое:

— Вы хорошо знаете Повалия?

— Еще бы...
— Скажите, в чем его особенность?
— Особенность? — Зоя подумала. — В том, что у него нет особенностей. Он делает все как нужно, возможно, нередко лучше других. — Полагая, что этого мало, добавила: — Он доверяет не только себе, но и другим. Мой отец говорит: «Николай Иванович умеет поднять дух». Мы дали рекорд по зерну.
— Знаю.
— Знать мало, надо понять. Почему у него так, у других хуже.
— Ну, ему подкидывают, — охладил Зою Михаил Кузьмич, испытавший досаду от излишних похвал и так уже прославленного бригадира.
— Подкидывают? — резко переспросила Зоя. — Не знаете — не говорите. Самолеты на подкормку еле выбил, запчасти дали в последнюю очередь. Другим на вывоз зерна дали матросов, а нам...
— У вас же своих автомашин полно.
— Своих? Понимаете вы! Так у нас и урожай вдвое выше. Вывозить надо. — И она продолжала говорить о своей бригаде, о колхозе, хвалила секретаря райкома Потапова, «душевного человека», рассказывала о том, как они первыми в районе сели за руль трактора, и теперь никто не сомневается в способностях девчат управлять машинами. — А нас запугивали: пропахнем соляркой, руки огрубеют. Никто не позарится... Ну и здоров же спать Петька! Давайте и мы, товарищ Безмерный, вздремнем малость...
...Безмерного растолкала молоденькая проводница. Он вышел на перрон. Луны уже не было. На станции светились редкие огоньки. Высокий тополь ронял жухлые листья. Невдалеке чернел громадный корпус элеватора, слышались редкие звуки машин, вспыхивали и гасли фары.
— До свидания, — сказала Зоя.
— Прощайте. — Безмерный приподнял шляпу. — Вы как будете добираться? Неужели пешком?
— Нет, за нами должны приехать.
Позади просигналил остановившийся автобус и раздались голоса:
— Зоя, шевелитесь...
Михаил Кузьмич почувствовал себя одиноким. Он оглянулся. Перрон почти опустел. Какой-то железнодорож-

ник раскуривал трубку, от него ложилась длинная тень. При свете фонаря можно было различить его коротко остриженные усы и фуражку с надвинутым на брови козырьком.

— До Баклановки двадцать пять, — напомнила Безмерному Зоя. — Идите к элеватору, оттуда утром обычно ходят машины в Баклановку.

Петя и Зоя заторопились. Вскоре у автобуса послышался смех, перебивчивый говор. Безмерный остался один. Постояв немного, он взял чемодан и направился к элеватору. Вблизи элеватора, будто крыши овечьих кошар, возвышались бурты подсолнечных семян. Поодаль стояли грузовики, шоферы, по-видимому, решили заночевать после последнего рейса. «Утречком найду попутчиков, — рассудил молодой агроном. — А сейчас можно и прикорнуть».

Ранним утром его грубо растолкал сторож.

— Разве тут место для ночевки? — сердито пробурчал старик. — Куда путь держишь?.. В Баклановскую, к Кучеренко? То вин машины уже выслал? Не известил, да? Тогда придется на попутной добираться.

Оставив сторожа, Безмерный вышел на шоссе. За поворотом дороги, у лесополосы, его подобрала попутная автомашина.

Глава вторая

На машине везли запасные части и кроватки для колхозного детского сада, недавно открытого в Баклановской. Шофер оказался угрюмым, малоразговорчивым человеком. В дороге много курил, доставал не глядя из кармана сигарету. Прикуривал от газовой зажигалки, которой подчеркнуто гордился:

— Японцы придумали! Приятель с Сахалина привез.

...Безмерный поблагодарил водителя за услугу, поставил чемодан на плечо и пошел в указанном направлении. Станица выглядела молодой и опрятной: заборы в столбики, крашеные, тротуары посыпаны мелкой ракушкой, по улице то тополя, то гледичия. Большинство домов было обложено красным кирпичом, за вольерами птица; запахи держались специфические — рыбные, везде сушилась тарань и судаки. Вот и первое преимущество перед

прежним местожительством. В Краснодаре базарная продажа рыбы запрещалась в связи с оскудением запасов самого богатого в стране моря.

«Рыбки, рыбки поедим! — в такт шагу мысленно выговаривал Михаил Кузьмич. — Рыб-ки, рыб-ки поедим...»

Часто повторяемое слово постепенно становилось бессмысленным, а рыбки захотелось. Стоит руку, как говорится, протянуть — и готова тараночка, янтарная спинка, мягкая еще, непересушенная, а если еще кружечку жигулевского — рай земной.

Безмерный остановился, передохнул и, определив по внешнему виду здание, в котором должно было бы размещаться правление колхоза, зашагал быстрее.

Правление артели — фасадом к морю. Перед ним сквер на приазовском крутояре; здание двухэтажное, помпезное, с колоннами дорического стиля из темно-серого туфа.

Кучеренко управлял, словно кавказский наместник, с размахом, если уж строил, то не на один год и не на одну пятилетку — шли-то ведь к коммунизму, не на хибарах же поднимать праздничные флаги.

Находились противники его линии, журили за излишнюю широту, а потом, когда здание вырастало, те же критиканы-турлучники, как называл их председатель, рассаживались в мягких креслах, потягивали холодную газировку и с полным доверием относились к дальнейшим планам, видя не только цифры, но и материальное их воплощение.

Подойдя к Доске почета, Безмерный остановился и загляделся на портрет погибшего бригадира в траурной ленте. Пиджак хлебороба был увешан орденами и медалями, полученными в казачьей конной гвардии под водительством генерала Кириченко, а затем Плиева. Так ли просто стать на место ушедших из могучей когорты воинов и земледельцев? Хватит ли сил? Не маловато ли только диплома и желания? Михаил Кузьмич не меньше десяти минут стоял в полной неподвижности и, встряхнувшись от тревожных дум, опустился на лавочку. Висячие часы городского типа показывали половину седьмого. Сидя на лавочке, он скорее почувствовал, чем увидал подошедшего сзади человека. Оглянувшись, Безмерный угадал председателя артели.

Кучеренко стоял на широко расставленных ногах, обутых в мягкие сапоги, перехваченные ниже коленок ре-

мешками. Он стоял, как бы раскачиваясь и принимая позу для кавказского танца. Золотистого курпея кубанка была надвинута до разлетных, словно подведенных тушью бровей, тонкие властные губы кривились в усмешке. Кучеренко был в длинной рубахе, похожей на бешмет, узкий казачий пояс веселился золотыми зайчиками на его стройной талии.

Безмерный представился растерянно. Кучеренко понял состояние молодого агронома, назвался полным титулом и движением руки пригласил в контору.

— Напрасно, товарищ Безмерный, проявляешь излишнюю скромность, — заметил он, нарочито медленно поднимаясь по наружным ступеням широкого эркерного входа. — Мог бы предупредить, и за тобой, как ни мал чин, пришли бы колеса не только на станцию — в Краснодар.

Председатель держался покровительственно, голос не повышал, и слова, произносимые им, как бы сочетались с легкими движениями его сухого, мускулистого тела. Немного помолчав, Кучеренко спросил:

— Холостяк?

Михаил Кузьмич кивнул.

— Женим! — Кучеренко поднял руку к верхней губе, сделал вид, что закручивает кончики, к сожалению, давно сбритых усов.

Поднимаясь на второй этаж, председатель заявил, что внутренний вид правления артели «соответствует общепринятым на Кубани стандартам» и потому, мол, не нуждается в похвале. Все же ему было приятно, что свежий человек не прошел равнодушно по просторному коридору с ковровой дорожкой, скрадывающей шаги, увидел высокие полированные двери рабочих кабинетов главного инженера, главного агронома, главного механика, зоォврача, бухгалтерии, заместителя председателя... Везде стеклышки на шурупах, надписи, солидно и веско. В конце коридора с окнами, ранее именуемыми венецианскими, а ныне финскими, находились кабинет председателя и его приемная, рядом диспетчерская и рация. Три окна кабинета выходили в сторону моря, и, поскольку само здание стояло на крутом берегу, создавалось впечатление, словно ты на капитанском мостике океанского лайнера.

Поняв гордость председателя, Безмерный не переста-

вал удивляться. Кучеренко вынужден был грубовато оборвать восторги молодого агронома:

— Как будто ты с луны свалился, товарищ Безмерный. Рядовое явление превращаешь в редкость. — Попытку оправдаться не дослушал и продолжил в несколько назидательном духе: — Такими приемами баклановцев не возьмешь, мы не падишахи, все подобное ты уже видел... — Он изучал предъявленные Безмерным документы: — Сын колхозника, бывал на практике, служил в исполкоме...

Кучеренко листал бумаги, бросая взгляд то на собеседника, то на его документы, словно сравнивая то и другое, определял совпадения характеристик и биографии с оригиналом. Заметив повышенный интерес Безмерного к стенду, на котором Владимир Ильич Ленин провожал на фронт красноармейцев, накрыл бумажки ладошкой, сказал, поморщив лоб:

— Значит, родился ты в сентябре сорок второго, — переждав, пока собеседник утвердительно кивнул и стал более внимательным, продолжал: — Родился в Кущевке, на территории, нами оставленной после боев с потерей большой крови... В то время мы дрались с фельдмаршалом Клейстом на Малгобекском направлении, прикрывая Грозный. Воздействовали на тылы моздокской группировки, как пишется ныне. Кровь, безумный накал отваги, безвыходность... Люди ломали зубы тарана... дивизия СС «Викинг», танки с прямыми крестами, кони побиты, запалы в наших зубах, гранаты... не те, что привозят на рынок, лимонки, — пошатал пресс-папье на ладони. — Поменьше размером, вдвое поменьше, но тяжелее, — произнеся это слово, проверил, понимает ли, кивнул благожелательно: — Корпусной Кириченко, на дивизиях Тутаринов и Миллеров — слыхал про них иль не слыхал, их славы не убавится, — хотя не ради простого любопытства надо знать, кто тебя колыхал в люльке в то скаженное время, кто стоял у источника жизни твоей...

Безмерный виновато улыбнулся. Он никогда бы не признался в том, что скучал при воспоминаниях ветеранов, не осмысливал прошлого, будто было все очень давно, чуть ли не при Александре Македонском, а вот когда перед глазами словно возникла люлька детства и фашистские танки, грохочущие за станицей, чтобы вмять в малгобекский щебень вот таких Кучеренко, молодых,

его возраста парней, — поползли мурашки по телу, задумался, прикинул и то время, а также причины, зачем он сегодня в этом шикарном дворце среди полированной мебели и диктаторской клавиатуры связи распахивает завалы прошлого.

— И вот тебе теперь столько же, сколько было Тимошенко, когда он командовал дивизией в конной армии и бил кадетов... На возраст не ссылайся, тебя не поймут, и я не извиню. У нас в семнадцать годков уже классно трактора водят. Вот так!..

Прикинувшись сраженным, Безмерный опустил глаза, как бы смущаясь, спросил тихим голосом:

— Вы сказали, что Тимошенко в мои годы командовал дивизией. У вас, наверное, тоже весомая биография, Игнат Степанович?

Заряд попал в цель. Кучеренко приосанился, многозначительно вздохнул, потер мочку уха, ответил не сразу:

— Дивизией я не командовал. В двадцать один принял эскадрон. Только сабли вынимали раза два, бились огнем и маневром с помощью техники. Тебя, Кузьмич, насколько мне известно, рекомендуют бригадиром, или, как теперь принято называть, начальником отделения.

— Заведующим?

— Бригадиром звучит лучше. Бригада есть боевая часть. — Кучеренко наклонился так, что грудью уперся в стол, и, пристально приглядываясь к новому человеку, продолжил: — Рекомендуют на мое усмотрение. Сразу бригаду давать непедагогично. Не вздрагивай, товарищ Безмерный. Мы все начинали с малого. Агроном есть агроном. То, что ты осилил технику, похвально! Однако пойдешь агрономом. А там, сказал слепой, побачим. Согласен? Отлично!

Кучеренко нажал на кнопку звонка. В кабинет вошла девушка и молчаливо, с деланной скромностью в каждом движении, приняла бумагу с резолюцией.

— В приказ! — Кучеренко весело подмигнул девушке.

— Есть, Игнат Степанович! — девушка улыбнулась глазами, ушла.

Кучеренко вернул остальные документы Безмерному, подошел к окну, уперся кулаками в бока и, пружинисто покачиваясь на ногах, негромко сказал:

— Море! Подойди, глянь!

Безмерный покорно вскочил, остановился в почтительном отдалении и залюбовался открывшимся из окна видом. Хотя море и сливалось с горизонтом, причиной чему были одинаковые цвета воды и неба, но простор есть простор. А тут еще чайки, казалось, стучали крыльями в стекла. Вероятно, их здесь прикармливали. Из кабинета видно было пустынное побережье и почти неуловимая глазом кайма вялого безветренного прибоя.

— Где отыщешь такой артельный компункт, а? — продолжал восхищаться Кучеренко. — Раньше, из прежней хибары, гусаков да телят только видели. Передвинул с обрыва проезжую часть, омолодил крутояр посадками, не хвалюсь, пришлось поломать не только хибары и катухи, дряхлые понятия пришлось ломать, ведь кредиты шли из неделимого фонда, из собственной кассы. — Оборвав дальнейшие разъяснения, круто повернулся на носках, спросил: — Завтракал?

Безмерный смутился, что-то промямлил невразумительное. Председатель отмахнулся:

— Привык не привык... Рано слишком или не рано, приглашаю в ресторан. Там обязательно уже что-то клокочет. Я тоже поутру ограничил себя стаканом чаю и лишь потому... — выпрямился, покрасовался своей стройной фигурой. — Жир ненавижу. Как начну жиреть, на пенсию. Мне скоро полсотни стукнет! Пока держу талию на фронтовой дырочке.

— Как вам это удается? — учтиво спросил Безмерный. — Гантели, турник, обтирания?

— Прежде всего движение. Шарикоподшипник всегда в одном весе, почему? Вертится! — он надел шапку, поправил ее перед зеркалом. — Потом волнения. Море всегда на одном уровне. Почему? Волнуется, испаряет лишнюю жидкость. Потом мед! Да, да, мед! И — верхоконь!

— А что это?

— Что? Приехал в казачий корпус, называется. — Кучеренко подтолкнул гостя к выходу. — Верховая езда. Но не в манеже, а полевая, с препятствиями, деловая езда. Мой сосед Харченко смотрит на меня как на чудака, на жертву атавизма, а я б его галстуком на другой день удавился бы. Собачий ошейник, не могу. Хотя собака и друг человека... — с такими сентенциями спускался по лестнице Кучеренко, приветствуя встречных поднятием руки и короткими репликами, вроде: «закры-

вай кукурузу», «комбикорм зеваешь», «не переводи металл на запчасти, договорился, посылай ездового...»

Возле правления стало людно, подъезжали машины, высаживались студенты в спецовках, как у морской пехоты, их прислали на свеклу, две девушки в беретах и брюках играли в бадминтон.

— Ух, люблю девичью красу, Кузьмич! — Кучеренко озорновато подмигнул. — Нравятся, когда они в брючных костюмах, веселые. Зубы их люблю, глаза, смех... Помню, взяли Ростов, одна сказала: фашисты хотели уничтожить наш смех... Меня будто кто-то плетью огрел. А ведь как метко сказала девчонка! Потом как засмеется...

В ресторане клокотали котлы, похожие по форме на мины или космические аппараты первых запусков. Председателя встретили весело, с теми самыми улыбками, которые любил Кучеренко. Открытая всеобщему обзору, современная кухня сверкала лабораторной чистотой. Поварихи и раздатчицы работали в белоснежных халатах. Подавальщиц не было. Самообслуживание проходило быстро и без суеты и ожиданий.

— Становимся в общую очередь. — Кучеренко взял поднос, пристроился позади могучего человека с бычьим затылком и такими бицепсами, что ему приходилось держать руки растопыренными и чуточку откинутыми назад. — Мы за вами, товарищ Гридасов.

Тот полуобернулся, раздвинул толстые добродушные губы.

— Порядок есть порядок. Здравия желаем, товарищ майор.

— Уряднику привет! — и пояснил Безмерному: — Служили вместе. Старший сержант Гридасов, трижды убитый, дважды сгоревший...

— Не пугайте нового человека! — Гридасов опять раздвинул в улыбке широкие губы. — Было, прошло.

— Ничто не забыто, никто не забыт!

Завтрак получился настоящим обедом.

— Трижды в день я должен съесть борщ или суп, в общем, жидкое блюдо, — сказал Кучеренко, принимаясь за харчо. — Категорически отрицаю сухомятку. Вначале не получалось, а потом изучил опыт соседей, утвердил горячую пищу везде, в любом закоулке степи. Чабаны — да! Бахчевники — да! Не говоря о комбайнерах или шоферне. Какой-то чудачок придумал поход

против борщей и хлеба, сахара и пива. Чепуха! — Председатель дважды повторил любимое слово. — Кому-то вредит? Возможно, тому, кто стул протирает, а тому, кто как птица, нужна зрелая пища: жидкое, сахар для мозга, воды надо много, сто два пота сойдет за один день.

Выпив компот и перещелкав крепкими зубами абрикосовые косточки, Кучеренко ударил ладонью по столу, быстро встал, будто подбросили его скрытые пружины.

— Курить? Нет. Только на воздухе, товарищ агроном. Видите объявление.

Возле бочки с водой завершали сытный завтрак табаком не меньше десятка кряжистых мужчин. Один из них попытался обратиться со служебным вопросом к председателю. Кучеренко осадил просителя:

— После завтрака отдыхай, мил человек. Пусть гуляш переваривается.

— Тогда общий вопрос, Игнат Степанович, — сказал Гридасов, — говорят, секретарь крайкома Харламов отказал санкционировать бесплатное питание в колхозе?

— А ты как думаешь, урядник?

— Мне что платить, что нет, не имеет значения. При наших заработках тридцать копеек за обед — чепуха. А вот сам принцип...

— Какой?

— Надо же чем-то отметить маршрутные вехи восхождения... Продукт же нашего труда. Никому ни в кошель, ни в закром не лезем. Отказали?

— Да!

— По экономическим соображениям?

— По политическим, — твердо ответил Кучеренко. — Нельзя раздражать менее зажиточных, бахвалиться перед ними. И так про Кубань плетут небылицы. Мы берем адовым трудом, сами знаете, а кто-то думает — климатом, дышлом. Суют, мол, дышло в землю, а глянь-поглянь, к осени не репка, а бричка...

От столовой отъезжали «рафики» и мотоциклисты, развозившие термосы с пищей по обширной периферии артели.

— Учли опыт соседей, ленивцев, — повернулся Кучеренко к Безмерному. — У них такие дела поставлены как на ракетном полигоне. И если примешь мой совет — учись у них.

Безмерный насторожился.

— Будешь работать бок о бок с Повалием, — продол-

жал Кучеренко, направляясь к морю, — разные районы, разные колхозы, а полевой массив рядом, примыкает к нам. Он пока непревзойденный по нашей зоне. Бога за бороду не держит, а отвешивает зерна, как правило, с каждого гектара на десять центнеров выше нашего. Причины отыскать нетрудно. Почему у него так, а у нас хуже? Пробовал я слукавить перед Харламовым, оправдаться тем и другим и сам был не рад. Первый не возразил, только взялся за ручки кресла, как за рычаги танка, прицелился в меня своими глазищами, заставил отыскать выводы и без лишних слов, только мимикой. Уходил я от него, казалось, рубаха тлеет, так прожег он меня за «объективные причины».

Они спускались по крутой тропе. Безмерный шел за председателем. После бессонной ночи ему хотелось отдохнуть в гостинице, где ему предоставили уютный номер. Справа от них резко выдавалась в море светло-коричневая Баклановская коса, усыпанная мартынами. Коса выгораживала естественным намывным барьером залив того лиманного типа, коими так богато приазовское побережье. Дальше, за косой, к востоку, равнина тянулась до обрывов, где в штормы толпились и крушили мягкий грунт высокие волны. И сама Баклановская располагалась за обрывами, но в ее округе, как бы у подножия станицы, имелась равнина, довольно просторная, судя по грунту, дно отступившего моря. Дальше, в сторону Керчи, простирались плавни, колоссальная площадь высоких тростников, своеобразные камышовые джунгли, питаемые степовым подтоком речушек и битком набитые табунами дикой птицы, окунями, щуками и целыми стаями водяной крысы.

Поразительно щедра здесь природа, создающая запасы птичьего мяса и рыбы, полезного тростникового сырья и ценных мехов. К Баклановскому юрту примыкали четыре мелких рыбачьих поселка, расположенных среди унылой растительности, крохотных озерец и намывных бугровин измельченной ракушки.

Сами названия этих поселков из глиняных хатенок, с их огородиками, обнесенными камышовыми щитами, со стожками прилиманного сена, накрест прижатого дрючками или старыми веслами, как бы говорили сами за себя. Первый поселок назывался Хворостянка, следующий за ним, подальше к обрыву, с кирпичными дымарями Докука, потом Сатанеевка и, наконец, Лебедянка.

Если смотреть на поселки с бугра, то три из них, кроме Докуки, кажутся настолько близко прилепленными к морю, что в мирные дни становятся похожими на суденышки, плывущие по волнам. Скучно на первый взгляд жилось в этих поселках, а вот никто не уходил, ни одной хатенки с заколоченными оконцами, нет следов нерадивости или запустения. На скупой почве выращивались овощи, зрели вишни и жерделы, принимались и быстро укреплялись тополя, в любом дворике ногой не ступить — птица, коровенки, много мохнатых псов, пропахших сырой рыбой. У каждого рыбака — а ведь все они члены артели — собственные лодки.

Кучеренко шел тем шагом, который иначе, как джигитским, не назовешь. Хороша походка всадников. Кое-кто называет ее кривоногой. Нет, пустое говорят, стоит обратить внимание на того же Игната Степановича. Поспей за таким кривоногим! Ступни он ставил легко, отрывая с небольшим вывертом, с носка, будто наурскую выплясывал на рассыпчатом ракушечнике. Продолжая упрямо идти то по вытоптанным скотом бугровикам, то среди морской капусты, иногда раздавливая ее сочные листья, он даром времени не терял, необходимое сообщал не за столом, а здесь, на ходу, поднатаскивая Безмерного по хозяйству пока еще малой ячейки, бригады.

— Ты меня извини, но я верю в организующую роль личности, — говорил Кучеренко. — Коллектив коллективом, никто не спорит, но это тело, туловище, органы движения, а голова есть голова. Был бригадир Самойленко, бригада не то что гремела, а не шаталась, ровно шла, вперед не забегала, от других не отставала. Погиб Самойленко и... Поглядишь сам, предупреждать не люблю, лучше потом тебя выслушаю, поспорим, если на пользу, и я погляжу, как ты ориентируешься в сложной обстановке.

— Но у них урожайность высокая, как вы говорили, и по животноводству...

— Это в прошлом, а мы посылаем тебя на перспективу, за то, что было, другие рога отвечают. А урожай что... Тяп-ляп, думал схватить, обжегся, выпустил... Мы же мудруем в зоне рискованного земледелия. Везде дождь — у нас сухо, хотя рядом море. Кругом снег — у нас голо. Землю рвет мороз, опаливают суховеи. Ветры — наша гибель. Несет ураган все, что зацепит, от самого Каспия: тучи земли, даже, уверяют, личинки саранчи и

бациллы сапа и ящура.., Что-то готовит против урагана Повалий, не могу знать, реальное иль в порядке заклинаний. Помню, мы в детстве швыряли ножи в вихри, надеясь попасть в черта. И все же рекомендую поехать к Повалию, поклониться, ясно без слов, не прыгать через костры, как князь Невский у хана, но и без зазнайства. Имеем официальный канал — межколхозные совещания, но я предпочитаю разведку боем.

Почувствовав в доверительном задании полезное для себя дело, Безмерный решил тут же прояснить пока еще туманную перспективу:

— Разведка боем, Игнат Степанович... Я с военной терминологией знаком постольку поскольку. В каком же я амплуа предстану перед Повалием?

Председатель задумался и резковато ответил:



— Я предложил, мил человек, не на сцене роль играть, в посконной, как бы сказать, жизни. Здесь притворяться, лицедейничать не пристало, земля мстительная, мил человек... Амплуа — жидкое, разляпанное слово, нам не подходит. Если хочешь амплуа, то предстанешь агрономом комплексной бригады. Оправдаешь доверие, прибавим чин. Понял?

Кучеренко умолк. Он любил и привык, чтобы совет понимали с полуслова и действовали «сообразно». Его внимание целиком захватила другая картина — праздник природы. Из-за поредевших волн тумана выплывала лебединая стая. К ней-то и спешил Кучеренко. Встреча была не случайной. Лебеди будто ждали этого свидания. И при его появлении у самого уреза атласного водоплеска не испугались, не повернули обратно, а кучно, не отрываясь друг от друга, двигались к берегу. Кучеренко, изменив резкий голос до шепота, затеял с ними переговоры, повторяя, как рефрен, понятные на всех человечьих и птичьих языках слова: «Гули-гули». Чтобы не напугать стаю, он осторожно бросал крошки хлеба, вытащенные из кармана, приговаривая: «Гули-гули». И птицы доверчиво приближались, схватывали еще не потонувшие кусочки хлеба и погружали в воду почти всю гибкую длинную шею, когда корочку тянуло ко дну.

— Раньше подпускали, брали чуть ли не из рук... Нашелся негодяй, стрелял... Гули, гули, гули. — И заворковал бывший эскадронный, отыскивая общий язык, еще и еще раз извиняясь за одного негодяя, чуть было не оттолкнувшего птицу от людей. — Ближе, ближе. Чего же вы меня-то боитесь? — Лебеди послушно двинулись вместе, хотя и чувствовалось напряжение в их круто сложенных крыльях, в их взглядах, обращаемых друг к другу, будто каждый из них спрашивал соседа, так ли он поступил, как надо.

По дороге, пробитой почти у самого берега, со стороны станицы резко бежала машина, кивая капотом и фарами каждому бугорку и ухабине.

— Пропало наше свиданье с лебедями. — Председатель отряхнул ладони от крошек. — Ералашный Будник вынюхал нас. — И пояснил: — Председатель рыболовецкого колхоза «Азарт».

— «Азарт»? — переспросил Безмерный, приглядываясь, как на крутом повороте намертво затормозила машина и, распахнув дверку рывком, из нее выскочил

человек, странно одетый, в пиджачной паре и при галстуке.

Когда Будник подошел поближе, выяснилось, что этот ералашный человек, как назвал его Кучеренко, обладал крупным добродушным носом, мягкими широкими губами с заедами в уголках, короткой шеей и крутым затылком, в шутку называемым «ярмовитым».

— Сбрехали, ну и субтоварищи, укуси их за ляжку, — пропыхтел Будник. — Шумпули мне, что Кибрик наконец приехал...

— Потому и вырядился в парадную форму? — уточнил Кучеренко. — Ты бы еще почетный караул выставил и залпами салютовал Кибрику, мил человек.

Будник улыбнулся глазами, развязал галстук и сунул его в карман.

— Не люблю засупониваться. — Будник чиркнул пальцем возле кадыка. — Механик мне нужен позарез, ты же знаешь. В рыбаки не идут, малорыбье. Загребных еще туда-сюда, кликнешь, отзовутся, а мне классный специалист нужен. Теперь-то паруса только в музее увидишь, моторный флот господинит, а с машинами на «ты» не договоришься...

Будник говорил откровенно и, объяснив причину крайней озабоченности, спохватился, представился Безмерному, затем заискивающе спросил:

— Простите, вы-то, случаем, не механик?

— К сожалению, агроном.

— Земле весело, морю беда. — Будник снова обратился к Кучеренко: — Как уломать Харченко? Скажи мне, что делать с похитителями кадров?

— Слишком круто, Матвей, Похититель? Понятие-то всеобъемлющее: разбойник, вор, взломщик сберегательных касс! Как можно на уважаемого председателя передовой артели такое нести.

— Кибрик ко мне ехал! — воскликнул Будник. — Мы его выцарапали из Новороссийска, утешить старость родителей, а его украл Харченко...

Продолжая любоваться лебедями, Кучеренко без особого сочувствия слушал не в меру разгорячившегося председателя артели.

— Ты что же не реагируешь? — в сердцах выпалил Будник.

— Не Харченко выкрал твоего Кибрика...

— Тогда Повалий! Ему все сходит! Как же, Герой, депутат, новатор...

— Постой! — строго остановил Будника Кучеренко. — Героя не ты давал, в депутаты сам его выбирал...

— А если он вырвал у меня механика!

— Не он! — уточнил Кучеренко. — Подумай о жизни этих умных птиц, Матвей. Если умирает лебедь, не может жить без него лебедушка... Она умрет, и лебедь складывает крылья, камнем летит с большой высоты, разбивается насмерть о твердую воду. В прошлом году один негодяй убил лебедушку. Как поступил лебедь?

— К чему все это, Кучеренко? — взмолился Будник, снимая с могучих плеч пиджак. — Хочешь, чтобы я заплакал? Знаю про того лебедя. Даже многотиражка писала. Неделю снился мне тот лебедь. Действительно, твердая вода. Если об нее с высоты...

Лебеди чего-то еще ждали. На какой-то миг солнце облило их тугие сложенные крылья розовато-перламутровым блеском.

— Анатолий пошел за своей лебедушкой, — сказал тихо Кучеренко.

— За чужой, — возразил Будник. — Она овдовела когда? Года еще нет... А он тут как тут.

— Значит, человек добрее птицы, — вздохнул Кучеренко. — Никто Анатолия не украл. Он не чувал ячменя. Слухи не распускай. Есть у него родители, пусть помогут тебе вернуть механика.

— Мать не хочет невестку с ребенком!

— Выходит, дело идет не о механике, а о человеке.

Будник, задумавшись, примирительно пробурчал:

— Добре тебе рассуждать. Получаешь каждый год технику, а мы в день по чайной ложке ловим свою жуй-плюй.

— Ушла рыба?

— Ушла.

— Почему?

— Похолодало у нас. Ушла в Таганрогский залив.

— Там теплее?

— Выходит, теплее, раз ушла туда.

— Вся, что ль, ушла?

— Осталась тюлька, крупная, почти бычок, а брать ее нельзя, запрещают. А то закрыли бы тюлькой план...

— Тюлька, — Кучеренко кисло усмехнулся. — Бог

создал ее вроде семечек для крупной рыбы, а вы... План закрыть. Судака нет?

— На золотую удочку не найдешь.

— Та-а-ак, — протянул Кучеренко. — Вчера я заглянул к твоему бригадиру, к Лучке. Его не застал, два злых кобеля на цепи, гуси-утки во дворе, а за домом шнуров пять судака вялится. Выходит, не весь судачок уходит в Таганрогский залив?

— Бывает, — Будник пожал плечами. — Не без этого... Заглянул я к тебе на овцеферму, гляжу, свежуют барана, вместо углей початки в мангале, шампуры наготове. Понятно? Имитация. Сдохла, мол, овца.

— Бывает, — в тон Буднику ответил Кучеренко.

— Вот-вот. Так и у нас: ходить по воде и не замочиться. — Будник уперся немигающими глазами в море и как бы между прочим спросил: — Слыхал, Игнат, ты посылаешь людей в Ростов за запчастями?

— Посылаю.

— Прикажи захватить оттуда сетематериал.

— Много?

— Два центнера. Не волнуйся, наряд и все прочее за мной.

— Хорошо...

Кучеренко продолжал наблюдать за лебедями. Разговор с Будником его уже не интересовал, и он на все вопросы отвечал механически. Безмерный наблюдал больше за Кучеренко, чем за лебедями. Сердце его, вначале поддавшееся обаянию, вновь огрубело. Он думал о том недалеком времени, когда вот эти люди уйдут, как улетит лебединая стая. И им, Безмерным, придется сменять их неминуемо по закону природы. Вы, мол, вкусили жизни, отстранитесь, не задерживайтесь, дайте и нам попробовать.

Кучеренко не мог знать, какие мысли волновали молодого агронома, безотрывочно смотрел и смотрел на лебедей. Они продолжали держаться ближе к человеку, держаться чутко и настороженно. Кучеренко опознал в стае вожака и порадовался своему чутью. Вожак не куражился над остальными, не гордился более гибкой шеей или каким-то другим знаком лебединой красоты. Не пытался влиять грубостью или силой. Но стоило ему повернуть шею, что-то негромко приказать, и за ним тут же двинулась вся стая.

— Игнат, третий раз окликаю, а ты... — Будник под-

мигнул Безмерному. — Приглашаю на уху в Лебедянку. Заедем к старикам, к Кибрикам.

...Утро выдалось спокойное, особых дел в правлении не было, и Кучеренко согласился поехать на уху. Кибриков он знал давно, как и все коренные семьи Баклановского юрта. В войну Кибрики держались хорошо. В оккупацию перебивались у родичей в Гривенском, в плавнях. Это побережье, объявленное немцами «пляжем для высадки десантов», было заминировано, хижины сожжены, но сразу же после освобождения сюда вернулись хозяева, слепили хатенки, катухи, и потянуло от дымарей неистребимыми запахами жилья и рыбной пищи.

Машина с шуршанием бежала вдоль плоского берега по дороге, намятой вывозчиками азовской ракушки. Ракушка шла не только для мягкого покрытия дорог, но главным образом для утиных ферм. Кучеренко имел дополнительный доход в кассу артели, не затрачивая ничего. Карьеры держали сами заказчики, завозили сюда экскаваторы, технику. Кучеренко мечтал в более широком размере использовать береговые пустоши.

И он добился бы своего, привлек капитал со стороны, заинтересовал бы и убедил, давно кипела бы работа по освоению Баклановской косы. Не раз, закрыв глаза, Игнат Степанович видел вместо захудалых рыбацких поселков кемпинги, дома отдыха, пионерские лагеря и, конечно, тополевые рощи и вишневые сады.

Ученые наложили вето на проекты бывшего эскадронного. Когда он принялся шуметь и, как говорится, требовать гражданской казни для бюрократов-перестраховщиков, его вынужден был пригласить к себе председатель крайисполкома Федор Григорьевич Мигунов, усадить в кресло, выслушать запальчивый протест и познакомить с исторической справкой, подкрепляющей вето ученых.

В справке сообщалось о том, как русский генерал Дебрилль пошел с донскими казаками и калмыками из Азова воевать порты Оттоманской империи — Ачуево, Темрюк и Тамань. 1 октября 1739 года отряд Дебрилля переправил на левобережье Протоки артиллерию и приготовился к штурму неприятельских укреплений.

И вдруг шторм, внезапный, губительный. Паромы, связывающие предмостное укрепление на западном берегу многоводной Протоки, были разбиты в щепки, суда фло-

тилии разметены, переправленную для штурма артиллерию и боевой припас проглотили волны.

К полудню ветер упал, море и река успокоились. Целеустремленный и энергичный генерал Дебрилль приказал открыть бомбардировку Ачуева. Деревянный город загорелся. Противник, оставив пылавшую крепость, отходил к Темрюку. Близился миг победы. Воодушевленные успехом, войска пошли на последний приступ, развернули знамена, ударили в барабаны. Генерал в картинной позе полководца выхватил клинок и произнес те слова, которые обычно произносят генералы в подобных случаях. Крылатые фразы не долетели до потомков. И солдаты, и казаки, исконные дети степей калмыки, и сам генерал увидели ужасную картину. С моря, гладкого как зеркало, катился, казалось, достигая неба, громадный ревущий серый вал. Минуты решали дело. Вал обрушился на войска, пушки, на пехоту и конницу, погасил пожары и успокоил страсти.

Кучеренко был человеком военным и, читая о погребенной боевой операции, живо представлял картину бедствия. Почему же никто, кроме Мигунова, не рассказал ему о событиях двухвековой давности? Встречали Кучеренко в канцеляриях вежливо, «распишитесь», подвигали пальцами резолюции, пожимали плечами, поднимали глаза к потолку, как бы призывая в свидетели небо и силы его, не подчиненные слабой воле человека, как бы он ни фанаберился.

— Ученые опровергают твои проекты, — с мягкой улыбкой и веселым прищуром сказал Мигунов. Его глаза продолжали смеяться, губы сжались, на полных щеках появился румянец. Он добыл еще папку из алого кожзаменителя. — В 1840 году такая же штуковина повторилась, Игнат Степанович. Вот погляди... И дальше уже в нашем столетии, за пять месяцев до начала первой мировой бойни, глухой ночью, когда люди спали, сильный северный ветер столкнулся с другим ветром, избрав ареной свирепого поединка опять-таки Азовское море. Вот здесь указаны размеры водяных столбов, смерчей, не знаю, как и кто их мерил, но верить надо... Смерчи разбились, рухнули, образовали вал высотой свыше четырех метров. Вода страшнее огня. Пожар можно погасить, а здесь подчинись разгулу стихии. Сокрушающий вал вымел восточное побережье Кубанской области, погубил много людей, домов, рыбачьих ватаг. Наукой пренебре-

гают неучи, стихией — дураки. Без намеков, конечно, Игнат Степанович. Застраивать косу не позволим. Придумано красиво, но без учета опасности.

Помнит Кучеренко, пришлось ввернуть упрек о фатальной подчиненности стихии, о неверии в собственные силы, не такое, мол, побеждали. Мигунов покорно выслушал председателя, улыбнулся:

— Александр Сергеевич Пушкин и тот заявил во всеуслышание, что с божьей стихией царям не совладать. Больше того, прошу подумать и тебя и власти, как бы без особого административного рвения убрать с побережья все эти Докуки и Хворостянки.

Потом так получилось: рыболовецкий колхоз «Азарт» постепенно «прикарманил» приморские поселки, в каждом создал бригаду, построил станы, амбары, пробил артезианские скважины и заинтересовал людей рыбным приработком.

Была без радости любовь, разлука будет без печали! Тяготеющие больше к морю, чем к земле, поселяне не больно много трудились для колхоза. Когда-то они составляли просто бригаду, а потом с расширением масштабов волей-неволей пришлось создать специализированную артель, названную в честь погибшего боевого сейнера, перевозившего из Баклановской на Керченский полуостров наших десантников. Кучеренко только вздыхал, оглядывая скудный пейзаж, и, отбрасывая неудачу генерала Дебрилля, видел на пустынной косе дворцы и парки, яхтсменов и бассейны, пионерские флаги на высоких мачтах, пирсы, уходящие в море, пляжи...

— Понастроили вместо добротных куреней халупы на куриных ножках, — вздохнул после долгих раздумий Кучеренко. — Смотреть на них тошно.

— На границе не строй светлицы, — поддакнул Будник, разделяя тяжбы Игната Степановича по украшению баклановского прибрежья. — В охоту, в сезон, сюда народ валом прет. Куда же девать охотников? В комариные стойбища? А тут почти у околицы камыши, ерички, лодкой можно выйти из затишка... А вон и дом Кибриков.

Крышу крыл зять, каждый гвоздок забивал с аллилуей. Теперь шифер зубами не отдерешь. Во дворе у Кибриков целая птицеферма. Им на базаре не покупать уткугусочку, своя, свеженькая, на камышике опалят тушку, прелесть. Здесь люди солидные, буги-вуги не выде-

лывают, гопака вполне сообразят под добрую закуску. Телевизоры у всех. Зачем им станицы аль город? Перед ними весь шар земной на голубом экране.

Глава третья

Дом Кибриков заметно выделялся среди мазанок. Он стоял повыше, на твердом бугорке. Со стороны моря дом ограждала стена акаций с плотными, жилистыми стволами, вынесенными чуть поодаль в виде аллейки. За акациями возвышалась ограда из колючей немецкой проволоки, ее нетрудно было узнать и по качеству вязки, и по ржавчине, доказывающей глубину времени. Стены дома хозяева сложили из шлакоблоков, что подтверждало его устойчивость и долговечность перед остальными, хотя и аккуратно прибранными, но хилыми хатенками. Кроме того, была еще одна примета: дом с трех сторон как бы опоясывался бетонным тротуаром. Опытный глаз мог сразу заметить, что бетон заливался в густую вязь арматуры с набросом железного хлама в ячейки.

— Анатолий забетонировал! — похвалил Будник, любуясь тротуаром, будто делом собственных рук. — Приезжал на побывку, недели две сооружал этот дот. Фугасным не возьмешь! — Он обошел дом с трех сторон, заглядывая в щели закрытых ставен. — Никого нету, что ли? Попали не вовремя.

Подойдя к машине, Будник нажал потной ладонью на ободок сигнала. Резкий призыв, отыгранный Будником в плясовом ритме, выбросил на улицу растрепанного, как лопух, четырнадцатилетнего подростка, босого, в модно-рваных штанах с наклейкой на заднем кармане. Паренек, застыв на месте возле шумно распахнутой калитки, округлил глаза и, не поворачиваясь, закричал ломким голосом:

— Ма-а-ма, кто-то к нам!

— И-и-ду-у, — протяжно отозвался женский голос из хворостяной клуни.

Будник, укоризненно покачивая головой, приблизился к пареньку.

— Сашок, ах ты, Сашок! Кто-то? Это мы кто-то?

— Прошу меня извинить, товарищ председатель, — растягивая в улыбке рот и открывая милую щербатинку, оправдывался Сашок. — Подумал, а не узнал... — Он бесхитростно оглядел костюм Будника, штиблеты и особенно задержался на шляпе, которую председатель смущенно вертел в руках, стараясь не без умысла показать ее с донышка, где был незатертый белый атлас и заграничное клеймо.

Женщина признала неожиданных гостей еще издали, прикладывая тяжелую руку к суженным до щелочек глазам, давно помутневшим от ветра, солнца и грубых работ, требующих как-никак зоркости. Узнав, она заторопилась, насколько позволяли больные ноги и потучневшее тело.

— Свиридовна, — Будник приветственно поднял за краешек шляпу. — Гнат Степанович, как дюже конник, требует прибавить аллюр на один крестик.

— Спасибеньки, не забываете, Матвей Иванович. Рады, и ще разок рады, товарищ Будник. Витаем вас щиро...

Свиридовна, не опуская глаз, вытерла руки о фартук и подала их Буднику. Матвей Иванович почтительно склонился, пожимая руки хозяйке.

— Где Опанасе, Свиридовна? На тоне?

— Шуткуете вы, Матвей Иванович, какая теперь тоня. Пошел на моторке, того-сего, надо шось исты, — женщина забеспокоилась и, узнав Кучеренко, просветлела лицом, заулыбалась. — Прошу, прошу в гости, Гнат Степаныч. А это шо за человик? — И, узнав, кто незнакомый, сразу заговорила о сыне.

— Слышал, Игнат? — Будник подтолкнул Кучеренко. — Будешь в райкоме, стань на защиту материнского горя...

Оборвав запальчивую скороговорку, Матрена Свиридовна пригласила гостей в хату, открыла двери. Будник шагнул и остановился: в сенях на гнездах угрожающе зашипели гусыни.

— Что-то не ко времени плодите гусят, — удивился Будник, уступая дорогу хозяйке. — По ледку думаете выпасывать гусяток?

— Гусята возьмут к глубокой осени полные перья, — оправдывалась Матрена Свиридовна. — Это як поздний укропчик або петрушка, полынок жухнет, а они просятся в юшку. Зачем на ледок? Место есть в хате. Печка у нас добрая, выходятся. До ледка полиманят, а потом...

Матрена Свиридовна говорила как бы сама с собой, то разводя руками, то загибая пальцы, раскладывая свою нехитрую бухгалтерию, дающую ей право оставаться независимой, доводить до ума последнего сына.

— Дед-то мой, Матвей Иванович, тридцатку пензии получает, — подчеркивала она. — Я за погибшего сына двадцать три семьдесят, потому и гуси-ути... Спичек надо, керосин, мыло, одежа у моря огнем горит. Есть коровенка. А что коровенка? Видите, какие корма, товарищ Кучеренко. Не ваша люцерна, тут верблюд голос даст, ей-богу, сущая правда... Верните нам Анатолия, товарищ Будник. Повалий забрал его в полон. В Новороссийске окрутила его краля с добавком, а тут зачепил его на якоря Повалий. Нам треба жить.

Добившись внимания и сочувствия, Свиридовна немного успокоилась, даже повеселела. С моря докатились звуки мотора, всхлип буруна, и вскоре, обогнув камыши, появился баркас.

— Вертается мой Опанас, — засуетилась Матрена Свиридовна. — Пора уже, пора.

Гости так и не зашли в дом. Мотор баркаса замолк. Он мягко прошелестел по намыву и ткнулся носом в песок. Хозяин повозился с мотором, отвернувшись спиной, потом поднялся, выпрямился, вгляделся из-под ладошки и только тогда, переступив через борт, пошел к гостям, неся в одной руке ведерко, в другой двух серебристых судаков.

Подойдя тяжелыми, медленными шагами, он кивнул каждому по очереди, скупо улыбнулся, обнажив такую же примерно, как у сына, щербатину под седыми усами.

— Милости просим, — сказал он сиплым, простуженным голосом. — Какие новости, товарищ Будник?

— Нет новостей, Опанасе.

— И то добре. — Он передал ведерко жене. — Там набралось по мелочи на юшку.

Жена заглянула в ведерко, осталась довольна.

— Пойти?..

— Иди, — сурово глянул на жену Опанас. — Судаков с головами вари. Потом выкинешь.

— Сама знаю, с чем варить. — Матрена Свиридовна взяла судаков, понюхала темно-алые жабры.

Муж проследил за нею насмешливым взглядом.

— Вот такие завсегда бабы. С моря привез, нюхает...

— Иди ты, Опанасе. У меня такая привычка, — и,

опустив судаков так, что они, почуяв землю, стали бить хвостами, сказала: — Спытай за Анатолия.

— А ты не пытала?

— То я, а то ты...

— Чего пытать, — насупился Будник, — ваша забота, наша забота. У меня не меньший к нему интерес, сами знаете.

— Знаем, — сказала женщина и направилась к хате.

Когда ушла жена, Опанас сказал:

— Забила себе голову, хочет одного Анатолия. А он, судя по его письму, решил крепко. Что с ней делать? На шпут низать?

— Отойдет, — успокоил рыбака Будник, — надо провести агитацию.

— Так-то оно так, а все же... — Старый Кибрик повернулся к Безмерному. — А вы чей будете?

— Наш молодой агроном, — сообщил Кучеренко.

— Я думал, с рыбнадзора.

— Неужели похоже? — удивился Будник.

Старый рыбак уклонился от прямого ответа, заговорил о заморе тарани. Свиридовна затопила камышом летнюю печку. Солнце уже припекало хорошо, и гости перешли в холодок, под акации, правда тоже не дающие много тени из-за полуоблетевших листьев. Будник просил Кучеренко включиться в их заботы, позвонить первому секретарю Сечевого райкома Потапову или второму — Караману, оба они отзывчивые, поймут.

— Вытащили мою половину фелюг и мотоботов, поставили на клетки, суда на отстое, нужен ремонт, на судоверфь не погонишь, — объяснял Будник прежде всего новому человеку, так как остальные не хуже его знали положение дел. — Родителям нужен сын, а мне механик. А в общем, интересы хотя и сталкиваются, но не расходятся. Пришел вчера к мотоботу, на нем двигатель новый. Гляжу, чертоломят зубилом и молотком, ну как это назвать? Мотор же сердце, его надо нежно...

Кучеренко слушал Будника, играл наконечником кавказского пояска, и солнце, пронзив редкие листья деревьев, мутно играло на золотой насечке.

На улице появились женщины, ребятишки. Они пока еще не осмелились подойти, но любопытство в их скучной жизни было понятно. Безмерный чувствовал усталость после бессонной ночи, ему уже приелись бесконечные разговоры, переливание из пустого в порожнее,

чужая судьба его мало интересовала, он думал о себе, как устроится, что будет в дальнейшем, как примут его колхозники.

Старый Кибрик глядел на чаек, жалко вскрикивающих над оловянной водой, с шелковистым шуршанием обмывающей плоский берег. Он давно открыл равнодушие в молодом агрономе, не упрекал его, а больше не обращался к нему, будто бы его и не было с ними.

— У нас, как вы знаете, Игнат Степаныч, две комнаты и коридор, — продолжал старый Кибрик. — Одну освободим от утят и курчат, обоями выклеим, фикус поставим, телевизор у сына свой. В прошлом году в отпуск приезжал. Другие чуть что — в станицу. Киоски, кино, курортницы. А он достал бутовку, цемент, с трех сторон окантовал дом бетоном. Говорю ему: «Отдыхай, Толя, зачем себя мучишь? К чему тут бетон? Дот, что ли?» А он говорит: «Вспомните еще меня, батя!..» Мотор занедужил, разобрал до винтика, сделал как со склада, ни чихнет, ни кашлянет. Слыхали, как шел? Я рассчитывал на Харченко, а он сухой на душу. На Повалия? Куда там! У того абы сорок семь центнеров по кругу... Только Потапов поможет. Говорили люди, отзывается на всякий плеск души. Анатолий сейчас на хуторе в Облучках, у ее родителей, у Тарасенковых. Вас Потапов послухает, товарищ Кучеренко.

Глава четвертая

— Вот что, Филя, возвращайся в гараж, отдыхай, — распорядился Потапов, вылезая из машины, — а я сам доберусь до Облучков.

— Как же так, Виктор Павлович? До Облучков добрых пять километров. Разрешите, подброшу, а тогда...

— Филипп, — повелительно произнес Потапов, — я сказал, значит, точка.

— Ладно, Виктор Павлович, — обиженно бормотнул Филя. — А завтра когда?

— Утром, в шесть, пробежим в «Четвертый корпус», в Баклановку.

— Ружья готовить? — спросил Филя, не убирая в кабину голову в кепчонке с пуговкой посередине и синим

прозрачным козырьком. Темные очки висели у Фили на груди, засунутые одной дужкой за расстегнутый ворот хлопчатой рубахи.

Потапов подправил очки, потрепал Филю за ухо.

— Не вздумай за мной тайком поехать, — предупредил он, — лучше погляди машину, что-то она у тебя плохо заводится, а завтра в Баклановку, там нельзя конфузиться, на нас равняются...

Филя тут же оправдался: перегревалась, дескать, трубка бензопровода.

— Проверь генератор. Может, что со щетками. А на жару не сваливай. Такие машины в Конго ходят...

— Вы не ответили, Виктор Павлович, ружья готовить?

— Не на охоту поедем, есть другие дела.

Под другими делами Потапов имел в виду возвращение из «полона» Анатолия Кибрика. Опять звонил Кучеренко, передавал мольбу председателя артели «Азарт», неугомонного и излишне шумливого человека, просьбу старых Кибриков...

Облучки, куда направился пешком первый секретарь райкома Потапов по обочине полевого шляха, — хуторской поселок в сто тридцать четыре двора, вытянутый в одну линию по изгибу степной, запруженной речки. Река Облучки значилась на карте то озерцами, то пунктирами, и в этом не было ошибки. Если в период полой воды она прытко захлебывалась на препятствиях и прорывала гати, то в бездождье покорно примирялась со своей участью, отстаивалась в запрудах, прорастала болотной травой и камышами, накапливая ряску. В серповидном отростке Облучков, куда прижимался хутор, в любое время года держалась глубина и водилась рыба. Живописный оазис сохранялся стараниями людей: речку прикрывали зеленым барьером тополей, обсаживали берега вербами, камыш выкашивали с расчетом, не до последнего корешка. Сюда наезжали купальщики, особенно после того, как бригадир Повалий — в его владении значился хутор — с присущим ему размахом сбросил на пляж сотню самосвалов азовской ракушки.

Облучки при всей живописности почему-то считались подобно бельму на глазу. Кто бы ни наезжал, укоризненно поматывал головой, вздыхал при одном упоминании слова «хутор», решительно не приказывал, а рекомендовал настойчиво. Сселять хутор не шутка, как-никак сто тридцать четыре плотных, вросших в землю

хозяйства. Выстроить для них пятиэтажки? Даже выстроишь, если осилишь, не всякий пойдет: куда девать кур, гусей, поросят? В дополнение ко всему Облучки считались самым старым поселением, и отсюда, от серповидного плеса, ниже по течению пошла станица, особенно после прокладки железной дороги. Нетрудно предположить, что здесь запорожцы разбили первый табор, вырыли землянки, а потом поставили хаты, укрыв их вольным очеретом.

Правдивые сказы доносили сведения о Суворове, здесь он встречался с ногайцами, устраивал пиры, одаривал из царской казны и властно уговаривал на дружбу. История подтверждала изустные былины. Будущий знаменитый полководец прибыл сюда с большими полномочиями после подписания Кючук-Кайнарджийского договора, выгодно определившего южные границы России по реке Кубани до старой Терско-Моздокской линии. Заботясь о надежном прикрытии России от беспокойного юга, Суворов заложил в удобных местах ряд крепостей с земляными валами, палисадами и пушечными позициями. От Тамани до Терека возникли крепости с надежными казачьими гарнизонами, присягнувшими держать в своей заботе и чести пограничную линию. Не выпустил Суворов из своего поля зрения и прикрытие не менее важного Приазовья, куда стекали реки, образуя лиманы с их зарослями, способными укрыть крупные десанты. Так возникли редуты на Кирпилях, Вейсуге, Ее, образуя вторую линию обороны от Павловской крепости до Азовского моря.

За сто дней Суворов сделал много, диву даешься, как сумел он не только продумать, но и материально закрепить свой блестящий стратегический план.

В Облучках жили семьи, крепко прильнувшие к земле, и не случайно можно было на пальцах пересчитать покинувших хутор в поисках соблазнительной жизни. Не потому ли в Облучках стойко поддерживался средний комсомольский возраст, хотя старики отличались долголетием. Свыше трехсот человек молодежи, не считая детсадовских детишек! Не случайно здесь открыли школу, клуб, стационарную библиотеку, подобрали надежных десятских. Давно забыли здесь о кражах, хулиганстве, вместо замков задвижки и щеколды. Участковый наведывался сюда на мотоцикле, чтобы навестить добровольную дружину и сообщить о новых указах.

Кругом плантации сахарной свеклы. Разве устояли бы в другом месте? Задышали бы перегонные кубы, не отворотил бы носа от запаха бурачного первача, ан нет, не привилось. Тут, надо сказать откровенно, облучковцы перехитрили многих и непревзойденно вырабатывали «фирменный» малохмельной напиток гораздо ниже караемых по закону градусов: облучковскую бражку.

Какой-никакой градус, а брага действовала правильно, и нередко последователя крылатой фразы киевского князя Владимира «Руси есмь веселие пити» называли сообразно со стилем эпохи — «облученным».

Над Облучками властно шефствовал Герой Труда и депутат Верховного Совета Николай Иванович Повалий. Хутор, как уже говорилось, значился в территориальном комплексе его бригады высокой культуры земледелия. Облучки пополняли кадры механизаторов, доярок, отсюда рукой подать до бригадного стана и молочной фермы.

Потапов еще не был убежден, что стоит уламывать Повалия повлиять на хуторян. При обсуждении спорного вопроса он занял уклончивую позицию, хотя такое поведение и не было в его характере. Надо подумать, торопиться некуда, всего проще смахнуть с лица земли еще один хутор, приписать энное число гектаров к пашне.

Потапов шел неторопливо по грейдеру, отполированному машинами до стеклянного блеска. Лошадьми ездили по грунтовке, рядом; там лежала отвальцованная колесами пыль, пышная, как крупчатка, взлетавшая при самом слабом движении воздуха и долго не оседавшая на землю. На повороте грейдера он свернул в поле, вырвал росток озимки, посмотрел на вялые корешки, на крошки сухой земли, захваченной усиками... и это семя сильной пшеницы! Замечательные, янтарные зерна были уложены в сухую землю. Редкие облака побродили, сбросили крупяные капли, будто дробью пробившие пыль, и ушли.

Они ушли, а дождя так и не было. А с него, секретаря райкома, спрос и за эти гулящие тучки, и за сухой чернозем, и за нехватку уборочных машин, вроде он сам движет конвейер или рейсшину на чертежной доске.

За бахчой с остатками кавунов-недоборышей работали два кукурузоуборочных «Херсонца», похожих на доисторических птиц с зобастыми длинными шеями. Потапов замедлил шаги. Впереди блеснул плес, потянуло прохладой и запахами застойной воды. На том берегу, за бугром,

в текучем мираже, будто шатаясь, поднималась водонапорная башня молочнотоварной фермы бригады Повалия.

К мосточку вела старая гать, подправленная под общий грейдерный профиль полевых дорог. Какая прелесть эти степные речки! Даже не речки, вряд ли повернется язык назвать так громко озерца или плесы, налитые теплой водой. По плесам, окантованным камышом, снуют утки. Спокойно и величаво плывет селезень, а вон и нырок вскинул головку и, чего-то испугавшись, исчез. Появится он в неожиданном месте, потому что не оставляет следа на поверхности, как бы ни была она гладка; не выдает его «перископ», какими-то своими природными локаторами пользуется он для подводного рейса.

Мохнатые, словно овчинные папахи, вербы перемешали свои космы с подступившими к гребле камышами. Осока заняла участки теплого мелководья и пробилась на береговой замыв, где много вьюнка, ядовитого для свиней, любителей копать влажную землю.

У моста через протоку ленивой воды мальчонка с удочкой, и рядом второй с голубым велосипедом, и еще один: насаживает червяка, хмуро сосредоточившись.

Потапов передохнул у перил со следами засохших червяков и чешуи. У одного из мальчишек в прозрачном мешочке груши и горбушка хлеба. Другой, в женских сандалетах, веснушчатый и вихрастый, так же, как и его товарищ, больше глядел не на поплавки, а на девчонку, только что вылезшую из воды. Она, наклонившись, обмывала ноги. Мокрый купальник обтягивал ее тело с развивающимися бедрами и оформившейся грудью.

У девчонки смуглые длинные ноги, волосы цвета камышовых метелок. Она не обращала внимания на мальчишек, хотя и замечала их взгляды. Девочка была в том дерзком и загадочном для нее возрасте, когда только-только открывается мир новых ощущений.

Направо начиналась улица, обращенная к бугристому левобережью некогда широкой реки. Строились поближе к воде по бывшему руслу. Оттого удавались здесь овощи, ежегодно родили фрукты и удачно взялся виноград.

Тропинка вдоль тополей была не затоплена. Летало много стрекоз, и все с бирюзовыми крылышками. Кое-где держалась бузина, накопившая к осени сочные агатовые гроздья. Все, даже воздух, пахло хутором. И почему здесь дышалось легче, чем на пленарных заседаниях по слиянию хуторов? Позади послышался топот босых ног.

Потапов, оглянувшись, почти лицом к лицу столкнулся с догонявшей его девчонкой, той самой, которая была у моста.

— Виктор Павлович, ну и шибкие вы, — сияя глазами, выпалила девчонка. — Еле-еле догнала. Не узнаете?

Потапов недоуменно развел руками и, не скрывая удовольствия, приветливо подал ей руку:

— Ну, назовитесь, милая незнакомка!

— Маринка я, Виктор Павлович! Тарасенко Марина!

— Маринка?! — удивился Потапов. — Не может быть! Отличница, певунья и красный следопыт?

— Вспомнили! — Она засмеялась. — Я была тогда малютка. Помните, я приносила вам цветы под Первое мая?

— Все так было.

— Вы случайно не к нам?

— К вам, Маринка.

— Понимаю, — она покривила губы, — насчет выселения?

— Не выселения, а сселения, — поправил Маринку Потапов, — но не специально по этому поводу. Хотел посоветоваться с твоим отцом.

— Пойдемте, пойдемте, — зашагала рядом с Потаповым Маринка и, не доходя до своего дома, позвала отца.

Из хаты вышел жилистый пожилой мужчина в сапогах и потрепанных армейских шароварах с метлой в руках, связанной из верблюжатника. Он остановился возле старой груши, приглядываясь из-под ладони. Узнав Потапова, оставил метлу и направился навстречу.

— Виктор Павлович, вы? А я гляжу против солнца, хотел отчитать Маринку, парубка привела...

— Парубок... — Потапов засмеялся. Маринка развешивала купальник на белой веревке и тоже смеялась.

— Папа, Виктор Павлович сселять нас пришел! — прокричала она и побежала в хату. На пороге задержалась: — Папа, вы подождите, я пока уберу комнаты.

— Пускай наведет порядок, — согласился Иван Терентьевич, продолжая радоваться приходу гостя. — Стара моя пошла за Тиграном, обещал трав для снадобья.

— Занедужил, Иван Терентьевич?

— Да ну что вы, хай им чур-чура хворобам, пока не жалуюсь. Стара жалуется, что-то внутри давит, определяли поджелудочную. Да чего же мы стоим...

В быстро прибранной комнате пахло свежим хлебом,

хмелем и теми запахами, которые присущи саманным, недавно побеленным стенам. На полу лежали цветные циновки, телевизор прикрыт вышитой накидкой, на полках книги. Хозяин с радушием усадил гостя, налил холодной, из погреба, браги, разрезал дыню.

— Может, утятину будете, Виктор Павлович, — предложила Маринка, успевшая и постелить свежую скатерку, и сбегать за брагой, и пошарить в русской печи, постучав о чугуны рогачом. У нее были ловкие руки, гибкое тело, и вся она порывистая, свежая: на нее хотелось смотреть и любоваться.

— Подождем мать, — отец выразительно приказал глазами, и Маринка вышла с покорно-независимым видом, оставив распахнутой дверь. В хату влетела ласточка и тут же вырвалась на волю.

— Я еще окунусь! — задержалась в дверях Маринка, бросила радостно: — Петя Повалий срезался по письменному...

— Знаю, — махнул отец рукой, — хотела окунуться, иди, не мешай.

Подождав, пока угаснут звуки: стук калитки, топот ног, — сказал:

— Малые дети — малые и заботы... Что ж дыню? — Тарасенко подвинул ближе к гостю блюдо, сосредоточился, но разговор не клеился, будто с уходом Маринки погасла радость встречи.

Из хаты вышли на улицу, присели на бревно, лежавшее под высокой разлапистой грушей.

— Как дела, Иван Терентьевич? — спросил Потапов, искоса наблюдая за помрачневшим комбайнером.

— Какие наши дела. Отвоевались с жатвой. Теперь наше зерно стало ваше, шуршит в элеваторе.

— Хорошо в этом году поработали.

— Неплохо.

— Как комбайны?

— Завели в стойла. Теперь разлетятся кумовья за запчастями. — Тарасенко с трудом поддерживал разговор, не стараясь подталкивать к главной цели, так как знал, зачем секретарь райкома приехал в Облучки.

— Дочь-то уже выросла, — сказал Потапов, — не успели мы с вами три озимки скосить, глянь-поглянь — девушка.

— Молодые все красавицы, — отцу были приятны похвалы, — характер только... Боевая очень.

— Боевая хорошо.

— Не в сержанты ж пойдет, — Иван Терентьевич, по-видимому, хотел оттянуть неприятный разговор. — Вот вроде радуется: Петька Повалий на экзаменах срезался. — Тарасенко шевельнул рукой. — Нравится он ей. Прямо нет, а чуть что: Петя, Петя... Уехал он сдавать экзамены, сама не своя, три тарелки разбила. А теперь год резерва, воспрянула.

Из-за школы появились Параскева Терентьевна и «травник» Тигран.

— Инвалид, а как чешет, — удивился Иван Терентьевич, — мотоколяску продал в Брюховецкую, пешком травы ищет. А где они? Курганы и те распахали до макушки... говорили, только в старых посадках находит девясил, солодку, наперстянку, белладонну...



— Ишь как, Терентьич. И сам травником стал.

— Тигран дудит и дудит, не все сквозь уши. В его брехне есть правда. Пшеница или ячмень для него ноль без палочки, а дикорастущие... — Иван Терентьевич сидел прямо, сухой, корневитый. Живот у него подтянут как у юноши, закатанные рукава позволяли догадываться о сильных мышцах, да и откуда им быть слабыми? Только лицо выдавало годы. Изнашивалась кожа на ветрах и солнце, от прижмурки и напряжения лицевых мускулов при работе на комбайне. Морщины гармошкой, нос острый, на щеках вкраплены пятнышки, как у шахтера.

— Сколько вам, Иван Терентьевич? — осторожно спросил Потапов.

— Пятьдесят восьмой пошел с мая.

— И такая семья?



— Семья? — он пожал плечами. — Для могущества еще маленькая. Вон у туркмен, говорят, семьи... Пока не было внуков, считал себя молодым. А теперь уже дед. Старшая, Римма, привезла внучку. А мужа потеряла. Смыло его волной с танкера в Индийском океане. — Он сжал кисти рук между коленями, ссутулился. — У меня семья сложилась после войны. Старшую я назвал, знаете ее, а вторая, Зоя, тоже знаете, стоит на звене. В институт опять не попала. Проталкивать некому, а наплыв большой. Ничего. Крыша хоть камышовая, сквозь нее не капает. Маринка помогает на ферме, подрабатывает на тапочки, доит и механической и ручной. Сын в армии, сами призывников провожали, держали речь. Служит с отличиями, командиры хвалят... Двое последышей, крепенькие, из пятого и шестого класса, мальчик и девочка. — Тарасенко говорил достойно, как бы ставил одного к другому своих детей, радовался им, никто не принес ему еще огорчений. — Вот как сложилась ячейка среди четырех саманных стенок, Виктор Павлович! Приехал с Риммой Анатолий Кибрик, механиком взяли в бригаду, родом из Лебедянки. Вы тоже его знаете. Еще не расписались. Года не прошло после первого мужа. Со стороны рассуждать — неприятная поспешность. Вроде слишком швидко утешилась. А что, если открылся верный человек? Ждать? Вывернется какой-нибудь портовый промотаец, приманка хорошая, квартира. А Анатолий ни слова не возразил, поехал с ней сюда, сдали в горсовет квартиру, обрубили якоря.

— Тянут его снова к якорям, к морю, — напомнил Потапов.

— Родители. Их слово свято. Кенарь на что красиво поет, а не могу слушать его в клетке. Мы не неволим. — Закончив со старшей дочерью, перешел к Зое: — У нее твердый жених — Тимофей Аулов. Сам Харченко организует семью, обещал материал на домишко, участок, ссуду. Тимофей ростом маловат. Ниже Зои на три пальца, зато вертучий. Обойдемся в нашей семье без великанов.

Подошли Тигран, тощий пожилой армянин с впалыми щеками и горячими глазами, и Параскева Терентьевна, которая, радушно поприветствовав гостя, тут же заторопилась стряпать.

Тигран, приподняв шляпу, вежливо обратился к Пота-

пову, чуть склонившись и в осторожной улыбке обнажая редкие желтые зубы:

— Разрешите спросить, товарищ Потапов, верно ли, что имеется решение о сселении нашего хутора?

— Такого решения нет.

— Почему же тогда наезжают сюда разные товарищи, подталкивают? — Он освободил шею от галстука. Его глаза глядели в упор, не мигая.

— Насильно сселять не будут.

— Спасибо, товарищ Потапов. Лучше всего получить сведения из первых рук. — Голос Тиграна звучал гортанно, кадык бегал под коричневой кожицей, мелкая россыпь пота покрыла его щеки.

Поскольку разговор был начат, следовало его продолжать.

— Нет ничего дурного в том, что мы зовем жить в станицу, — сказал Потапов. — Создаются культурные условия быта. Зовем от этой крапивы, борщевика, от адамова корня...

— Тсс... — Тигран поднял руку. — Отбросим адамов корень. Его продают жулики. Пойдемте на любой огород, где ни копни, адамов корень, а вот крапива! Крапива! Лучшее средство от... — он ткнул пальцем в свой впалый живот. — Крапива — бог желудка!

— Скажи, как с этим богом поступать? — спросил Тарасенко. — Секрет?

— Почему секрет? Брать зеленую, варить. Есть как кашу. Все!

— А по скольку? Норма какая?

— Сколько хочешь! Воды сколько пьешь? Пока не напьешься.

— А если молодой крапивы уже нет? — Потапов «чувствовал» печень и прислушивался к советам.

— Надо брать старую. Корни. Помыть, варить, процедить, пить.

— Помогает? — спросил Потапов.

Тигран посмотрел туда же, куда Потапов, в небо, на истребителей. Они резко изменили курс, стремительно пошли к земле.

— Если один из них врежется, прямо скажу, крапива не поможет, — заметил Тигран. — Зачем пить, если не поможет? У меня была язва. Двенадцатиперстную съела. Пять лет ем все, ржавые гвозди, рога, копыта, ничего. Она! Только она!

— Да вы прямо-таки гимн пропели ей. — Потапов сорвал привядший стебель с любопытством, будто впервые увидел этот сорняк в новом его качестве.

— Мою мать, ей восемьдесят три, положили в больницу, — продолжал Тигран. — Она сказала, выведите на волю! Вышла в сад, нашла крапиву, помыла, выпила — здоровая!

— Небось кололи ее, — буркнул Тарасенко, — уколы помогли, а крапива...

— Эге-ге, уколы... Крапива, и только она, Терентьич.— Он передохнул, быстро закурил.

— Можно подумать, только крапива, а охота? — с явной подковыркой спросил Тарасенко.

— Охота? — Тигран передернул плечами. — Для охоты нужно ружье.

— Капканы — твое ружье.

— Капканы? Ставлю. На суслика. Суслик чуму разносит.

— Барсука берешь, ондатру...

Тигран заулыбался, мягко упрекнул:

— Неудобно, Терентьич, браконьером меня рисовать. Мой отец охотник, хотя ему восемьдесят семь. Два года назад приехал я погостить к нему в Туапсе. Взял ружье, пошли на охоту. Я ему газетку: нельзя, запрет. Знаю — нельзя бить, а ходить, дичь пугать можно. Ее надо пугать, а то она расти не будет.

— Вот какой он у тебя охотник, — сказал Тарасенко.

— Восемьдесят семь! А раньше медведя бил.

— Как же он его бил? — спросил Потапов.

— Пулей! — воскликнул Тигран, польщенный интересом к его рассказам. — На медведя нужен расчет. Большой математики не требуется, а кое-что знать надо, иначе может случиться аминь. Прежде всего железное правило: гляди ему прямо в глаза, тогда он остается на четвереньках, не поднимается. Медведь сам не нападает, пока человек его не затронет. А если пошел, оглядывайся, упаси бог, возьмет со спины. Хрустнешь, как бублик в кулаке!

Потапов хорошо знал Лихопята, зятя Тиграна, мельком видел его жену Суреночку, она водила по ферме делегацию армянских колхозников, изучавших передовой опыт. За столом переводила цветистый тост старика ветерана, плохо говорившего по-русски, а тост требовал

точности, иначе терялся его мудрый аромат. Запомнил глаза-маслины, длинные ресницы, матовое лицо.

Тигран перешел с крапивы на другое целебное снадобье — медвежью желчь.

— Средство, скажу вам, исключительное, универсальное, не лекарство, а сказка. Отец убивает медведя и желчь в вату и в банку. Сохнет? Значения не имеет, пусть сохнет, свойства своего не теряет. Как надо — взял ваты из банки, размочил, выдавил, сколько нужно капель, пей, все болезни уходят, старость уходит.

— Врешь, пустой ты человек, — возмутился Тарасенко, — почему от себя старость не отгонишь, ты же на пять лет моложе меня.

Тигран вытер лысину шляпой, приосанился, обратился за поддержкой к Потапову, видя в нем внимательного слушателя.

— Не верит в медвежью желчь. Темнота. Если крапива берет язвы, давление, камни, медвежья желчь все остальное. Только горькая она, хуже хины. Еще вспомнишь, Терентьич! Один мужчина кричал, давило мозги, принял дозу, заснул, проснулся — забыл... Другой плакал, рыдал, давило вот тут, — прижал худые кисти рук к затылку, — дал ему отец всего три капли — сняло... — Тигран счел выгодным раскланяться и уйти.

— Вы зря его, — сказал Потапов, — судя по всему, он человек не вредный, это не шаман, не знахарь, а...

— Пустой он человек и легкий, — в сердцах перебил Тарасенко, — обжуливает мою старую, натрет ей каких-то листьев, убедит, а та верит. Нет, легкий он... Одни работают, а другие придуряются со всякой там крапивой или медвежьей желчью... Срамота одна, Виктор Павлович. Хай ему бис, тому лекарю. Слышите, кличут нас к столу. Римма пришла, как же мы проглядели? Она должна была с фермы идти. Римма, иди-ка сюда!

Римма нехотя отошла от белой стены хаты и направилась к ним. Она была в непривычном для этих мест наряде: в алой шелковой кофточке и модных брюках цвета морской волны. Подойдя, поздоровалась.

— Я вас знаю, Виктор Павлович, — сказала она с улыбкой.

— А я вот нет, хотя и наслышан.

— Нас много, а вы у нас один, — с той же ленивой улыбкой произнесла Римма.

— Как там наши девчата?

— На кукурузе... Пойдемте, лапша стынет.

Римма как бы стеснялась броской своей красоты. Волосы ее были темней, чем у Маринки, фигура круглее, белая кожа покрыта загаром, как золотистым лаком, широкий нос не портил ее лица, так же как и большой рот, благодаря пышным, тонко очерченным чувственным губам.

Она знала о впечатлении, производимом ею, привыкла к откровенным взглядам и нисколько не удивилась, что точно так же смотрит на нее и первый секретарь, хотя кем бы он ни был, прежде всего он мужчина. Поэтому она, нисколько не стесняясь, взяла его под руку и повела к дому, заставила отвечать на ее шутки, слила ему на руки, а потом попросила слить ей и помочь убрать мыльницу и полотенце.

— У вас такие ухоженные руки, — удивился Потапов. — Это на ферме-то.

— Спасибо, заметили. А сколько трудов это стоит.

— Вы же в конторе...

— В конторе, — протянула она, — эх, вы... Знаете, что такое наши конторы? Учетчица — одно название. Надо проверить, записать, выдать запчасти, а то и самой потаскать. Я за столом почти не сижу. А потом у меня же дочка.

— Дочка-то с бабушкой.

— Бабушка бабушкой, а мать есть мать. А потом она еще не привыкла здесь. Живем-то мы на кухоньке, Виктор Павлович. После Новороссийска, сами понимаете...

— А как насчет Лебедянки?

Римма сразу приуныла, черты лица стали острее, взгляд настороженней.

— Боюсь туда, Виктор Павлович. Поймите меня, боюсь.

— Свекрови боитесь?

— Боюсь за Леночку. Она чуткая девочка, притом травмированная гибелью отца. Она боится моря... Я скрывала от нее смерть мужа. Соседи рассказали... Потому и уехали из Новороссийска, не могла видеть моря. Кричала: «Папа, папа, вернись!» — Римма покусала губы, мучительно улыбнулась. — Пошли, Виктор Павлович. Поймите и меня и Анатолия... А там его мать не хочет чужой внучки.

«Вот другая сторона вопроса, — раздумывал за сто-

лом Потапов, охотно расправляясь с лапшой. — Кучеренко звонит, «Азарту» позарез нужен механик, созрела жалоба на Повалия, стараются родители, и нигде, никто даже не намекнул о девочке, не поинтересовался ни матерью, ни ребенком. Нет, — твердо решил Потапов, — не буду я настаивать, позвоню Кучеренко или в райком, скажу о девочке, напуганной морем».

Римма отказалась от лапши, как и прибежавшая с речки Маринка, заторопившаяся на вечернюю дойку. Она долго чепурилась в соседней комнате, вышла в пестром платочке, в брючках, в цветастой кофтенке, игриво метнула глазами на Потапова, вышла вприпрыжку и удалилась с песенкой: «Им бы понедельник взять и отменить». Потапов, прислушиваясь к затухающему голосу Маринки, вспомнил: сегодня же понедельник.

— Вы меня извините, Виктор Павлович, — Римма посмотрела на часы, — мне тоже пора, бригадир у нас хотя и справедлив, но строг. Мама, я сама приведу Леночку из садика... — И, приостановившись у стола, сказала Потапову: — Вот так-то!..

— Детьми были — одни заботы, повзрослели — другие, — вздохнула Параскева Терентьевна, — и все упирается в отца-матерь. Мы жили, нам упираться было не в кого... — Она не сетовала, не упрекала, говорила с достоинством. Муж молчал, соглашался. Только, когда она пожаловалась на хворобы, все чаще приходившие к ней, сказал:

— А ты гони их, не пускай до себя.

— Чем же их прогонять, кочережкой, что ли?

— Пузырьком прогоняй, пузырьком. Чего еще тебе Тигран намутил?

Параскева Терентьевна, заступаясь за своего лекаря, пригласила мужчин на свежий воздух. В беседке на столе их ждали спелый тонкокорый арбуз, мед и соленые огурцы в деревянной миске. Беседка была сооружена из жердей, крыта камышом по образцу казачьих сторожевых вышек. Виноградные лозы оплетали ее со всех сторон.

Хозяин разрезал арбуз на скибки, предложил гостю и, сам взяв скибку, принялся выбирать семечки, уточняя:

— Скоро из Облучков выковыривать будете?

— Изучаем обстановку, — уклончиво ответил Потапов.

— Крепко жмут?

— Откуда?

— Оттуда, — старый комбайнер поднял вверх палец.

— Там люди трезвые, — сказал Потапов твердым голосом, как бы ожидая протеста. Тарасенко помолчал, сосредоточенно разрезал на столе соленый огурец, одну половинку подвинул гостю кончиком ножа, вторую окунул в густой мед, покрутил немного, чтобы обмазать получше, и принялся жевать. Еще не размякший в рассоле огурец хрустел на зубах.

Так же поступил и Потапов.

— Свой мед? — спросил он, вытирая губы ладонью.

— А чей же?

— Вкусный, и светлый, и твердый какой-то, — похвалил Потапов.

— Еще бы! Акацовый! — Тарасенко медленно обвел глазами вокруг, как бы привлекая внимание к акациям, добавил: — Цвели густо. Из-за кашки веток не было видно. Находятся дурошлепы, приказывают выводить белую акацию.

— Действительно, дурошлепы, — согласился Потапов.

— Я раньше не придавал значения слову «стиль», — повеселел Тарасенко, — думал, относительно моды, штаны там или прически, а теперь понял это слово, стиль руководства. Полез к Анатолию в словарь, он книжек много привез с собой, парень грамотный. Стиль-то — палочка. Древние греки писали ею... — он с хитринкой глянул в лицо собеседнику и, прочитав на нем не только заинтересованность, но и недоумение, решил упростить излишне сложный подход к главной мысли: — Стиль есть прием, способ, метод работы...

— Так вы вот о чем, — лицо секретаря вновь прояснилось.

— О том самом. Было время, махали палочкой, поддерживали дубиной, а теперь стиль переменился, и, верим, надолго...

— Верно, Иван Терентьевич, стараемся. — Потапов начал подрезать ножиком скибку, хозяин отобрал у него жиденькую скибку и подвинул большую, с сочным куском середины.

— Советую поначалу взять макушку, а потом основание.

— Видишь, сам-то даешь директиву, а если сверху, скажешь — нажим, дубинка... — пошутил Потапов, следуя совету и принимаясь с аппетитом за арбузную сердцевину, буквально таявшую во рту.

Иван Терентьевич не отозвался на шутку, продолжил свое:

— Жизнь должна течь естественно, как река, как цветет акация не осенью, а весной и не красными, а белыми цветочками... Люди, семьи тоже не свекла, нельзя их выдергивать, снимать ботву, бросать в бурты и вывозить согласно плану... Сазан живет в воде, нельзя его на сушу, воробья не заставишь лететь в жаркие страны, хоть и пальмы, и бананы, и мошки повкуснее.

Чтобы разрядить накал, начинавший овладевать Тарасенко, Потапов решил внести ясность:

— Не будем ломать без вашего согласия, Иван Терентьевич!

— Не будете? — Тарасенко недоверчиво отмахнулся. — Соберете жителей, подсунете крикуна, заставите поднять руки — и сдались...

Потапов слушал пожилого крестьянина внимательно, не перебивал его, старался понять не только то, что твердокаменно рекомендуется экономическими и политическими причинами, а понять душу, переплетения чувств, чтобы послушать совет и по ошибке или рвению не сломать, чтобы потом клеить.

Иван Терентьевич сидел, упершись локтями в столик, глядел на проглядывающий между растительностью плоский кусочек реки, матово поблескивающий, как запыленное зеркало.

— Запах какой, а? Кому кажется прель, а мне пахнет и камыш, и ряска, и подводный бурьян... С детства пахнет река... Это не Волга, не Висла, не Шпрее, знаю их, а всего-навсего никому почти не знакомые Облучки. Мой пескарь милее чужого осетра. Бывалыча ляжем с вечера у реки, подстелем под себя пшеничной соломы и ждем, ждем, как камыш будет расти. Надоумил нас один дедушка, шутник-сказочник, сказал: сразу, как солнце уйдет в Америку, начинает камыш расти... Слушали, глядели, глаза-то были кошачьи. Уверяли друг друга, видели, слышали, а в самом деле простое преувеличение. Все же для меня камыш живой... Каждый листик — чудо!

— А я родился в Западной Сибири, городской, — поведал Потапов, — запах дыма, коксовых батарей и паутину рельсов на подъезде к заводу видно было с горы, и паровозики, как пауки, тянут то муху, то жучка... Две домны выросли в детстве, градирни, трубы, тоже словно камыш, быстро...

— У каждого, конечно, свое, — выслушав Потапова, сказал Иван Терентьевич. — У вас были гудки, свистки, а у нас и поныне перепела перекликаются в поле, слушаю и удивляюсь, понимают они друг дружку. — Он предложил закончить арбуз, убрал корки в ведро, семечки собрал на фанерку и на солнце. С речки, ковыляя по тропке, потянулись утки. Хозяин предложил Потапову перейти вновь на лавочку, и они присели на тополевой колоде. Иван Терентьевич понял, что гость не спешит, продолжил беседу в прежнем элегическом тоне.

— По тому бугру на рассвете мираж или что, а вижу я иногда всадников в папахах и бурках, на розовых гривастых конях. Недолго продолжается, и не проскачут, а потают — и опять бугор с куриной слепотой и овсюжками.

Нетрудно было догадаться: Иван Терентьевич приближался к главной, волнующей его теме. Как бы ни хитрил секретарь, а только из-за кавуна и лапши не пришел бы к нему. Мало ли и других рядовых коммунистов. И потому он не вытерпел длинных присловий, решил действовать напрямик:

— Дурное слово «сселение». Оскорбительное. Прикатывают к нам налетные молодцы, то тем назовется, то тем, учреждений-то много. Чем прельщают? Четырьмя конфорками и теплым сортиром! — Тарасенко даже сплюнул. — У самих такое понимание жизни, и хотят взять голым расчетом.

— Кто же они, молодцы?

— Кто? — Тарасенко сердито отмахнулся. — Из исполкома, из стансовета, из края были шупари...

Раздражение, сквозившее в его словах, по-видимому, имело более глубокую подоплеку, чем посещение «налетных молодцов», подверженных административному зуду. Старый механизатор, фронтовик, отец большого, трудового семейства не мог мыслить архаически, цепляться за старинку просто из-за упрямства или силы привычек. Его возмущало непонимание, равнодушие к нему, как к человеку, живущему, мыслящему, способному рассуждать, вступать в противоречие.

— Для них моя хата — тьфу! Подумаешь, дворец! Нажал на нее бульдозером — и сгреб как сухой коровяк. А я сам ее сложил, сам с семьей землю с соломой месил, кирпичи таскал и сушил, рамы вязал, двери подгонял, камыш косил. Я в этой невзрачной хате при соломенном

топливе детей для государства выращивал, в вату их не заворачивал, пушинки с них не сдувал, вырастил и укрепил, видели какие, не оборвыши... Куры, утки, молоко, овощи, мед, фрукты под рукой, не на базаре, не в ларьке, а тут же, как и положено крестьянину. Переселить? Ладно. Куда? Готовы ваши пятиэтажки, конфорки? Нет? Знаю. Выстроил колхоз два дома: один для специалистов, другой для учителей и медиков.

— И для облучковцев выстроят, Иван Терентьевич. Кто в этажный, кому участок нарежем, ссуду дадим, колхоз поможет. К примеру, если сюда тянуть коммуникации, газ, воду и все прочее, средств и на половину хутора не хватит... — разъяснил Потапов, — учитывается, что выгодней...

Тарасенко тут же перебил его, не дожидаясь, когда секретарь докажет выгодность.

— Нельзя ко всему подходить коммерчески, Виктор Павлович, — упрекнул он, — не все выгодное в общем масштабе устраивает человека. Выгода будет, а человеку тоска. Никого еще пальцем не тронули, а люди сумуются, тоскуют, суды-пересуды, это ж не осиное гнездо, чтоб в него кипятком плескать. Мы с вами коммунисты, имеем конечную цель. Вот вы кивнули, а и сами не до конца знаете, как оно будет. Одни думают, сеять его не надо, сразу приступать к поеданию урожая. Притом те, которые так себе рисуют, не думают садиться на комбайн, убирать, а сразу приниматься за пироги с изюмом. Мы зимой к весне готовим технику, а как мы готовимся к коммунизму? Четырьмя конфорками?

Поставив вопрос без всякой ядовитости, Иван Терентьевич не требовал на него ответа. Четыре конфорки, застрявшие в его памяти, случайно сорвались с языка, и он пожалел, что сказал о них, будто поддевая секретаря.

«Налетные молодцы», молодые, ничего еще не хлебнувшие в жизни, кроме перцовки или пива, чего-то накрутили на мозги хуторянам. Потапов силился вспомнить, как говорится, физических лиц, получивших от кого-то право «налета». Из райкома сюда приезжал вдумчивый и серьезный Караман, второй секретарь, он-то и доложил психологическую сторону создавшегося вокруг Облучков положения. Возможно, переусердствовал Дударин, председатель райисполкома, и не он сам, а кого-то подшвырнул сюда из больно ретивых аппаратчиков.

О строительстве зоны отдыха шел разговор с соседним

горкомом, но дальше телефона не пошел. К чему бы приазовскому городу забираться в камыши, имея морское побережье. Правда, желание подкреплялось мотивами внешне убедительными: сюда направлялись бы дети, нуждающиеся в степном климате, в закалке организма полевыми работами. Потапов посоветовал такой вопрос не ставить перед краевыми организациями, некрасиво получится: одних выселяют, других вселяют. Для одних коммуникации дороги, а для других дешевы?

Потапов решил в подобные закулисные дела не посвящать Тарасенко, и так достаточно уязвленного; рассказал, как, отдыхая в Крыму, познакомился с одним передовым колхозом, где долго председательствовал боевой мужчина, с широким замахом, крепкими связями и Золотой Звездой на груди. Он, вглядываясь в будущее, строил для колхозников дома городского типа, заасфальтировал улицы, поставил фонари в виде ландышей, построил вначале интернат, а потом, когда почти вся артель сселилась в одно место, на базе интерната, теперь ненужного, открыл техникум.

— Это же единицы, — выслушав рассказ до конца, возразил Тарасенко. — Если пойдут по его пути все, государство за голову схватится, одного цемента сто Новороссийсков не наготовятся, — подумав, добавил со вздохом: — Так это уже не село и не крестьяне. Городок в степи, как говорится. Оттуда ничего не стоит взять билет на самолет и на какое угодно производство. А земля? Земля душу требует, а не бетонный блок на крюке, она под асфальтом не дышит, умирает. Нельзя землю любить, а самому на асфальт поглядывать, город — одно, село — другое, там есть душа и здесь душа, одна другой не мешает, а смесь делать ту самую, что Тигран в пузырьке набалтывает, не знаю, не знаю...

Потапов наблюдал за старым комбайнером с интересом и неким пристрастием, стараясь уловить главное, первооснову его стойкости и длительной силы, способ его мышления, какими мерками он прикидывает факты жизни. Прежде всего он видел его власть и силу в семье. Жена и дети любили и уважали главу дома, и это было замечено секретарем не раз, после многих наблюдений. Именно Тарасенко надоумил молодежь идти на тракторы и комбайны, он приучил и детей своих к машинам, помог им полюбить землю, не изменить ей.

Как партийному руководителю Потапову приходилось

встречаться со многими людьми, наблюдать за разными семьями. Были семьи неустроенные, разрозненные, нервные. Не всегда политические формулы подкреплялись действительной жизнью. К тому же сам человек становился сложнее, требовательней, беспокойней, встречались люди, бродившие будто на ощупь, в сумерках, натыкаясь на то или другое и ворча на якобы подставляемые им препятствия.

Чтобы не поддаваться ни наветам, ни поверхностным впечатлениям, он старался ориентироваться на первоисточник, не строя, однако, иллюзий в безошибочности такого метода. Смотря на кого нападешь. А то другой так извернется, так попытается облапошить, таких откровений наговорит, что потом зубами не развяжешь ловко запутанный узелок.

Вечерело. В хутор возвращались с работы колхозники. Пешие несли вязанки полевого топлива, бодылки, корневища, те, кто на велосипедах или на мотоциклах, — траву и поздние жердели, набранные во фруктовых ветрозащитниках.

Проезжающие мимо обращали внимание на секретаря райкома, оглядывались, притормаживали, кланялись, и у всех появлялось одно и то же выражение на лицах — недоумения и настороженности.

— Ишь как наши облучковцы реагируют! — удивился Тарасенко. — Сейчас начнут собираться у калиток, потом и сюда двинут... коллективом. Партия же как лекарь, а у них раны...

Объяснив причину повышенного внимания облучковцев к секретарю райкома, старый комбайнер заговорил о своем понятии коммунизма:

— Я, Виктор Павлович, не хочу судачить о коммунизме по выпитым бутылкам молока. Да разве можно приближение коммунизма измерять бутылками молока, тоннами?!.

— Накопление материальных благ... — начал было Потапов, но Тарасенко попросил его не перебивать и с прежней рассудительностью продолжал: — Повалий надоумил поставить памятник первым нашим коммунарам в бригаде, возле старой вербы. И правильно делает. От тех коммунаров пошли сегодняшние комплексы, тракторные парки, урожай по сорок с лишним единиц государственного исчисления и многое другое. — Старый комбайнер даже прослезился. — Я вот семью держу, факти-

чески малограмотный, а держу. Терентьевна моя держит. Чем? Курятиной или лапшой? Примером! Блага благами, а если со всеми благами протухлого человечка дотянем к коммунизму, копейка нам всем, коммунистам, цена.

— А вывод какой? — осторожно спросил Потапов.

— Я уже сказал, примером, доверием! Ничего нельзя утаивать. Врать не надо! Самое сложное разберет человек, пособи ему только немного, не погоняй его, а иди с ним в одной упряжке. Горы сворачивали, горы свернем, Виктор Павлович! Прошу прощения, высказался. Что не так, не взыщите.

— Так. Иногда не мешает мозги освежить...

Солнце шло к закату. Ярче окрашивалась западная половина неба. Розовые тона постепенно густели и ниже, у горизонта, пламенели до черноты в глазах. Завтра опять дождя не жди. Сухая земля не вызывала миражей, и потому не скакали всадники по буграм, те самые, о которых говорил Тарасенко.

С выпаса возвращалось стадо. Мальчишка-подпасок трубил на пионерском горне. Коровы были упитанны и свежи. Их старательно чистили и мыли. Они привыкли к уходу и отплачивали лишь одним — молоком.

Большинство женщин хутора работало на ферме. За каждой из них числилось двадцать шесть коров. Трижды в сутки, начиная с четырех тридцати утра, в полдень и в пять тридцать вечера они готовили аппаратуру, бидоны и приступали к механической дойке. Молоко перекачивалось по стеклянным трубам и в цистернах отправлялось на завод. Учет велся автоматами и потому отличался точностью.

Иван Терентьевич, пустив корову во двор, вернулся к Потапову.

— Моя старая на вечерней дойке, — сказал он, — что-то там не ладится в системе, видать, вручную додаивает.

— Как надои на ферме?

— Особо похвалиться нельзя, Виктор Павлович. Не знаю, как будет объяснять Повалий, а погода подвела. Ровно так сейчас, как перед шестидесятым годом. Памятный он мне...

— Еще бы, пылевая буря была ужасная.

— То само собой. Дочка у нас померла в шестидесятом... — Тарасенко наморщил лоб. — Было ей полтора годика. Как засвистело и грохнули в рельсу, мы броси-

лись на ферму спасать животных. Коровники были старые, из них сейчас только один свой век доживает... Пашенька, так последнюю малютку звали, задохлась. Видно, кричала, кричала и задохлась. Маринку с ней оставили, а что она могла? Двери землей завалило, не выбраться, прибежали, забилась под койку, трясется... А Пашенька задохлась. Признавали у нее еще до того астму, пришла астма к ней, как сказали нам, с пыльцой смертельного сорняка амброзии. Не могу видеть теперь амброзию. Председатель краевого исполкома Мигунов борется с ней, как со злейшим врагом, иной над ним и подшутит, а прав он, амброзия — это смерть, кошмар...

Тарасенко отвернулся, смахнул ребром ладони слезы, будто пот, и больше не говорил о смерти «самой младшенькой».

Хуторяне и в самом деле собирались. Потапов не стал дожидаться, когда они двинутся к нему. Ничего больше того, что сказано было Тарасенко, он сообщить людям не мог, и потому, поручив старому коммунисту передать суть беседы по вопросу сселения, пошел к Повалию по выбитой тропке, по которой ходила семья Тарасенко.

Глава пятая

Повалию были выгодны Облучки. Он-то втихомолку и подогревал «мятежные настроения». По его настоянию в Облучках открыли школу, а когда возникла проблема с газом, только хмыкнул: «Чего из мухи слона раздувать! Канавокопатель есть. Трубы? Что мы, труб не достанем?»

Давненько миновало время, когда выпускник Кубанского сельхозинститута Коля Повалий вернулся в свою артель. Младший агроном с напористой, сильной натурой быстро пошел в гору. Его энергия не истощалась, приобретая более стойкие формы; ветер наполнял паруса, а штурвал он сам крепко держал в руках.

Повалий тяготел к животноводству, не стонал от нехватки кормов, развивал полеводство, многолетние травы, ввел орошаемые поля. Возле бригады, на месте табора первых коммунаров, выстроил молочнотоварную ферму с семью основными корпусами, кормоцехом, бытовым до-

мом, конторой, санпропускником, силосными траншеями и всем прочим. Содержал тысячу породистых коров. Малоудойных откармливал и отвозил на убой.

Молочнотоварную ферму обслуживало семьдесят человек: доярки, трактористы, скотники, кочегары, зоотехники, механики, водители, телятницы; был ветфельдшер и техник-осеменитель.

Повалий как человек прогрессивный понимал, что нельзя добиться крупного увеличения производства мяса обычными способами. Требовался индустриальный подход, и этот подход пока выражался в строительстве так называемых животноводческих комплексов. За этим сухим названием угадывались щедрые перспективы. Чтобы строить, нужно было получить разрешение, и колхоз добился его при помощи Повалия как новатора и депутата. Были открыты банковские кредиты. Такое строительство всемерно поощрял первый заместитель председателя союзного Совмина, ведающий вопросами сельского хозяйства, ранее работавший на Кубани.

Имея таких надежных покровителей, нельзя было ни минуты задумываться, раскачиваться, надо было создавать фабрики мяса. Если, к примеру, для фабрики тканей требовался хлопок или шерсть, то для фабрики мяса подавай корма, и не просто корма, а комбинированные, сообразно науке, корма определенного качества, иначе затея стала бы пустышкой.

Животноводческие комплексы, если они удадутся и привьются, — это как бы перевооружение войск земледельческого фронта и, если сравнить с историей военной силы, как бы переход от гладкоствольной артиллерии к нарезной.

Площадка будущего животноводческого комплекса уже не только была привязана к местности, и грунты отбурены и исследованы, но и сам проектный чертеж нанесен не рейсфедером на ватмане, а на земле стальными зубьями ковшовых экскаваторов.

В тот день на стройплощадке, по-видимому, не работали: «добивали» кукурузу и свеклу. Только метрах в полутораста от котлована шипела и искрилась электросварка. Потапов постоял немного и пошел неторопливо к бригадному стану, к приметному ориентиру, плакучей иве. Сторож, узнав секретаря, закурил и наблюдал за ним, не сходя с места.

— Куда ты уставился? — спросил его парень в спецовке, катививший на тележке баллон для сварщиков.

— Потапов только что тут бул...

— Секретарь, и один? — недоверчиво переспросил парень. — А машина где?

— Пеши...

— А брось, пеши, — парень взялся за тележку, — секретарь — и пеши.

— Попал не вовремя, — крикнул парню вслед сторож, — пустая площадка. То кипит, а тут — пустыня Сахара...

Повалий узнал от Параскевы Терентьевны, а потом и от Маринки о том, что секретарь райкома в Облучках. Он не мешал ему «добывать информацию из первоисточника», не пошел навстречу, хотя и видел его из окна бытовки. Побарабанивая пальцем по стеклу, Повалий вглядывался в приближавшуюся фигуру секретаря и прикидывал, зачем тот жалует сюда. Возможно, решил завершить свой демократический поход точкой, отдышаться, расслабиться и укатить домой. Возможно, решил проверить полускандальное дело — «левую» закупку стальных крепежных тросов на украинском берегу Азовского моря. Если спросит о тросах, Повалий расскажет, для чего «брал за грудки» бухгалтерию и посылал на моторной фелюге толкача в город Жданов, отправив туда не в качестве дара данайцев толстокожие кавуны и пчелиный мед. Когда голоса Потапова и Анатолия Кибрика раздались на крыльце, Повалий, распахнув дверь, пригласил секретаря в бытовку и легонько отстранил плечом механика.

— Заходи, заходи, граф Монте-Кристо, — широко улыбаясь, приветствовал Потапова Повалий. — Работаешь инкогнито, в полумаске? Ну, как первоисточники, Виктор Павлович?

Последние слова Повалий произнес, оставшись наедине с гостем. На столике уже потела абрикосовка в графинчике и под холщовым рушником дышали «пирожки поповалиевски» — плоско раскатанные и испеченные на сурепном масле с картофельной начинкой, обильно сдобренной репчатым луком.

— Привет атаману-разбойнику! — в том же тоне ответил Потапов, не только ценивший Повалия за способность вести земледелие на самом высоком уровне, отвергая всякие ссылки на «погодные условия». Поля этого

волшебника изумляли щедростью. Конечно, загадок в таком просторном деле не бывает. Секрет был один — безупречная организация труда и в то же время исправление тех или иных загибов природы, доступных человеческому разуму и твердой руке.

Потапов не высказывал вслух своих суждений, это было нужно ему самому, и прежде всего для того, чтобы подтянуть к успехам Повалия весь район и не замыкаться от соседей. Масштабы современного социалистического земледелия требуют единомыслия и согласованности, назовем это стыковкой — старым техническим термином — на новом этапе развития сельского хозяйства.

Даже после щедрого угощения Параскевы Терентьевны «пирожки по-повалиевски» оказались не лишними, к приятному удовольствию тароватого хозяина. Графинчик с абрикосовкой был отодвинут в сторонку.

— Оставь его, Николай Иванович, врагам нашим, а мне подголубь минералку. Есть минеральная?

Повалий с глубоким вздохом покачал головой и укорил гостя:

— Если кто другой задал бы такой вопрос, счел бы обидой. А тебя изучил, любишь пошутить над нашим братом. — Он не спеша достал из холодильника темную бутылку нарзана, сковырнул металлический капсюль, налил две трети фужера. — Чтобы не разбрызгало газы наружу. Богатырский напиток, как уверяют черкесы. Твоей, смирновской, нет... В другой раз забазирую ящик в порядке неприкосновенного запаса.

— Верю. Еще молодой, исправишься, — Потапов выпил нарзан. — Как будто ничего соленого не ел, а жажда. Говорят, это признак диабета.

— Виктор Павлович, не ищи болезни! — воскликнул Повалий. — Хватит тебе одной печени.

Потапов, выпив нарзан, улыбнулся:

— После такого напитка из дистрофика вырастает Иван Поддубный.

Повалий кивнул и напрямую спросил:

— Решил проконтролировать нас с черного хода?

— Нет, Николай Иванович, контроль предполагает превосходство контролирующего, его безгрешность. Надо не забывать самих себя проверять, чтобы потом не кусать свои локти.

Повалий вдумался в смысл сказанного, промолчал. За окнами слышался шум работающих на кукурузном

току транспортеров, и, кажется, доносилось даже шуршание сухой кочанной рубашки. Кто-то звонил по телефону, передавая сводку суточного надоя. Возможно, звонила Римма, кажется, ее голос. Потапов ждал вопроса, и он последовал.

— Утвердился относительно Облучков, Виктор Павлович?

— Утвердился. Пока нельзя трогать и нервировать людей.

— Правильно! — Повалий повеселел. — А то думал, не придется ли нам поцапаться.

— С тобой поцапаешься. Вон какой богатырь! Пуленепробиваемый!..

— А иначе нельзя. Кто-то сказал, чтобы быть русским, надо обладать колос-с-альным здоровьем. — Повалий самодовольно хохотнул и, подвинув гостю блюдо, взял оттуда пирожок, свернул как блин, откусил половину. — В картошке должно быть много лука, так моя мать пекла. Вернемся к Облучкам. Спасибо, что ты пришел к такому выводу. Вон там папка с жалобами мне как депутату. И на кого ты думаешь, не на леваков-прожектеров, а на тебя.

Потапов устало улыбнулся.

— Мне говорили... Такие жалобы как вода в решете. Главное, не нажим, не потрафление инстинктам, а собственное убеждение. Побывал там, убедился.

— При чем тут инстинкт, Виктор Павлович? — возразил Повалий. — У нас почему-то ищут инстинкты только у крестьян. Отыскали зоологическую особь. У кого? У людей, раз и навсегда отбросивших частнособственнические загибы, отдающих до тридцати процентов заработка на общественные нужды! Нужно у колхозников выискивать не инстинкты, а подкрепляться от них силой и верой, подкачивать вялые мускулы кое-кому из исследователей остатков мелкобуржуазной стихии...

— Об этом потом потолкуем. Озимки вот у тебя плохие.

— Не хвалюсь. Кинули семена в порох. Ты час не мог без нарзана, а растение сколько воды требует. Если ветры не выдуют и снег привалит, весной возьмутся.

— Еще один вопрос, извини меня, ум-то у нас работает в одном направлении. С кормами вошел в норму, Николай Иванович?

— Есть и резерв, — Повалий даже оглянулся. — Мне

нельзя без запаса. Солома в механизированном хозяйстве не корм, а подстилка. Поставили еще один кормозапарник, делал Краснодарский ремзавод. Заваливаем кукурузу, ячмень, хорошо размельчает. Силосные траншеи близко, не нужно, как говорится, нагибаться, чтобы достать. Сейчас добираем люцерну третьего укоса, скирдуем на козлы с проветриванием и в ямы закладываем. — И, решив, не откладывая в долгий ящик, объясниться по деликатному вопросу о закупке тросов, сказал: — Думаю скирды затросовать.

— Что, что? — прислонив ладонь к уху, переспросил Потапов.

— Закрепить скирды тросами, если непонятно.

— Зачем?

— Как иногда выражаются в Парагвае, на всякова Якова. Зануздываю скирды против урагана. Помнишь, в шестидесятом поднимало их, как пушинки, и уносило. Кубанскую солому и сено, будто водоросли, долго наворачивало на винты кораблей и в том же Жданове.

— В Жданове? — Потапов сообразил, куда гнет Повалий. — Понимаю. Ты хочешь разгрузить «телегу». Что ж, хорошо. Был такой верткий донос на гетмана злодея. Оставим его для изучения потомкам. Скажи, почему ты говоришь об урагане?

— А тебя это не волнует?

— То-то и оно! У меня бродит подсознательно, как бы предчувствие, а вот ты даже тросы. — Потапов взъерошил волосы, машинально налил абрикосовки, хватил, обжегся, долго откашливался. — Будь она трижды рыжа! На аммонале, что ли, настаиваете?

Повалий, лукаво ухмыляясь, подал нарзан:

— Запей, схлынет. Вот так всегда поражает неожиданность. А она есть просчет. Внезапности нет, есть растяпство. Приезжали ко мне ставропольцы, дружки по курсам, не пророчили и не запугивали, а вполне обоснованно доказывали, что этот год побелит нам височки.

— А почему ставропольцы? — окончательно прокашлявшись и придя в себя, ревниво спросил Потапов. — И нас предупреждали. И наш край не дремлет.

— Не будем делить славы, Потапов, и не нам куражиться друг перед другом — ставропольцы, донцы, кубанцы, адыгейцы и еще кто там... Радость общая, беда тоже коллективная. Если образно выразиться, у них кухня тайфунов...

— Ну, ну, а «армавирский коридор»...

Повалий даже присел от неожиданно закипевшего в нем смеха, будто разрывало его, даже слезы брызнули на твердые щеки.

— Приоритет! Верно. Я и запамятовал! Армавир-то кубанский. Армавирский коридор тоже кубанский. Труба жестоких бурь кубанская...

— Ладно, перестань! — остановил его Потапов, тоже посмеявшись. — Продолжай! Кто-то к тебе стучит. Отзовись!

— Слышу! — крикнул Повалий. — Ты, Кибрик? Слышу. Заполняйте наряды без меня... Что? — прислушался к голосу за дверью, ответил: — Девчат нагружай кукурузой, стариков не трогайте, пускай стоят на ремонте... — распорядившись через дверь, повернулся и сказал поднявшемуся секретарю: — По армавирской трубе если понесет, мы в центре... Если не возражаешь, могу предъявить, возможно, и известные тебе сгущенные данные прошлых лет. У меня имеется лично мной выполненная наглядная карта.

— Покажи, Николай Иванович. Поглядим на твое мастерство, вспомним, что подзабыли, учтем, чего не знали... Кстати, вижу твою озабоченность, попутно подключись к своему механику и, хочешь, агроному.

— Будто у тебя зеркало в кармане, Виктор Павлович.

— Я сам такой. Зеркала у меня нет. Иди!

После ухода Повалия Виктор Павлович с любопытством рассматривал на свет густую, янтарного трепета абрикосовку. Повалий, застав секретаря в задумчиво-мечтательной позе, спросил:

— Не хватил ли еще нашего коктейля?

— Нет! Вспоминал.

— Что?

— Золотые тоннели абрикосов, — уклончиво ответил Потапов, наблюдая за тем, как Повалий расстилал на полу ватманский лист, не желавший выпрямляться, пришлось примять его коленями с одной и другой стороны.

Они стояли на коленях перед своим вероломным врагом, перед «картой агроклиматических зон ветровой эрозии», исполненной красочно и весьма искусно руками знаменитого бригадира.

— Ты обладаешь незаурядными способностями, — по-

хвалил его Потапов. — У меня подобные штуки выходили паршиво.

— Я люблю представить все графически, — сказал Повалий. — Тогда впечатляет. Потому использую гуашь и фламастер. Вот, обрати внимание, четыре зоны повторяемости пыльных бурь. Сопло раструба видишь у богоспасаемого града Армавира. Наша зона самая обширная по территории, я взял ее черной гуашью в клетку, начинается вот отсюда, от станицы Отрадной, и захватывает Курганинский, Тбилисский, Кореновский, Выселковский, Тихорецкий и все наши районы Сечевой степи. Повторяемость, цикл выверен, три-четыре раза в восемь лет. По накалу ветров нашу зону можно считать второй, а на первом месте, я тебе скажу, прямо-таки великомученическая зона, падающая на Ново-Кубанский и Кавказский районы. Там буря лютует семь-восемь раз в десятилетие. Остальные зоны помягче, причиной — Кавказский хребет... На нашей ближней памяти, кроме шестидесятого, шестьдесят пятый год. До сих пор сохранились твердые кинжалы заструг. — Повалий поднялся легко, свернул ватман потуже, поскрипывая ладонями, натянул на трубку резинку. — Томит меня дурное предчувствие, Потапов. И не только от перемены давления. Наука не объяснила еще пророческую силу таких предчувствий, а отгадка в психике. Обострена она у нас крайне, потому стоим мы бок о бок со стихиями, не за каменной стеной, не в канцелярском доте...

Потапов остановил его:

— Будто никто, кроме нас, не думает? Одни мы рядом с Перуном.

— Понимаю твои опасения против моих заскоков, — согласился Повалий, — имею я документы. — Он указал на принесенную вместе с картой папку. — Не раскрываю ее, многое из этого досье тебе хорошо известно. Здесь сгруппированы советы, дельные советы. Ученые проводят опыты, изучают, у меня второй год сидит неглупый человек из научного института, следую советам, сам знаешь, и безотвалку даем, пробуем и буферную зябь, и сгущаем интервалы ветрозащиток...

Потапов благосклонно улыбнулся.

— Вот видишь.

— Ничего не вижу, Потапов. Рекомендации шаткие, на улюлю. Мы кулисы, а сосед только усик пощипывает: давай, давай. Кто захочет по доброму согласию оставить

стерню, захламить поле? Я вон делаю, а Кучеренко поседлает своего гнедого и пританцовывает по моим кулисам...

За открытыми окнами жила и трудилась ферма: пылили грузовики, возвращалось запоздавшее на дальних выпасах стадо. Прошлепали некованными копытами лошади пастухов. Родилась и тут же замолкла песня. Кто-то цыкнул на девчат. Повалий зло скривил губы, хмыкнул: «Чубов! Дурак левого вращения! Надо менять. То песни заводи, то остановить...»

— Чтобы по госдисциплине бороться с ураганом, Потапов, надо вот так! — Повалий до хруста сжал кулак. — Одни робко рекомендуют, ни два, ни полтора, другие трутся-мнутся, третьи... мы третьи... Я наведу порядок на вверенной мне площади. Только надо учесть: стихия организованная, а у нас нередко стихийная организация...

Потапов испытующе посмотрел в лицо собеседника.

— Твой бы напор соединить с государственным решением...

— Решения! — буркнул Повалий. — Нередко их принимают и о них же забывают. А потом гоняют за зерно. Правильно, план. А решение против антигосударственных ветров отпихивают. Разве трудно понять: не будет защиты, победит противник.

— А как Харченко? — Потапов прощупывал отношение Повалия к новому председателю артели, бывшему второму секретарю райкома.

— Харченко? — Повалий помялся. — Больно уж задисциплинирован.

— Плохо?

— Как сказать?.. Только нельзя всегда брать под козырек.

— То есть? — допытывался секретарь.

— Чего пристал? Я не понимаю очень податливых.

— Мы рекомендовали вам ровного, разумного руководителя, с выдержкой. Он трудится без вывертов. Ты его еще не совсем освоил, а потому не роняй его. К тебе прислушиваются. Ты скажешь — и забудешь, а мнение твое бежит по бикфордову шнуру, как огонек, проглядишь — взрыв! Ты заложил полосы, увеличил травы, ветрозащитки формируешь и по ажурной, и по продуваемой конструкции. Кто тебе мешает? Харченко тебе мешает?

Повалий поддакивал, когда Потапов говорил о его де-

лах. Решение решением, но он, помня о черной буре, старался подготовиться к ней. Опыт подсказывал необходимость закладки лесных полос на расстоянии не свыше пятисот метров, тогда они имеют силу, надежность, как блиндаж, имея не два, а пять, шесть слоев по кровле. Строительство новых полос отнимало землю, и, естественно, на Повалия ворчал тот же Харченко: пашня-то уменьшается.

Потапов настойчиво повторил вопрос, и Повалий даже вспылил:

— Чего ты заладил: Харченко! Харченко!.. Нам власть не делить. Одно кресло надвое не распиливать, Потапов. Я не о себе печалюсь. Понимай меня шире. Избрали меня депутатом, я тутошний, как говорится, с меня сразу спросят... — он выговаривал слова с неприсущей ему нервностью, и Потапов теперь верил больше его запальчивости, чем спокойствию.

— Я обязан болеть не только за свой куток, — продолжал Повалий. — У меня избирательный округ, а в него входит и Кучеренко, и «Азарт», и плавни с дикой птицей и нутрией, и массивы хлебов, десятки тысяч животных, город входит со всеми его жилневзгодами, суды, милиция, в моем округе психолечебница на всякий случай, если шарики мои один за другой зайдут.

Повалий умолк, осушил фужер нарзана и, долго прокашливаясь, присел на диванчик.

— Давай болеть вместе, — предложил Потапов, — у коммунистов нет иного оружия в борьбе с врагом, кроме организации. Соберем бюро и...

Не дав ему закончить, Повалий скривился как от зубной боли и упавшим голосом сказал:

— Только не бюро. Ураган не персональное дело, это стихия. Его не накажешь.

— Что рекомендуешь?

— Надо созвать деловое совещание. Чтобы за всякое пустое слово по макушке. Посовещаться плотно, глядя в глаза не только друг дружке, а всей обстановке. Дождей нет, озимки выползают бледные. Если ветром придавит...

— Надо найти модус, Николай Иванович.

— Иди ты к богу в рай со своим модусом! — воскликнул Повалий. — Сам говорил, жмет тебя Харламов за туберкулезные результаты по защите почвы... Хотя решения выносят и забывают, все же есть постановление от

шестьдесят седьмого года, трезвое, требовательное. Чего морщишь лоб, Потапов? Цека и Совмин вынесли! Кто сомневается, что ты его помнишь, вот и повестка. Как выполняется постановление. Согласен с такой повесткой?

Потапов молча кивнул, вспоминая постановление, которое предупреждало против самоуспокоения и заставляло думать при теплом солнышке и майском дожде о возможности октябрьских или январских буранов. Он согласился с предложением Николая Ивановича, прикинув в уме, когда и кого позвать, и, отмякнув душой, слушал рассказ Повалия, как он в шестьдесят пятом году наблюдал в некой миниатюре рождение «пылевого тайфуна» в Ставрополье.

— ...Ездил я к дружкам, и ради удовольствия, и поглядеть на их отладку зеленого конвейера, поучиться, на ус накрутить. А видел черную бурю. Не улыбайся одной щекой, секретарь. Есть вещи, от которых немеет позвоночник и глаза становятся круглыми. Задумали свозить меня на прощание на Сенгилеевское озеро. Есть у них такое чудо на Ставропольском плато. Синоптики с утра твердили дурные прогнозы и по радио, и в газете. Ветер уже начинался, как бы разведывательный, с зудом, схватывая пыль на дорогах, выматывал кюветы. Все же поехали, там, мол, котловина, затишек, отпикни-



куем — и айда домой. Все укладывалось по плану. Как доктор прописал. Отобедали, свернулись на отъезд. Осенью дело. Солнце шло к закату. И вдруг ветер усилился. Не знаю, сумею ли передать, что не сумею, довоссоздай воображением. Ветер плотный, тягучий, предвещает беду всерьез и надолго. Вначале выметает весь растительный мусор из сухого травостоя, перья, старые птичьи гнезда и подбирается к культурной земле. Прижимает озимки, подмывает и оголяет корешки. Как вырывает потом зелень, знаешь. Но вначале, Виктор Павлович, скажу тебе, словно живой зверь лютует над пашней, размельчает верхний покров, превращает в пыль и потом свивает ее в жгуты, и эти жгуты, похожие на змей, несутся к курганам, к воротам между двумя холмами. Вырываются, бросаются в атаку дальше, образуют тучи пыли, закрывают солнце... Глаза будто слепые. В глотке сухо. Сидишь в машине и ловишь остатки воздуха, как сазан на песке: того и жди какой-нибудь клапан лопнет — и лобец! В ту ночь крутил я колеса от Сенгилея на Невинку, на Армавир и дальше. Транспорт стал на обочинах, пережидал. А я мчался как дьявол. Глаза опухли, приехал, кровь из век... И застал я у нас такое месиво! Помнишь? Энтузиазма до синей печени, и толку, как с шила дыма. И тогда я клятву дал, выкинуть из себя на свалку того самого расейского мужика авоськина и небоськина. Поздно креститься, когда гром грянет.

Повалий зашагал по комнате, поскрипывая сапогами. Вельветовую куртку распирало мускулистое тело, он дернул и расстегнул «молнию».

— В те бури мы, как команда насквозь пробитого судна, боролись за живучесть, как-нибудь, не до жиру — быть бы живу. Продукцию не давали.

— Как же ее давать?

— В войну заводы бомбили, а они продукцию давали.

— Там под крышей и под сенью зениток, Повалий.

— И у нас под крышей, — возразил Повалий.

— Наши крыши трещали, ломались, сносило их...

— Надо крепить крыши, Виктор Павлович.

— Чем?

— Тем же, чем мы скирды крепим, тросами.

— Заранее вносить в проект?

— Зачем? Предусмотреть аварийные меры. Готовят же пожарники багры, лопаты, песок... На кораблях держат

обычные швартовы, а есть и аварийные, потолще и покрепче, норд-ост держат.

— Какие ты имеешь в виду тросы?

— Тонкие, буксирные, — Повалий открыл шкаф, достал образец, — вот такие. Надо дать рекомендации, один вдоль, раза два поперек.

— Дадим рекомендации, потребуют тросы. Где достать? По твоему следу в Жданове, что ли?

— И там, и в других местах. Куда ни кинь по карте, города, да еще какие! Едут к нам за фруктами, за кавунами. Кто едет? Металлические области. Им только намекни... Я достал в Жданове. Механика отправлял на мотофелюге, Кибрика. Разве только тросы привез парень! — Повалий лукаво подморгнул левым глазом, потер руки: — Помидоров им подкинул сахарных, и дынь-зимовок, почти чарджуйские, аромат с ног валит...

— Выхваляешься левыми делами?..

— Виктор Павлович, при чем здесь «левые дела»? Наша продукция сгнивает, завалили все хранилища, кричат «караул» и кооперация, и все прочие заготовщики, а тут, через море, чап-чап, и рабочий класс снабжен, и нам легче. Да я самому Байбакову на ближайшей сессии скажу...

— Иди ты к богу в рай, — остановил его Потапов, — я не слышал, ты не говорил. Кстати, об Анатолии Кибрике: просят соседи его отпустить.

— Я его не держу, вы же знаете.

— Держишь.

— Вода и то, захочет утечь, плотину прорвет. У него причина: мать не хочет чужого ребенка. Придет Анатолий, тут же расчет, — с обидой сказал Повалий, — а чего Кучеренко, а особенно Будник, жалобы строчат, телефоны рвут... Бумага и проволока и то не все терпят... — он отмахнулся. — Поехали до дому, прокачу на своей на кремовой.

— Поедем. Раз уж заговорили о Кибрике, а у него жинка из Облучков, хочу спросить, знаешь ты Тарасенко?

— Серьезно спрашиваешь?

— Николай Иванович!..

Повалий пожал плечами и, по-прежнему с недоверием поглядывая на секретаря, сказал обиженно:

— Если я такие кадры, как семью Тарасенко, не буду знать, гнать меня надо в три шеи, Виктор Павлович.

На таких держимся. Не на четырех китах, а на Тарасенковых.

— А Пашеньку, дочку, знаешь?

— Маринку, хочешь сказать?

— Пашеньку...

Повалий скривил губы, признался, что не слыхал о Пашеньке.

— Мог и не слыхать, ты же учитываешь кадры, — и рассказал о Пашеньке. — И я не знал, хотя бурю того года вместе пережили. А она не пережила. По сводкам мы никого не потеряли...

Луна успела взойти над притихшей степью и облить голубоватым светом щетинистые, словно калганы кабанов-камышатников, ветрозащитные полосы. Робко перемигивались огоньки Облучков. Потапов почувствовал, как простучали под баллонами «кремовой» бревна мостика, и услышал ритмичные слоги имени: «Па-шень-ка, Па-шень-ка».

...Облучки остались далеко позади, за клубчатым шлейфом пыли. Маринка! Голубой купальник. Ее прихваченное бегом и волнением дыхание и первые слова, сказанные ему. Подумать только, есть люди младше его на двадцать лет! Не вчера ли он сам был мальчишкой? Не вчера ли ломким голосом спрашивал взрослых о том, о другом, стараясь познать окружающий мир?

Двадцать лет дистанции от Маринки, от его юности! Учеба, работа. Позади, как мелькание столбов под световыми ударами фар, двухсложные слова, словно рокот чугунных колес быстро бегущего товарняка: хлеб-мясо, мясо-хлеб, хлеб-мясо!

Глава шестая

В кабинет председателя Харченко робко постучался приехавший из Баклановской агроном Безмерный. Ему не терпелось поскорее познакомиться с Повалием, но знакомство это провести, как говорится, по инстанции.

— Я, Григорий Васильевич, — выражая полное почтение голове артели, робко заговорил Безмерный, — хочу посетить Николая Ивановича.

— Николай Иванович сам совершеннолетний, — хмуро

заметил Харченко. — Скажу одно: мешают человеку заниматься делом. Впрочем, сам разберется.

Прием был закончен быстро, и Безмерный вышел несколько огорошенный неприветливостью председателя. Усевшись в «Москвичок», он задумался: ехать к Повалию или вернуться обратно в Баклановскую? Оценивая обстоятельства, молодой агроном сделал вывод, что председатель холоден к своему бригадиру, возможно, завидует, а раз так, можно найти пути к сердцу знаменитости. Безмерный рассуждал с позиций своего характера, своей мерой примеривался, не зная еще, что попал в среду людей бесхитростных и прямолинейных.

Повалий принял Безмерного хорошо и, хотя ничем не угостил, обласкал словами, о себе скромно умалчивал, ничем на первых порах не поучал, только улыбался, похлопывая соседа по плечу: «Брось ты прибедняться. Сам учился, других учил, у такого преда под крылом, как Кучеренко, можно жить в добре и затишке». В конце концов пообещал приехать, поглядеть, как ведут хозяйство в бригаде известного и уважаемого им покойного бригадира.

— У Самойленко кипело и нередко перехлестывало, — как бы припоминал Повалий. — Человек он был военный, как и многие у Кучеренко, дисциплину строили на ать-два и на первый-второй рассчитайся. Наше дело бригадирское кропотливое, въедливое и своеручное. Мы не генералы и не маршалы, а бригадиры. Ну, скажем по-военному, если численно взять, всего-навсего два взвода... На войне землю видишь бегом в отступлении, шагом в наступлении, когда на молочай поглядеть или на лакричник, а в мирном быту эту самую землицу, которую изучали как рельеф, надо сто, тысячу раз туда-обратно пройти... И только глядишь вниз и вверх, на землю и небо. От них зависит приложение трудов, товарищ Безмерный. Вы краснодарский или откуда? А, из Кущевки. Значит, землю знаете.

Безмерному больше ничего и не было нужно. Послушать, поддакнуть, войти в доверие, прицениться и себя прикинуть. Распрощаться пришлось по инициативе хозяина, сам посмотрел на часы, извинился, куда-то спешил.

— Заедете, Николай Иванович?

— Заеду! Только ждать не надо, пышки подгорят!

В эту поездку Безмерный завел еще одно знакомство.

Расставшись с Повалием, он откинул крышку капота и решил заняться мотором. Сняв парадный пиджак и закатав рукава белой рубахи, Безмерный подложил под грудь коврик, чтобы не измазаться, взялся за дело. Солнце пригревало спину, в воздухе держалась мельчайшая едкая пыль, поднимаемая грузовиками с люцерной и кукурузой.

Провозившись с четверть часа, Безмерный почувствовал отвращение и к барахлившему мотору, и к самому себе. Плюнув с досады, он решил ехать, авось в пути не заглохнет. В это время в контору шел высокий, приятного вида блондин, в синей спецовке и легких сандалетах на босу ногу. Это был Анатолий Кибрик.

— Что у вас такое? — спросил он, поклонившись.

— Черт его знает что, тыкаешь, тыкаешь, то заведется, то хоть кувалдой по нем...

— Давайте я посмотрю, — предложил Кибрик.

Анатолий наклонился, попросил отвертку, потом молоток, повозился, пристукнул молотком раз-другой и, откинув ребром ладони упавшие на лоб волосы, попросил:

— Включите зажигание.

— Напрямую, что ли, будем?

— Ключиком, ключиком...

Мотор сразу завелся, поработал на малых, потом на средних оборотах. У Безмерного сгладилась бороздка на переносице, взгляд потеплел, и он смущенно спросил:

— Где в нем чего искать, подскажите?

— Что-то со щетками. А вообще, посмотрите генератор, — Анатолий вытер руки паклей. — Вы были у Николая Ивановича?

— Да. Я ваш сосед, агроном третьей бригады «Четвертого корпуса». Моя фамилия — Безмерный.

— Просторная фамилия. Моя — Кибрик.

— Анатолий Кибрик?

— Да, Анатолий. Нечто одиозное, что ли?

— Что вы, Анатолий! — удивился Безмерный, будто встретил старого приятеля. — Я с вами заочно познакомился в первый же день приезда в Баклановку. В Лебедянке...

— В Лебедянке?

— Представьте себе, заочно, с отличными рекомендациями, — продолжал радушно Безмерный, — вы же механик! Теперь понимаю, — он похлопал ладошкой по капоту. — Будник спит и во сне вас видит... Отца вашего

видел, маму, уху ел из вашего чугунка... Вас ждут там, ждут...

Анатолий поморщился, уши его покраснели, на лице выразилось нетерпение. Он ни о чем не расспрашивал, хотя Безмерный продолжал что-то говорить тем же слащаво-дружеским тоном. В это время на крыльцо выскочила Римма, прокричала Анатолию, а затем, увидев его возле машины, подбежала к нему, сразу повеселевшая, увидев незнакомого молодого человека.

— Николай Иванович просит, Толя, — сказала она и обратилась к Безмерному: — Вы извините.

Михаил Кузьмич раскланялся с шутливой галантностью. Его глаза говорили больше, чем поклоны. Анатолий пожелал ему счастливой дороги и, взяв Римму за руку, направился к конторе. Это получилось не совсем тактично и грубовато.

— Ты чего, Толя? — Римма освободила руку. — Кто это был?

— Сосед, сосед, — дважды повторил Анатолий, — приезжал набираться мудрости. Из Баклановки, от Кучеренко...

Повалий вызвал механика по срочной надобности — ознакомиться со специальной посадочной машиной, предлагаемой колхозу «Сельхозтехникой». Хотя посадками обязан заниматься лесхоз, Харченко покупал технику.

— Харченко звонил, просил поспешить, чтобы не перехватили, — сказал Повалий. — Знаешь такую машину? В лесхозе ты бывал.

— Знаю...

Анатолий сообщил бригадиру возможности машины, приспособленной для посадки лесных полос, а сам думал о чугунке, из которого хлебал уху молодой, небрежный на слова агроном. Мать представлялась ему, ее спина, походка, руки, тяжелые, изъеденные солью, со следами шрамов от рыбьих костей, милая, простая, неуклюжая, родная до спазм в горле маманя.

— Ты говоришь, сразу тянет пятирядковую лесополосу? — допытывался бригадир, приглядываясь к побледневшему механику. — Да ты что, болен? Может, Аулова пошлем?

— Нет, Николай Иванович. Я сам съезжу... Куда? На склад? Хорошо. Нет, нет, машины не надо. Я на своем, на мотоцикле...



— Завтра срочное совещание в райкоме, — подходя к распахнутой двери, услышал предупреждение бригадира Кибрик. — За меня останешься, Анатолий! Ясно?

...Вечером Римма пыталась разобраться в настроении мужа. И он, будучи с ней всегда откровенным, на этот раз о многом умолчал, не стал выдавать ей те чувства, которые она могла не понять по своему милому легкомыслию. Анатолию было известно о звонках оттуда, о вызове на работу в «Азарт», хранил он каракули от родителей, беспощадные письма, хотя ни в одном из них не было ни слова упрека, не ставилось никаких условий, а просто сквозила тоска одиночества.

Мать с удивительным упрямством прямодушной женщины не хотела невестки с ребенком. Она не отказывала в приеме, не бранилась, не судачила на перекрестках, но вела и вела свою линию. Когда Анатолий пытался ее переубедить, она ничего не ответила, будто онемела, посидела рядом и вышла из домика с опущенными плечами.

Можно было понять ее, постичь ее мысли, отыскать обходные пути. Анатолий не мог раздваиваться, играть фальшивую роль, и потому пришлось выбрать Облучки, которые Римма покинула сразу же после окончания десятилетки. На одной из танцулек в Доме культуры ее подхватил приехавший к другу догулять отпуск морячок танкерного флота, перебазированного из Одессы в Новороссийск. Имя у него было если не совсем серьезное, то странное — Баррикадо. Друзья называли его Борей. Баррикадо буквально вырвал девчонку из рук растерявшихся под его напором родителей и увез в Новороссийск. Там расписался с ней в загсе, устроил шикарный свадебный ужин в самом фешенебельном пригородном ресторане. На свадьбе был и Анатолий.

Когда Борю смыло за борт в Индийском океане, Римма изменилась: стала мягче, душевней, наносное, дурное, неестественное, привитое Баррикадо, у нее быстро прошло. Анатолию и раньше нравилась Римма, теперь же он ее полюбил. Она ответила тем же. Для «кумушек» вдова слишком быстро утешилась и попала на их острые язычки. Надо было менять обстановку самым крутым образом, и они решили уехать, не задумываясь над будущим, над материальными выгодами, поступили вопреки всяким трезвым расчетам. Римма бежала от прошлого без сожаления, она любила Анатолия и боялась его потерять.

И Анатолий не мог представить себе дальнейшую жизнь без нее. В нынешние времена легких связей его любовь кому-то из прожигателей казалась старомодной. Анатолий не был человеком не от мира сего, как могло показаться. Это был серьезный молодой человек, не достигший тридцатилетнего возраста, имевший диплом института, воспитанный в простой среде рыбаков, умевший заставить себя и других хорошо исполнять свое дело. Его натура не терпела легкомысленных поступков. Любовь же давалась ему не легко. Здесь он хотя не от-

чаивался, но иногда терялся. Тем более его подталкивали: родители или молодая вдова с «довеском».

Они жили в летней кухоньке, прилепленной к такому же саманному сараю. Дверь прямо во двор, большая плита с вмазанным котлом для запарки кормов, кровать с металлическими шишаками и твердым матрацем, столик, прижатый к устью плиты, транзистор, папка с бумагами, вазочка с панычами.

В этой семье не было раздоров, все шло гладко, никто не унывал, не требовал большего, все были довольны. Благодаря ненавязчивым стараниям мудрой и доброй матери держалась большая семья дружбой и взаимным уважением. Мамочку все любили, ценили ее труд, помогали ей стряпать, стирать и прибираться, охотно, без ее понуканий и жалоб.

Анатолию не на что было обижаться, хотя он еще не расписался с Риммой, что вызвано общим тактом: не прошло еще года со дня гибели Баррикадо.

Римма, так и не вызвав Анатолия на откровенный разговор, уснула, подложив под щеку ладони. Кроме луны, другого света в летнюю кухню не проникало, и потому все таилось в полутонах, несколько загадочно и необычно. В окошко вливались запахи, ставшие привычными: тины, порыжевших корневищ старых камышей, они пахли особо, ряской и лягушками. Очень далеко угадывалось движение грузовиков, спешивших вывезти свеклу. У подоконника цвел золотой шар с его длинными стеблями и полным отсутствием запаха.

Ночами становилось прохладно, и они укрывались ватным одеялом, голубым, мелко стеганным, привезенным Баррикадо из «загранки». Римма спала всегда голой, привыкла. И ее нагота не оскорбляла, она как бы была одеждой ее тела.

Анатолий сидел на табурете, в тесном пространстве между столиком, прижатым к плите кроватью, сидел, погасив лампу под самодельным абажуром, позволявшим ему завершать дневные дела. Римма дышала тихо, почти неслышно. И это нравилось ему. Волосы у нее темнее Маринкиных, вернее, янтарного цвета, не испорченные ни краской, ни завивками. Улыбка тронула губы Анатолия. Мысли в его голове начинали путаться, только сейчас он почувствовал усталость и мускулов и мозга. Осторожно, чтобы не разбудить Римму, он забрался в кровать и лег у стены, завешенной ковром.

Глава седьмая

Председатель артели имени Ленина Григорий Васильевич Харченко готовился к совещанию. Ему помогал Повалий, в большей мере, чем он, изучивший способы борьбы с ветровой и водяной эрозией почвы. Не случайно же Харченко без всяких сомнений отозвался на предложение купить посадочную машину, так как согласно рекомендациям ученых нужно было вдвое увеличить линейное протяжение ветрозащитных полос. Плантажные плуги были приобретены раньше. В лесхозе заказано шестьдесят тысяч саженцев белой акации. Не так давно Харченко скептически относился к увеличению лесных полос, «через пяток лет дергать будем», теперь же постепенно склонялся на сторону Повалия.

Естественно, ему жаль было отдавать прекрасный карбонатный чернозем под лес, ведь спрашивают поставки, а на луне ячмень не посеешь. Повалий был за поднятие урожайности и преуспевал. Казалось, его поле выворачивается наизнанку, чтобы угодить ему. Еще бы, довести съем зерна с гектара почти до шестидесяти центнеров! Два года урожайность топталась на месте. А потом подоспел великий чародей Павел Пантелеймонович Лукьяненко со своей «Авророй», и прежде незаменимая «безостая» со стойким стеблем и тучным колосом уступила первенство более молодому и сильному сорту.

Правда, нелегко давались дополнительные чувалы Повалию, как и всякому, позволившему себе вести единоборство с природой, подчинять ее своей власти, не просить, а заставлять ее. Ерунду придумывали, пытаясь отыскать расшатанные упоры между Харченко и Повалием, исполнявшими одно и то же дело. Не мог Харченко подставлять ножку человеку, идущему во главе колонны, забивать кляп в горло голосистому запевале. Были неизбежные стычки, сталкивались характеры, оба кремнистые, неуступчивые и самолюбивые. Но если нет серы, не загорится и спичка.

Харченко никогда не надевал черкески, не опоясывался ремешком, не шил себе джигитских сапог. Для прежнего казачества он был бы «городовиком», то есть мертвым суком, для колхозного крестьянства новой Кубани — живым, крепким деревом.

Пиджачная пара, ботинки, темная шляпа и такая же

немаркая рубаха — его обычный рабочий костюм. Для парада — тонкого черного сукна костюм, снеговой белизны сорочка, и тогда он нисколько не отличался на собраниях или слетах от трактористов и комбайнеров.

Приглашенный на совещание персональным звонком первого секретаря, Харченко встал раньше обычного, разобрал бумажки до прихода служащих, оставил письменное задание по неотложным делам и по пути к центральной площади проверил, как исправляют недоделки в доме специалистов, купил «Огонек» в киоске и точно в назначенное время вошел в приемную Потапова.

— Там? — спросил он женщину в свитере, с поседевшими волосами, гладко зачесанными от высокого лба со следами пудры, притаившейся в морщинках.

— Заходите, Григорий Васильевич.

— Как у вас дома? — спросил Харченко, подавая женщине руку.

— Все по-прежнему, Григорий Васильевич...

Харченко знал, муж ее уже третий месяц лежит после инфаркта, и потому так печальна и суховата эта хорошая женщина, давняя сотрудница райкома.

Толкнув обитую дерматином дверь, он очутился в кабинете, где успели собраться не менее сорока человек районного актива. Люди приглушенно разговаривали меж собой, отчего в помещении держался гул, похожий на пчелиный в момент формирования к вылету роя.

— Заходи, Григорий Васильевич, — пригласил Потапов, поставив в списке против фамилии председателя синюю галочку.

Харченко далеко не пошел, устроился у окон, где стоял ряд удобных стульев. Справа от него сурово посапывал Шакунов, пожалуй, один из последних могикан пятидесятых годов. Слева устроился районный агроном, сидевший с незажженной сигареткой и туманными очами уставившийся в категорический лозунг «Здесь не курят!».

— Надо научить его курить, — выдавил райагроном в адрес Потапова, — это же диктатура пытки.

Справа от первого, за тем же столом сидел второй секретарь Караман, жгучий брюнет. Он что-то бегло писал, изредка откидывая курчавую голову и прикрывая восточные глаза веками с длинными девичьими ресницами.

Приехал председатель райисполкома Дударин, говорливый и экспансивный, сразу же взявшийся за квасок, то-

варищи из «Сельхозтехники» и кооперации, секретарь райкома комсомола в серой курточке с черными узкими бортами и орденом «Знак Почета», главный врач больницы, высокий, апостольского вида молодой хирург, редактор районной газеты, фронтовик, общительный и остро-любознательный человек. Зашел начальник райотделения МВД, а рядом с ним мужчина борцовского сложения, с черной папкой морфлота и пакетом в руках, который он вскрыл, подрезав нитки прошивки ножичком.

Главный виновник, как выяснилось позже, Повалий, появился в дверях под укоризненным взглядом Потапова, любившего точность. После того как Николай Иванович устроился и, отдуваясь, вытер лицо платочком, Потапов сказал:

— В церкви яблоку негде было упасть, пришел городничий, и место нашлось.

Повалий только отмахнулся, перебросил через стул какую-то записку для Харченко, и тот, прочитав ее, развел руками.

— Товарищи, нам предложено привести хозяйства в мобилизационное состояние. Агрометеорологические условия вызывают тревогу, — заговорил Потапов. — Дождей нет, влажность воздуха понижается, верхний слой почвы пересыхает. Мы все же не учли уроков и имеем большие массивы распаханной почвы, черные пары. В декабре синоптическая ситуация складывается в сторону высоких градиентов атмосферного давления. А это рождает ветер, а ветер перерастает в бурю, а буря превращается в черную, вот по тем самым причинам, которые выявлены выше... Прежде чем дать слово специалистам, прошу Николая Ивановича высказать свои практические соображения...

— Виктор Павлович, вы меня не предупредили о выступлении, — Повалий обратился к присутствующим. — Я имею в виду не шпаргалку... Я бы тогда захватил документы, расчеты...

— Расскажите попроще, Николай Иванович. Ваша задача разбудить эмоции, поднять чувство ответственности, а не диктовать инструкции... — Потапов выдержал тон несколько даже иронический, как бы подчеркивая полную независимость каждого участвовать в беседе по своему усмотрению. Затем верх взяла все же директивность, и он закончил более весомо и без иронии: — Потом каждый поделится, какие меры ими приняты, как агротехниче-

ские, так и организационные. Я вижу, вы зашевелились, товарищи, хороший признак. Начинай, товарищ Повалий!

— Начинать так начинать. Если на то пошло, начну с нашего Григория Васильевича... Мы с ним иногда препираемся. — Повалий помялся, увидел, как Харченко нахмурился и принялся разглаживать на столе полученную от него записку. — У нас в большом масштабе кулисы не вытанцовываются. Почему?

— Потому что не балерины... — резко бросил Харченко.

— Кулисы, верно, не балерины и не зрители. Они заставляют бурю плясать возле них. У нас принято разделывать поля как картинки. Туристы удивляются, ахают, вот это да! И не знают они, что мы истерзали свои земли тракторами, культиваторами, лущильщиками, боронами, катками... Стерню даже выжигали. Если она не горит, окунают тряпье в солярку, растаскивают огонь... У нас такого не было, Григорий Васильевич, не хмурься.

— Тогда зачем всех валить в одну кучу?

— Ветрозащитные полосы плохо прореживаются, — продолжал Повалий, — конечно, там холодка больше, а в сильный зной можно и всхрапнуть никем не замеченным да и коврик бросить под закуску и выпивку, но это не служит основанием для теоретических выводов: чем гуще, тем лучше. Давайте вспомним черные ураганы шестидесятого и шестьдесят пятого годов. В сражении с ними участвовали если не все здесь присутствующие, то каждый второй обязательно. Помните, как быстро кончалась ветроударность полос, как погребала их пыль по самые маковки... Целые древние царства заносили пески. А если мы будем слабы, ненадолго хватит Кубани... — Повалий постепенно загорался, его воодушевление и азарт заражали других, лица изменились, исчезла скука, никто уже не рисовал на бумажках елочки и чертиков. Вспомнив погребенные древние цивилизации, Повалий обнаружил талант убеждения, к тому же значение предмета, озабоченность и не страх, а боевитость заставляли чувственно воспринимать его слова.

Однако после выступления послышался густой, безнадежный голос Шакунова, председателя колхоза имени Жлобы:

— Человек не может победить ураган.

— Почему? — спросил Дударин, встрепенувшись.

— Стихия, — коротко бросил Шакунов и выдул два стакана холодного кваса. — Не может живой организм драться с мертвой бурей и выдавать продукцию. Это фантазии...

Выступление Шакунова было неожиданным и оправдывало опасения осторожного Дударина, предупреждавшего против неподготовленных совещаний. Теперь он внутренне радовался, хотя для Потапова изобразил на круглом, щекастом лице огорчение.

Шакунов чем-то напоминал своего прославленного шефа. Такой же орлиный нос, залысины, идущие ото лба вверх по стриженой седой голове и свислые, широкие плечи. Он уже достиг пенсионного возраста, но уходить не собирался. С такими глыбами следовало обращаться осторожно и не пытаться не только убрать, но даже перевернуть на тот или иной бочок.

— В бурю скорость ветра достигает тридцати пяти метров в секунду. При такой скорости, — разъяснял Шакунов, — поезд катится под откос, машина переворачивается. Конь галопом, всего двенадцать — и то, — провел пальцем по голове, прощупывая заметные шрамы, — и то однажды под Москвой на полном скаку в атаке у одного коня печенка лопнула... Дело было так...

Его остановил Дударин репликой. Шакунов побагровел.

— Пусть, пусть расскажет! — с явной издевкой предложил молодой, из свежеиспеченных бригадиров. Его осадили глухим, неодобрительным шумом.

— Я рассказывал шашкой, потом автоматом, потом дизельным трактором, ни разу не выходил на эстраду, — отрезал Шакунов, — Потапов меня понял и пусть объяснит, как зануздать бурю.

Потапов многое прощал этому бесхитростному и прямому человеку, уважал его за стойкость. Унижать таких нельзя, не унизив себя. Сбивать спесь? Прежде всего отыщи эту самую спесь, вполне вероятно, она называется иначе и украшает, а не опорочивает характер. Раздумья, а с ними затянувшаяся пауза кое-кем были поняты как подготовка к ответу в таком же язвительном духе. Потапов поступил по-другому.

— Шакунов прав, — сказал он. — Человек не может управлять ветром, как лошадью, автомобилем или самолетом. То есть пока не способен зануздать ветер, как выразился товарищ Шакунов. Когда-то никто не мыслил ополчаться против града. Даже фантасты не рисковали,

чтобы не показаться беспочвенными юмористами. Теперь мы на нашей «ридной» Кубани расстреливаем из орудий градовые тучи из тех самых орудий, которыми сбивали немецкие самолеты...

— Верно, расстреливаем! — оживился Шакунов. — Только, говорят, снарядов скупо отпускают.

Реплика вызвала оживление, люди встряхнулись.

— Кому что, а жлобинцам подавай снаряды, — подкинул кто-то из колхозных вожаков.

— Чего, чего, а боеприпасов хватит.

— Особо старичков снарядов, музейных, градобойных.

Заминка послужила сигналами к опорожнению графинов. В потных кулаках загуляли граненые стаканы с квасом. Пришлось пополнить запасы.

— Соленое ели? — спросил Потапов.

— Кто соленое, кто кислое.

— Хлопцы, я вижу вы недобочаете сложившейся ситуации, — пробасил Шакунов, опорожняя стакан кваса. — Гром еще не грянул...

— За громом дождь, дай нам гром, Шакунов.

Короткая передышка и квас помогли сосредоточиться.

Потапов имел привычку щегольнуть знаниями. Разных книг выпускалось много. Писали все, кому не лень. Выловить полезное из столь бурного потока Потапову помогала жена, образованная и начитанная женщина, работавшая в библиотеке. Важные новинки не упускались. Немало было написано брошюр, трактатов, исследований... Не покажется ли он смешным среди этих людей дела, если немного отвлечет их от выслушивания указаний и поделится своими мыслями, подтолкнет их освежить в памяти пережитое, убедить не себя — других в психологической подготовке. Как поведут себя люди, когда обрушится ветер, сумевший похоронить оазисы, города...

Потапов передохнул, набрал в легкие воздуха и, словно почувствовав его нехватку, распахнул ближнее к себе окно.

В кабинет долетели шумы недалекой площади, движения толпы и машин.

— Эрозия бессильна против почв, прикрытых растениями, — подчеркнул Потапов, — уклочившимися озимыми, многолетними травами, стоячей стерней, полосными посевами, расположенными поперек эрозионно-опасных ветров... К сожалению, мы не имеем абсолютно точных и

проверенных на практике рекомендаций, не наша здесь вина, и мы не собираемся никого винить. Ученые в конце концов придут к какому-то определенному выводу и помогут нам взнуздать ветер, товарищ Шакунов. Вряд ли полезно, чтобы все мы покрылись такими почетными, но опасными шрамами, как вы.

— Дались вам мои раны, — беззлобно пробубнил Шакунов.

Потапов обратился к Харченко:

— Вы согласны с рекомендациями Повалия?

— Повалий ведет отделение нашего колхоза, — сухо отозвался Харченко, — все, что делается у него, решается в правлении. Кто-то неправильно истолковал выступление Николая Ивановича, представив его бунтарем-одиночкой, поборником правды, попавшим в сети отсталых элементов...

Повалий замахал руками.

— Ну что ты наговариваешь, Харченко! Никто так не подумал.

— Подумали именно так, — вставил Дударин, — а потому надо внести ясность...

— Теперь давайте обсудим предложения и Николая Ивановича, и других, так сказать, методы мобилизационной готовности, — предложил Потапов. — Прошу остановиться на способах сохранения грубых кормов, чтобы не дать им улететь, а также не позволить снести крыши. Все слышали о затросировании, назовем так способ Повалия. Мы должны освежить наши штабы, снабдить их твердыми инструкциями, распределить обязанности, проверить связь проволочную и беспроволочную, систему отключения подстанций и так далее. Есть кое-какие соображения, их от имени райкома доложит товарищ Караман.

Караман был единомышленником Потапова. Образованный, молодой и расторопный работник. В нем текла смешанная кровь, предки его пришли из Греции. Когда? Откуда мог знать молодой человек, выпускник Краснодарского сельхозинститута?

Вначале Караман был бригадиром, потом перешел на сельхозотдел райкома, а в последние выборы стал вторым секретарем.

Худенький, стройный, с блестящими черными глазами, предельно убежденный в деле, творимом партией, он независимо от тех или иных сложившихся представлений

должен был убедить прежде всего самого себя. Караман мог схлестнуться с любым, невзирая на ранги. Свои убеждения отстаивал твердо и не шел на компромиссы. Именно он поднял голос против выметания амбаров ради цифры выполнения плана, отказался сеять суходольный хлопок и, будучи бригадиром, категорически восстал против ликвидации многолетних трав, попав одно время в опалу к прежнему ортодоксальному секретарю райкома, имевшему характер того самого кочета, которому абы прокукарекать, а будет рассветать или не будет, неважно.

Потапов не только ценил, но и любовался Караманом. Стоило побеседовать с ним у зеленого абажура и поделиться своими тревогами, подкрепленными Повалием, и общий язык был найден. Караман загорался, отодвигал текучку, выстраивал логическую схему, предварявшую в какой-то мере опасность. А вслед за логикой приходили трезвые расчеты и приемы твердой организации не только бюро или исполкома, а масс, широких масс — только они способны обеспечить успех.

— ...Силам стихии мы обязаны противопоставить силу нашей организации, — так завершил свое выступление второй секретарь Караман. — Мы трое суток объезжали поля с товарищем Потаповым, побывали у всех вас, надо прямо сказать, земля лежит беззащитная, сухая, распыленная, без надежного растительного покрова, в основном отвально перепаханная, со слабой цементацией верхнего слоя почвы. А буря отсрочек не дает, товарищи!

Предрайисполкома, обдумав все, решил не перечить Потапову, увлеченному прогнозированием, и потому, как и всякому увлеченному человеку, пожалуй неспособному вслушаться и оценить советы здравого толка.

Надо прикрыть землю растениями, как говорит Повалий. Хорошо ему говорить, не имея плана сахарной свеклы. А как быть там, где свекла? Чем прикроешь голое поле? Свекла развивается с весны, через час по столовой ложке, а перед посевом землю несколько раз культивируют, боронуют, прикатывают, создают ровный фон для квадратно-гнездового высева. Ювелирно разделанное поле под свеклу — находка для буранного ветра. Вцепится, раскуштует, как говорят казаки, и пошел швыряться тоннами пыли...

Повалий налегает на люцерну. Еще бы, что лучше люцерны может, словно броневым колпаком, прикрыть зем-

лю. Ее зубами тогда не возьмешь. Импровизированное Потаповым совещание пошло без всяких канонов, покатилось как бы боком — полная анархия.

Сцепились Харченко и Повалий, потом еще два председателя колхоза между собой — из-за ветрозащиток. Один не хотел предохранить другого, а другой — третьего, а тем более соседей.

Потапов, возбудивший споры, будто радостно плыл в этом хаосе, как расценивал течение совещания не только председатель исполкома.

Никаких записей не велось. Караман закрыл протокол. Страсти пылали без увековечения историей, что развязывало языки и выявляло истину.

Этого и добивался Потапов, пустив якобы на самотек совещание. Зато завершал он трезво, отчетливо, так как нащупал тропку и теперь мог повести за собой. Конечно, полной ясности еще не могло быть, но контурно все вырисовывалось. Прежде всего надлежало определить организационные основы, чтобы было откуда протрубить сигнал и было кому его исполнять немедленно и без паники.

Агротехнические меры, если они сегодня не проведены, их и не проведешь перед заморозками. Зато ветрозащитники можно еще успеть прочистить. На зябь не нажимать и оставить под зиму растительные покровы. Послушать советы Повалия о закреплении скирдов, а также постараться запрессовать как можно больше сена и соломы, так как, затюкованные, они не поддаются ветру.

Многим запомнится это последнее в шестьдесят восьмом году совещание. Особенно о нем будет сказано после, когда, будто вызванные из преисподней духи, придет ураган и люди примутся бороться с явлениями природы не в душном кабинете, не речами и чертежами, не словесными перепалками, а на полях сражений в станице и станах, в кошарах и на фермах, на дорогах и речках, одним словом, везде, ибо всеобъемлюще и вездесуще повальное действие ветра.

Дебаты закончились коллективным ужином в колхозном ресторане. Потапов, Караман и председатель исполкома с несколькими руководящими товарищами, обычно предпочитающими держаться кучно, на ужин пришли с небольшим опозданием. И здесь надо было прислушиваться, делать выбор и выводы, мотать на ус полезное,

выявлять общую точку зрения и оценку смысла проведенного мероприятия.

Потапов пытался разобраться в сокровенной подоплеке замеченных им разногласий между Харченко и Повалием. Они сидели поблизости, и можно было слушать их разговоры. Пожалуй, не стоило называть разногласиями их стычку. И тот и другой были людьми, подходившими к делу по-государственному.

Нелегко тому же Харченко, бывшему второму секретарю, найти тонус отношений с Повалием. Нечего греха таить, Повалий — Герой, депутат Верховного Совета, член крайкома, депутат краевого Совета. Кроме того, за ним добросовестно завоеванная слава. Ее тоже не скинешь со счетов. Если ему, председателю, юлить перед своим бригадиром из-за его званий, то могут усомниться в его председательском беспристрастии, если нажимать, подумают, гложет Харченко черная зависть.

Так же зыбко приходилось и Повалию. Каждый его шаг, якобы сделанный вопреки, расценивался как самоуправство знаменитости, а критика председателя — как желание сковырнуть его и водрузиться на его место. Конечно, так думали люди, сами коварные, наушники и мотыльки, их не так много, но они клейкие.

Даже Потапову приходилось невольно контролировать себя с Повалием. Поехал к нему в стан, проговорил два-три часа, вернулся на его машине — уже ближайший к нему бригадир дуется, туда, мол, частит, а ко мне... Сегодня, на совещании, если смотреть со стороны, тоже могли подхихикнуть. Нет чтобы поручить доклад тому же председателю исполкома или районному агроному, а поставил в центр Повалия, его пригласил, выбрал из ряда бригадиров.

Глава восьмая

В пятницу Потапова разыскали на строительстве нерестилища: вызывал к проводу крайком партии.

Харламов интересовался состоянием посевов, погодой, настроениями колхозников. В преддверии ленинского юбилейного года Кубань, как и вся страна, обязательства взяла высокие, и первый секретарь краевого комитета

опрашивал тех, от кого зависели урожаи зерна и производство мяса.

Многие годы на высоких постах научили Харламова отыскивать ответы в самых тонких модуляциях голосов, даже естественно возникающие паузы принимать во внимание.

Пожалуй, будет не совсем точно, если назвать Харламова просто психологом. Этого мало при определении характера человека, призванного руководить тысячами людей, занятых в самых разнообразных сферах человеческой деятельности.

Несколько отвлечемся и представим себе масштабы проникновения всего лишь одного человеческого мозга, пусть в нем вращаются даже пресловутые пятнадцать миллиардов частиц, калейдоскопично принимающих те или иные формы, самые разнообразные и, как утверждается, ни разу не повторяющиеся в одной и той же комбинации. Человек все же остается человеком! Это не машина, и даже не самая совершенная в эпоху магической кибернетики.

Раньше на Кубани был наказный атаман войска. Жил он у сквера, где стоял памятник Екатерине, напротив нынешнего монументального здания крайкома.

Наказной атаман занимался парадами, присутствовал при архиерейском богослужении в Войсковом соборе, на его месте водружена колоннада краевой Доски почета. Наказной атаман принимал гостей, в 1916 году самого Николая Второго и каких-то великих князей, беседовал с делегациями старейшин, руководил реестром конных полков и пластунских сотен. Производство зерна, мяса, шерсти, нефти или рыбы его не интересовало. Купля-продажа — так велась экономика. Зерно скупали ссыпщики, назовем некоторые их фамилии: Папондопуло, Влахаки, Фенстер... Муку готовил Дицман, табак скупали ростовские — Асмолов, Месаксуди и другие дельцы.

Скот гуртовали шибаи и гнали по большакам, нарезанным шириной в тридцать саженей, а рыбу ловили лихие ватаги, пресносоленые флибустьеры Черного и Азовского морей.

Севооборот — трехполка. Тягло — кони и волы. Землю мерили деревянной саженью. Лишь позже объявились землемеры в темно-зеленых мундирах с рулетками и теодолитами.

Немного требовалось мозговых шариков для наказного

атамана. Теперь в шутку наказным атаманом называют Харламова, человека твердого, решительного и одновременно старательного в претворении в жизнь разумных инициатив.

Он, по-мужичьи закатав рукава, взялся за рис и обещал дать его стране свыше тридцати семи тысяч тонн к концу пятилетки. Он строил гигантский, на три миллиарда кубов водоем, рисовые системы на площади плавней, равной всей долине Нила, химзавод на миллион тонн удобрений для тех ста культур растений, которые возделываются на Кубани.

В крае рискованного земледелия урожай зерна на четыре центнера с гектара превышает урожаи лучших агропровинций Северной Америки. По сравнению с прежней Кубанью на той же земле снимается урожай в четыре раза больший, а производительность труда повысилась в десять раз. Пятьсот двадцать тысяч человек заняты сегодня земледелием на Кубани и триста пятьдесят тысяч работают на первоклассных, молодых предприятиях, на добыче нефти и газа...

О «хаотическом и внеплановом» совещании в Сечевом райкоме Харламову доложили в утренней «объективке» наряду с данными о погоде, о происшествиях, числом заболевших гриппом, цифрой сдачи кукурузы и подвозе свеклы на сахарные заводы, щедро рассеянные по краю.

Харламов, не перебивая и не поторапливая, выслушал Потапова, которого не поднимал вверх лишь потому, что не хотел обнажать корневую систему наиболее важного в партийной системе — районного руководства. Он выяснил суть «хаоса», порадовался низовой инициативе, попросил повторить главную заботу Повалия о подготовке к возможной беде.

Уловив в ответе Потапова желание оправдаться в оценке намеченных принципов организации, Харламов сказал:

— Самое мощное оружие нашего общества — организация, вы правы, Виктор Павлович. Используя известное классическое высказывание, могу согласиться с вами, что и у колхозного крестьянства нет иного оружия в борьбе со стихией, кроме организации... Но это слишком общо. Очень прошу скорее выслать нам все практические соображения.

Глава девятая

Молодые петушки, будущие жертвы ножа и секиры, тревожно праздновали еще одно отпущенное человеком утро. Молодняку раздраженно отвечали матерые кочеты, явно пытаясь навести порядок, нарушаемый неопытной молодежью.

Утренняя звезда еще дотаивала в небе, а солнце уже по-хозяйски разгоняло остатки ночных теней. Григорий Васильевич вышел из дома и, остановившись на открытом крылечке, вслушивался в петушиные голоса и смотрел на погасающую звезду.

Осень вносит всегда особые запахи и краски. По-особому благоухают табаки, стараясь подольше не сворачивать цвет, допивая остатки свежей пресной росы. В это же прокаленно-сухое утро не отдохнувшие за ночь растения тщетно пытались найти влагу и, не отыскав ее, сворачивались в коконы. Читая книгу природы, Григорий Васильевич размышлял над тем, как же себя вести дальше, как приободрить людей, понимающих не меньше его. Вот здесь-то и таилась основная трудность.

Проще всего иметь обводненные земли, самому регулировать стоки воды, побеждать не только ураганы, но и засухи, потрошить даже суховеи. Харченко и в мечтах не мог представить себе такую роскошь. Воды становилось все меньше и меньше, аппетиты в потребности ее возрастали все больше и больше. Артезианка питала людей, но насытить поля влагой она не могла.

Окатив водой под душем мускулистое, сухое тело и понаблюдав, как радужные капли скатываются по эластичной смуглой коже, Григорий Васильевич немного отвлекся от тяжких дум. Пока супруга хлопотала у газовой плиты, готовясь к отправке детей в школу, Григорий Васильевич спустился в погреб по кирпичным влажным ступенькам, нашел простоквашу, с удовольствием выпил пол-литровую банку, потянулся к кадушке, достал огурец, съел его, нежинский, твердый, в укропе, с прилипшим вишневым листочком. Взыграл аппетит, и Григорий Васильевич высосал два красных помидора. Выйдя из погреба, он всем телом ощутил раннюю прохладу. Небо еще не зацвело утренними красками и казалось цинковым. Не отличить, где небо, где крыша. Значит, далеко

убежали тучи, нет их и в помине, и нескоро оденется жестяное небо темноватым дождевым пологом.

Харченко жил в кирпичном коммунальном доме, отошедшем в жилфонд после выселенных на Урал кулаков. Три комнаты и кухня вполне устраивали его семью: жену, двух ребятишек, мать и деда, егозливого и неглупого старика. Его недряхлеющим, сучковатым рукам бывшее куркульское поместье обязано надежной реставрацией, вплоть до орнамента наличников. Дурных людей он называл волкоедами, очевидно, по той причине, что такие и волка съедят, не подавятся. В молодости он служил в гренадерском полку рядовым, участвовал в русско-японской, уверял, что еще там видел Буденного, но изображал его уже не просто драгуном, а командармом.

Дед Григория Васильевича любил спать в предбаннике, где у него была койка и под ногами коврик. Баньку же пришлось построить по его настоянию десяток лет назад, хотя, если разобраться, он сам-то ее и собрал: тук-тук топоренком.

Харченко любил старика, его мудрую речь, внимал его приметам, когда сеять, пахать, подождать или поспешить с сенокосом. Старик мог каким-то вещим чутьем угадывать всхожесть зерна, хоть не проверяй в лаборатории, и страшно сердился, если кто-то срывал паутину, — он считал пауков полезными для человека, охраняющими его не только от мух, но и от ядовитых мошек: «Он к человеку, а ты его метелкой. Ты не понимаешь, он тем паче... И муравья не дави, этот получше милиции, чуть кто нахулиганит — за воротник».

Дед, пощипывая зеленеющую по краям бороденку, мог предсказать и ураган. Выходил из предбанника поутру, смотрел на северо-восток, точно туда, где пролегало жерло урагана, и, казалось, принюхивался сморщенным носом к воздуху.

Вчера он чуточку прихворнул, истопил баню, попарился, попросил свежее белье и, по всей видимости, отлеживался от временного недуга.

Григорий Васильевич выпил стакан чаю, съел пару блинчиков с кураговым джемом и отправился в правление. Идя пешком, Харченко всматривался во все окружающее пристрастным, как бы ревизорским глазом. Он ходил на работу не одним путем, а менял улицы, и, если особенно не спешил, старался пройти по глухим, запущенным переулкам. Этим он подчеркивал не свой демо-

кратизм, а лишь необходимость проверить, подумать, подсчитать, что и какими средствами надо еще сделать для благоустройства станицы.

В то утро по случаю приема колхозников он шел обычным, прямым путем, по хорошей улице, не только с асфальтом, но и с фонарями. Несмотря на крайнюю рань, во дворах копошились люди, успевая до выезда в степь накормить птицу, приготовить завтрак детям... Мужчины «запрягали» мотоциклы, ехали в полевые станы. Харченко шел к правлению все в том же костюме и немаркой рубахе, перешагивал канавы, прорытые для газовых и водопроводных труб, поскрипывал переброшенными на скрестках линий мостками, проверяя, крепки ли перильца. Заметив невыбранную лебеду у заборов, стучал палкой в калитку, молча указывал хозяевам на непорядок. В его воображении вставала станица с цветниками и асфальтом, фонарями и стеклянными киосками, в том виде, в каком уже реально вырисовывался будущий пейзаж на двух главных улицах.

Председатель артели попутно обрастал станичниками. Они поджидали его, чтобы решить свои личные вопросы. Он шел впереди, следом за ним двигалась целая свита молчаливых людей. Шел директор школы Оприщенко, мужчина его лет, в габардиновой куртке с «молнией» и с шарфом на шее, чабан Кузьмичев с сыном Сашком, пятнадцатилетним мальчишкой. Кузьмичев плелся позади всех, ведя за кривые рогульки пропыленный до последнего винтика мотоцикл: вид у чабана явно виноватый, глаза припухшие, сизоватая окалина носа выдавала со всеми потрохами пьянчугу. Недалеко от процессии прилепились пенсионер Ульянцев с кизиловой палочкой и в артиллерийской фуражке, доярка Белиберда, упругая молодая бабенка с крутой грудью и бедрами, подчеркнутыми желтой кофтой в обтяжку.

Невдалеке от входа в правление, возле фонаря с часами, поджидали председателя еще несколько посетителей. Они стояли кучкой, разговаривали; курцы дымили, некурящие лениво жевали яблоки. Больше всех рассуждал Иван Муравей, однополчанин Тарасенко, адресуя свой рассказ Анатолию Кибрику и Тимофею Аулову, жениху Зои.

Муравей, как инвалид, был определен на бахчу в караульщики. Больше он был известен своими похождениями во имя устройства быта большой семьи, отпочкованной от

него, как огудины от сильного корня. Возле малорослого, широко раздвинутого в плечах Тимофея Аулова смачно грыз желтобокое яблоко Шляховой, незаменимый бригадир дальних «добыточных» рейсов. У него был вызов председателя, и шоферскому его воображению представлялись хитрые километры, свобода и возможность проявить свою отвагу. Занятый соображениями, он невнимательно слушал тягучие воспоминания Муравья, пересыпанные мусорным словом «сталбыть».

— Сталбыть, идет наш Григорий Васильевич! — Шляховой швырнул огрызок яблока и обтер ладошкой сочные губы.

— Идет, сталбыть, — подтвердил Муравей, посасывая щетину пегих усов.

Харченко, не приостанавливаясь, ответил на приветствие подкидыванием руки к виску и кивком пригласил всех следовать за собой.

В прохладном и гулком коридоре председателя встретила Анна Сергеевна Барышева, главный агроном колхоза, успевшая поставить твердые вехи в плане борьбы против эрозии, а также главный механик Сошников, бывший электромонтер, сумевший, как говорится, не слезая со столба и не снимая кошек, «добить» диплом инженера-механика. Сошников отличался высоким ростом, мохнатостью бровей и длинными цепкими руками. Он носил джинсы, куртку, темные очки и кепку, козырьком на правый бок, чтобы прикрыть мучительный свой дефект: оторванное взбесившимся жеребцом ухо.

При появлении председателя он отступил к стене, задев головой лампочку, и замер, вытянув руки по швам, хотя в армии не служил и никто его не учил стоять по стойке «смирно».

Григорий Васильевич никого не заставил куликать в приемной. Исключение делалось лишь для интимных жалоб или просьб, тогда Харченко просил зайти к нему либо в начале приема, либо в конце. Осенью он уделял приему больше времени, в страдные дни меньше, да и посетители не стремились к нему, чтобы не получить нагоняй за безделье.

Первым он принял директора школы Оприщенко. У него было такое дело. В сельхозинституте заканчивал учебу стипендиат колхоза Данилов, сын учетчика тракторной бригады. Ему дали стипендию на пятнадцать про-

центов выше государственной, что в сумме не позволяло обзаводиться семьей. Но разве устоишь против чар краснодарских красавиц. Данилов намечался механиком в пятую бригаду, а жену его, учительницу, Оприщенко просил закрепить за его школой: будет преподавать биологию.

— Почему вы ставите вопрос? — спросил Харченко. — Кто-нибудь претендует? Тоже приглашают жену Данилова?

— Поэтому я и побеспокоил вас, Григорий Васильевич. Биологички на вес золота, а в станицу не едут. За нее ухватились...

— Хорошо, — председатель кивком разрешил директору школы уходить и, когда тот поднялся и, выпрямившись, завязал шею шарфом, сказал: — Спортивный зал прошу завершить своими силами. Строителей снимаем на бурю...

— На бурю?! — Оприщенко обернулся. — Разве предвидится?!

— Мы обязаны ее предвидеть... — Харченко подозвал забившегося в угол Кузьмичева и, задержав отступившего к двери Оприщенко, произнес тоном чтеца обвинительного заключения: — Товарищ Кузьмичев взял подпаском своего сынишку пятнадцати лет — Сашкá. — При упоминании своего имени Сашко бодро вскочил на ноги, глянул на директора вызывающе и расправил плечи. Мальчик был рослый, смуглый, и, если бы не дурацкие волосы, отпущенные почти до плеч, мог бы заслужить полное расположение председателя. Дерзкий взгляд, развязная поза и особенно лохмы заставили Харченко немного повысить голос: — Взяв себе в подпаски сына, товарищ Кузьмичев принялся за бутылку. Пример дурной и не свежий, и мальчик десять дней проманкировал школой... — Связав отца и сына в один узел, председатель после паузы решил смягчить: — Саша оправдал доверие. Овцы повеселели. Но откуда овцам знать, что их пастырь обязан получить среднее образование, чего, к сожалению, не знает и его батя...

— А я не хочу кончать школу! — взъярился Сашко.

— Не хочешь? — глаза Харченко сузились, пальцы зашевелились, и он, подавшись вперед, уперся грудью в стол и застыл в таком напряжении.

— Вот бригадир Макуха закончил всего четыре класса, а у него Золотая Звезда, машина, получает в месяц

не меньше министра, — выпалил Сашко, довольный смехом, вызванным его словами.

Председатель не смеялся, окаменел: не дрогнула даже бровь, не шелохнулся ни один мускул на суровом лице.

— Во-первых, Макуха не из нашей артели, пусть он учит ребят из «Четвертого корпуса». Во-вторых, у Макухи за плечами большая жизнь. Ты на его руки погляди, а не на звезду!..

Сашко виновато согнулся.

— Ступай в свой девятый, Саша, — примирительно произнес Харченко, — редко кому удавалось в нашей станице в иное время похвалиться таким образованием. Двухклассное было — самый высокий ранг учебы, вроде института. Я сам не застал, батя помнил...

Станичники молчали. Харченко догадался, что не ко времени он развел антимонии назидания.

— Учись, Сашко, — повторил он всем назло, затягивая беседу, — ум ни за какие тысячи не купишь... — И, вспомнив что-то реальное, обратился к Оприщенко: — Почему машины гоняете по магазинам?

Директор школы, поняв, что председатель хочет избавить его от лжи в присутствии людей и тем более его ученика, запнулся на полуслове.

— Милиция будет снимать номера, — предупредил Харченко. — За рулем несовершеннолетние... Девчонки тоже за рулем?

— Учим и девочек. На тракторах учим.

— Понимают технику?

— Понимают, — ответил Оприщенко, — ученики старших классов все на практике в бригадах, различия не делаем, мальчики, девочки.

— Никто не фыркает?

— Есть белоручки. Привыкают.

— Балерины и киноактрисы, — улыбнулся председатель. — Что же, бывает. Бондарчук и Мордюкова из наших краев, станичники. Ляпидевский и Горбатко тоже наши...

Сашко поднял глаза к потолку.

— Там тоже отары в небе, Саша. Только — облаков, замечал?

— Да, — коротко ответил Сашко и тронул отца за руку, чтобы уходить.

— Если больше вопросов нет, можете идти, — разрешил Харченко. — Только вот что, батя, советую перехо-

дить на квасок. А то проглядишь из-за белой головки такого хорошего сына.

Проводив первых посетителей, Харченко немного передохнул, чтобы побороть ненужное волнение.

— Не знаю, как вам, а мне и радостно и тяжело, — произнес он откровенно, и Анна Сергеевна встрепенулась, хотела что-то тоже сказать, но не успела. Харченко заговорил с Ульянцевым. Тот сидел с хмурым видом, поставив палку меж колен и упершись в рукоятку острым стариковским подбородком. Лицо у него было серое, скучное, и характер дрянной, сквалыжный.

— Музыкальные инструменты закупили, Ульянцев?

— За ними поехать?

— Сами привезем. Добавил к вашему самодеятельному перечню еще пионерских барабанов и труб, не оприходывайте по своему кружку, пойдут в лагеря, в отряды. Вы с этим делом?

— Больше не с чем. — Ульянцев закашлялся, и, пока справлялся со своей астмой, председатель распорядился выдать кирпич для застройщика Муравья и, не отрывая пера от бумаги, спросил Тимофея Аулова: — Тебе тоже кирпич?

— Да, кирпич, — поспешно ответил Аулов, — и, если можно, черкните и шифер. Сколько? На крышу, Григорий Васильевич.

— Норму знаю, — Харченко по-доброму оглядел привставшего Тимофея. — Свадьбу придется играть в батькином, а потом переберетесь в свой. Не ждите своей крыши. Дружба может дать течь. Береги Зою, и она тебя сбережет.

Тимофей не мог предположить, что после кирпичей разговор примет такой оборот. За несколько минут, как бы походя, председатель решил за него мучительную задачу. Родня советовала ему не спешить идти в загс, подработать и справить одежду. Предложив складчину на постройку дома, близкие родственники предъявили ему и свои права. Вместо благодарности Тимофей распалялся. И вот выход: председатель не только дал верный совет и выписал кирпич, он тут же предложил оформить ссуду, причем часть безвозвратно.

Обратившись к Шляховому, Харченко приказал поставить десять ЗИЛов на перевозку в город пшеницы.

— Полторы тысячи тонн требуется перебросить. Не пу-

гайся, до города рукой подать, шоферне возле палаток пореже прилуняться. Прикажу не торговать перепелками при лунном свете. Возить будешь в основном ночью. Днем кукурузу на элеватор. Обратно комбикорм. Наш сотрудник будет, и сам проследи, за килограмм пшеницы обязаны полтора комбикорма. Кроме того, вывези два вагона соли-лизунца...

— На нашей ферме тоже нет соли, — вмешалась Дуняша.

— Вашу тоже имею в виду, — остановил ее Харченко.

— Других заданий не будет, Григорий Васильевич? — разочарованно спросил Шляховой, мечтавший о более дальних поездках.

— Хватит пока этого колонне. Нахлебаетесь пыли.

— А как со свиньями? Надо...

— Надо тоже, — подтвердил Харченко. — Пока еще не приняли нашу заявку на семьсот голов...

Харченко всегда принимал людей коллективно. Может быть, из-за небрежного понимания их нужд, желания побыстрее отделаться? Нет. Он хотел, чтобы все понимали заботы друг друга, потому что артель есть артель, а не чересполосица, чтобы никто не врал и высказывал свои нужды и пожелания без стеснения, на виду у всех, если, конечно, вопрос не касался сугубо личных дел.

— Ты все по тому же поводу, Дуняша? — спросил он доярку Белиберду, сидевшую с откровенно независимым и, можно сказать, развязным видом, шурша, словно мышка, семечками.

Дуняша Белиберда ответила не сразу. Смахнула в сжатый крепенький кулачок шелуху с пухлых губ, высыпала ее в урну, отряхнулась.

— Может, я закольцуюсь напоследок, Григорий Васильевич? — спросила она, безмятежно сверкая глазами.

— Закольцуешься? — переспросил Харченко. — Что ты, дикая утка или пеликанша?

— Ну, закруглю, что ли, ваши беседы.

— Вызывал твоего муженька, — в открытую объявил Харченко, — прорабатывали его...

— Ну и что он? — вызывающе спросила Дуняша. — Так как же муженек? — И, не дождавшись ответа, обратилась к Тимофею и Анатолию: — Вот вы, молодцы, пока женихаетесь, таких из себя представляете, будто семь лет на кресте висели...

— Ты, Дуня, играй своим хвостом, чего другого ца-

паешь, — огрызнулся Тимофей, не любивший давать спуска. — Не волнуйся за нас.

— А ну тебя, Тимофей, лезешь сразу в бутылку, — Дуняша отмахнулась, — критику не любите, мужчины.

— Критику любят только дураки, — коротко бросил Тимофей.

— Любят ее дураки, а терпят... умные! — отпарировала удар Дуняша и обратилась к председателю: — Как я поняла, вызывали моего, причесывали ему чубчик. А то, будто при старом режиме, замахивается... Ну, я пошла.

Сошников проводил ее глазами женолюба, не удержался:

— Вряд ли такая ядреная бабенка даст на себя замахнуться.

— Почему? — поинтересовался Харченко.

— Суфражистка.

Харченко представил англичанок, взвинченных борьбой за равноправие, с молотками, обернутыми в женские чулки, разбитые этим оружием витрины, недовольно покачал головой и вступился за Дуняшу:

— Эта суфражистка через свои руки пропустила сотни автоцистерн молока, товарищ Сошников. Такую защитить нужно. Обязаны... — он глянул на Анну Сергеевну, ища поддержки, и та, в свою очередь, добавила:

— Муж у нее действительно хамовит. Выпьет на алтын, а задается на целковый, теряет контроль над собой.

Харченко ничего не ответил. Его молчание выражало согласие разобрать дело Белиберды в товарищеском суде.

...В кабинете остались Барышева, Кибрик, Сошников и Аулов. Последнего председатель задержал из-за нескольких вопросов.

— Когда свадьбу играем, Тимофей?

— Как добьем бураки и кукурузу.

— Зоя интерес к институту не потеряла?

— По-моему, нет, Григорий Васильевич.

— Думает переждать еще год или заочно?

— Заочно. Если условия позволят, — Тимофей отвечал твердо, без запинки, как учили в армии.

— Какие имеешь условия в виду? — поиграв ручкой, спросил Харченко.

Тимофей переглянулся с Анатолием, помялся:

— Халупа нужна. Вы же знаете.

— У отца тесно, — подтвердил Харченко, — по Энгельсу, надо отпочковывать семьи. Читал?

Барышева опустила глаза, казалось, она стыдилась и ждала, что председатель спросит и ее об Энгельсе.

— Этого не читал, — признался Тимофей.

— Не виню. Сам недавно проштудировал брошюру. Попалась случайно. В курсовой моей папке обнаружил, — закончив с классиком марксизма, Харченко подошел к генеральному плану станицы, висевшему, как карта, на стене. — Вот здесь мы будем выделять участки хуторянам по сселению, сюда уже бьют траншеи для воды и газа... Если ничто не помешает... — Закончив на этом «если», он вернулся к столу и сказал Тимофею: — Иди начинай жизнь. Кончать уже без нас будешь.

— Что вы, что вы, Григорий Васильевич! — встрепенулся Тимофей. — Мы еще... вы еще...

Проводив Аулова глазами, Харченко обратился к Анатолию:

— Ну, рассказывай, какова наша посадочная машина?

Анатолий доложил об испытании машины в поле, особо не хвалил ее по причине задержек в работе и сложностей механизмов.

— Будем в этом году подсаживать, Анна Сергеевна?

— Думаю, не будем. Заложим начатую лесополосу белой акацией, используем закупленные саженцы, а остальные зафондируем на будущий год. К тому ж погода только тараньку вялить...

— Согласен? — спросил Харченко главного механика.

— Я тоже так думаю. Надо тросы, крыши поглядеть, электросеть проверить, есть ветхие линии, Григорий Васильевич.

— Ладно. Бог простит, народ забудет, как говорил Скобелев. — Харченко повернулся к Анатолию. — Звонили опять из Баклановки... Обвиняют нас чуть ли не в твоем умыкании, Анатолий Афанасьевич. Что-то надо делать.

— А что делать? — Анатолий задумался. — В Лебедянку переезжать... Съезжу туда, попрошу прекратить звонки.

— Съезди, — разрешил Харченко. — Повалию доложи, я отпускаю.

— Вы знаете, у меня такое положение... — начал было Анатолий.

Почувствовав его волнение, Барышева приостановила Кибрика:

— Если вам хочется излить душу, продолжайте, если проинформировать, то мы знаем ваше положение, Ана-

толий. Но родители есть родители. Григорий Васильевич правильно посоветовал. Поезжайте, успокойте мать и отца.

Анатолий ушел от председателя ободренный. Нет, не может он бросить незавершенный ремонт техники, бригаду, Повалия... Последние слова Анны Сергеевны звучали в его ушах, пока он не свернул влево и не направился к универмагу. Увидев в зеркальных окнах универмага толпу, он вспомнил, что Римма просила что-то купить, и чуть не столкнулся с Тимофеем.

— Я жду тебя, Толя. — Аулов протянул Кибрику вафельный стаканчик мороженого. — Дударин наладил. Баклановцам и то нос утерли... Ну как? Чего они там?

— Просили съездить к родителям.

— И все?

— Пожалуй, самое главное.

— А ветрозащитки будем сажать?

— Что они тебе?

— Подработать можно. Слыхал же, участок нарезают, гроши нужны. А что, караваны грабить? — Тимофей расправился со своей порцией мороженого, вытер губы платочком, сложил, понюхал его. — Зоенька выгладила и надушила. Слушай, пойдем ко мне, посидим в садике.

Они зашагали по улице. Сапоги их покрылись мельчайшей, как пудра, пылью. Им пришлось расстегнуться, хотя воздух был спокоен, словно перед бурей. В станице продолжали орать петухи и яростно лаяли собаки.

— Ты можешь представить, что получилось у меня с Муравьем, — давясь смехом, рассказывал Тимофей. — Он продал мне свой наряд на кирпич. Можешь себе представить сделочку?

— Как же он сам?

— Как? Весьма просто. Буду, говорит, по своему принципу таскать материал без копейки. Где разбирают дом, он туда, хвать на свою мототележку и в муравейник...

* * *

Утренний прием Харченко завершил обсуждением намеченного Анной Сергеевной плана противоэрозийной защиты почвы. Этот вопрос постепенно перешел из второстепенных в главный: либо человек победит бури, либо они победят человека. От степени решения этой задачи зависела судьба земледелия. Обстановка требовала не

просто решительных исполнителей. Проще всего приказать. Приказ подлежит исполнению. Природе не прикажешь. Как раз наоборот, она может мобилизовать, проверить, закалить людей, выявить героев, отсеять негодных. Вот как поворачивалось якобы простое дело, именуемое противоэрозийной защитой.

Главный агроном Анна Сергеевна Барышева пережила несколько налетов стихии и понимала драматизм положения тех, кто выходил на борьбу с пустыми руками и шаткими убеждениями. Тревоги Повалия не были чисто эмоциональными. Потапов и тот же Караман, второй секретарь, также знали, чем грозят удары черных бурь. Поэтому, имея соратников и единомышленников как в партийном, так и в советском руководстве, надо было не тратить энергию в спорах, а проводить опыты, изучать действия ураганов, как изучаются действия космической среды или ядерных взрывов.

— Анна Сергеевна, надо действовать, — требовал Харченко. — Нам не простят ротозейства. Мы не можем, как Кучеренко, предаваться иллюзиям. Надо прикрывать землю. Кто-то говорил, что я скуплюсь отдавать землю под посадки леса, под травы... Уверяю вас, я против поспешности, которая смешит людей. Но я не за черепашьи темпы... И потом надо разоблачать эти дурацкие версии о якобы моем соперничестве с Николаем Ивановичем... Верили бы мы в бога, перекрестился бы на икону, Анна Сергеевна.

Барышева ушла обрадованная и успокоенная. Многое, о чем иногда шушукались, было сказано вслух. Она еще больше поняла Харченко, на первый взгляд сухого и замкнутого человека. Раскрылся он, и это радовало Анну Сергеевну.

Оставшись наконец один и остыв от заключительного свидания и нисколько не раскаиваясь в своей откровенности перед Анной Сергеевной, Григорий Васильевич продолжал свои дела.

Надо было перевести деньги за работу авиации на плантациях клещевины, позвонить директору одного из северных леспромхозов, уточнить план сдачи металлолома, послать машины в Кропоткин за тротуарной плиткой, готовить для посева семена яровых, выделить бензовоз, чтобы подбросить керосин из города для населения, послать транспорт за алебастром в Лабинский район...

Харченко прислушивался: подкатила его машина. С ве-

чера условился нагрянуть в третью бригаду, к отцу Тимофея Аулова. Там побывал народный контролер и сообщил, что озимую кукурузу заделывают глубже шести сантиметров, пожнивные остатки не выволакивают на обочины, не выжигают. Нужно было бы подсказать Анне Сергеевне, только у нее срочная задача, нельзя отвлекать, к тому же он попросил ее привезти к трем развилкам сотрудника научно-исследовательского института, прикипевшего к колхозу по эрозии.

Еще сигнал, второй контролер, разнюхав, что сеют без суперфосфата, самолично остановил сев. Досада на излишне ретивых помощников, обычно пенсионеров, сменилась благодарностью к ним. Разве за всем усмотрит куцый аппарат колхоза. Стоят ночью тракторы-пахари! Значит, и ночью находит контролер неполадки!..

Харченко хотел проверить сигналы с утра, но помешал Потапов — просил подъехать к трем развилкам, куда ждут из Прилиманского райкома Бабиева, Кучеренко, Повалия, возможно, кого-то еще.

Водитель позванивал у дверей ключами, выжидая, пока хозяин артели оторвется от дел.

— Ладно, знаю, не изнуряй меня укоризной, — попросил водителя Харченко. — Скажи, видел ты колючий паслен у дорог? На краевом совещании кто-то ругнул нас мимоходом.

— Колючий паслен? — шофер задумался.

— Знаешь, какой он?

— Вроде и знаю, Григорий Васильевич, по литературе, по газетам, а вот какой он колючий... — Водителю было двадцать семь. Он отслужил в центральной группе войск танкистом, был награжден медалью «За боевые заслуги», а вот колючий паслен не видел. — Обычный паслен...

— То не тот, Валерий. Ничего ты не видишь. А вот товарищ из края увидел...

— Я видел только амброзию.

— Чур тебе, чур! — Харченко даже оглянулся. — Еще при председателе крайисполкома, при Мигунове, брякнешь. Амброзия... Все наши проценты погаснут... Ты чего ждешь?

— Не чего, а кого, — обиженно поправил Валерий, моргнув глазами с пшеничными ресницами. — Вас жду. Товарищ Заремба уже поехал к трем развилкам.

— Почему он ко мне не зашел?

— Хотел зайти, а Сошников остановил, сказал, не мешай, Чапай думает.

— Ишь остряк! — промолвил Харченко. — Иди. Я сейчас. Кое-что еще осталось.

После ухода водителя Харченко распорядился выдать пшеницу вдове павшего под Кизляром пластуна Барабаша, поставить поваленный электрический столб на улице Калинина, усилить прием молока от населения для продажи и потребовать у комбината четыреста невозвращенных мешков из-под травяной муки.

Глава десятая

Для Игната Степановича Кучеренко постоянные успехи соседей выходили боком. Где бы ни совещались — в районе, в крае, — всегда сравнивали два хозяйства: одно хвалили, другое упрекали. И, как назло, при такой же земле, в абсолютно одинаковых условиях погоды, даже при той же агротехнике результат был разный. Вот так бывает в любой профессии, даже у портного или повара. Тот же материал, те же ножницы и машинка, те же плита и дуршлаг, те же продукты, а у одного костюм любо-дорого, у другого борщ трава травой.

Никаких особых тайн у Повалия не было, но все же где-то ютилась закавыка, требовалось ее не только разгадать, применить надо, покончить с назойливыми и оскорбительными сопоставлениями.

Не без намека председателя артели Михаил Кузьмич Безмерный проникал в душу Николая Ивановича Повалия. Не впрямую, а то там, то здесь, за пирожками или в поезде, Безмерный изучал искусство владения землею. Не зазорно походить и в поваренках, зато из первых рук узнаешь, где подсолить, где подперчить.

Повалию не чужды были человеческие слабости, он поддавался на лесть, и ему приятно было располагать жадным к его словам человеком, никогда не перечившим ему, а с раскрытым ртом внимавшим его мудрости. И в этом, в некотором роде симбиозе, не было ничего предосудительного. Воздуха много, нельзя считать вором того, кто рядом с тобой дышит.

Узнав от Кучеренко о намеченном «свидании» у трех развилок, Безмерный немедленно укатил к своему тароватому соседу, повезя ему обещанную книгу маршала Жукова, за которой гонялись не только собиратели редкостей, а простой люд, знавший маршала раньше того, когда он отважился заняться не флажками на картах, а вечным пером прославленного полководца.

— Спасибо тебе за Жукова, — благодарил Повалий, перекладывая с руки на руку книгу, ощущая в ладонях гладко-алую суперобложку. — Возьмусь за нее. До трех петухов хватит.

— Не спешите, Николай Иванович, посмаковать требуется.

— Нет, нет, глотать буду, Михаил Кузьмич. Это, братец ты мой, не леденец, а я не скучающая дамочка на диване...

— Или вы служили у него?

— Не дотянул по возрасту, — с искренним сожалением произнес Повалий, перелистывая страницы.

Безмерный глядел на его подстриженные седые виски, на редковатые волосы на макушке и вдруг представил, как много времени прошло с войны, если даже такие солидные ныне дяди «не дотянули» тогда по возрасту.

— Надо ехать. — Повалий взглянул на часы. — Ты на «козлике»? Тогда я с тобой до развилков. А там кто-то подхватит. Директора лесхоза пригласили? Надо ему поднять температуру. Мы сажаем, а он в свой баланс заносит...

Побурчав еще немного, отдав необходимые распоряжения, он умостился рядом с Безмерным, протер стекло ладонью и кивнул, чтобы тот трогал. Прямо с места «козлик» забрал кучу пыли и покатил по грунтовке, будто ставя дымовую завесу. Повалий, прикрыв веки, старался не глядеть на обмертвевавшие озими и, только когда замаячили приткнувшиеся у шоссе машины, сказал:

— Она, — имелась в виду пшеница, — одним стебельком в сутки должна выкачивать полстакана воды. Жаль ее... Пересохло в горле у нее, а помочь нет силы...

Место, именуемое тремя развилками, называлось так потому, что находилось оно на перекрестке трех дорог — на Сечевую, Баклановскую и город Прилиманск, где наряду с горкомом находился и руководящий центр Прилиманского сельского района.

Будто самой природой у трех развилок был оборудован

наблюдательный пункт, незапахиваемый курган, откуда открывались дальние горизонты. И хотя моря не было видно, все же оно угадывалось за дымчатым струением нежного марева.

Машины стояли на обочине главного магистрального шоссе, а приехавшие на них распределялись двумя группами. Одна — на самой вершине кургана, во главе с Потаповым, который был в рубашке-апаш и без кепчонки, оставленной им в машине, где шофер Филько договаривался по радиотелефону с запаздывающими председателями райисполкомов Дудариным и Осетиновым: они поутру встретились в Сечевой.

Вместе с Потаповым был Бабиев, секретарь Прилиманского райкома, высокий красивый тридцатипятилетний мужчина, с открытым лицом и роскошным казачьим чубом.

Бабиев имел звезду Героя Социалистического Труда, полученную им за председательство в одном из колхозов, откуда его взяли по рекомендации крайкома. На выборы приезжал сам Харламов, которому надо было убедить Бабиева перейти на партийную работу. Бабиев был агрономом и при твердом характере слыл мягким и отзывчивым на любую беду человеком. Ему приходилось труднее, чем руководителям более жестким и властным, мало склонным изучать душевную ткань людей.

Казачий род Бабиевых кустовался в основе своей по Баклановке. Бабиева знали вдоль и поперек. И батьку его знали, и мать, и всю родню, а ее много, и цепкая она, как повитель на крыжовнике.

В другой группе находились Харченко и парторг Заремба, они стояли на кургане, и Кучеренко был здесь со своим парторгом, крутолобым и синеоким казачиной, поплотнее и вдвое пошире председателя. По тому, что у него на ремешке висела видавшая виды офицерская планшетка, а одна рука покривела, нетрудно было догадаться о его биографии. Иначе и не могло быть в «Четвертом корпусе», колхозе твердых традиций как по морали, так и по хозяйству.

Были еще люди разных рангов, они стояли либо на кургане, либо у подножия, и среди них было больше веселья, взрывов смеха, хотя и подвяленных, но все же не потерявших остроту словечек и шуток.

Несмотря на раннее время, солнце обливало поля обнаженным, нестерпимым для глаз светом, золотило пыль, поднимаемую пробегавшим по шоссе транспортом.

— Ну и кавалькада, прямо Тильзитский мир! — удивился Повалий, вылезая из «газика». — Пошли, Кузьмич, наверх.

— Может быть, мне неудобно?

— Неудобно спину локтем чесать.

Они поднялись на курган. Представив Безмерного с лестными рекомендациями, Повалий отдышался, закурил чью-то невкусную сигаретку.

— Наш, — сказал о Безмерном Кучеренко, — шлифую на место Самойленко.

Бабиев осведомился:

— Ну и как?

— Будто бы вытягивает. Надо только еще подшабрить...

Бабиев как бы давал понять, что разговор о Безмерном можно закончить, обернулся к Потапову:

— Опаздывает Советская власть?

— Задерживается. Выяснил, Филипп?

Филько подошел, помялся, сразу не ответил.

— Спрашиваю, выяснил?

— Договариваются. Сказали, поехали в ПМК.

— Понятно, — Потапов кивнул, — твой Осетинов опять шумит.

Бабиев пожал плечами.

— Есть причина шуметь, Виктор Павлович. Забазировал ты у себя пээмка и заставляешь ее на себя работать.

— Своя рубашка ближе к телу.

— Верно, но эта рубашка как-никак межрайонная.

— Ладно, Бабиев, какие счеты. — Потапов нарочито лукавил, чувствуя справедливость корректных упреков Бабиева. Его беспокоило, как бы Дударин не поддался нажиму яростного прилиманского предрика Осетинова и тот не увел бы на свои стройки подвижную мехколонну.

— Кого еще нет? — спросил Бабиев, по-видимому уступая соседу пальму первенства.

— Главных колхозных агрономов ждем, — ответил Потапов, всматриваясь из-под ладошки на дорогу в Сечевую, стреловидно бегущую между голых аллей. — Институтский должен быть, директора лесхоза просили... Да вот и он, узнаю по малиновому «Москвичу»...

Малиновый «Москвич» затормозил на обочине, сполз носом в кювет, и директор, сам сидевший за рулем, вывел его снова на обочину. Попросив приехавших с ним

двух человек подождать, он отряхнулся, вытер тряпкой вишневые штиблеты и, проверив рубчик на брюках серого костюма, направился на курган хотя и мелкими, но солидными шагами.

Директор лесхоза был полнеющим и лысеющим человеком среднего возраста, типа, именуемого сангвиническим. Он успел посадить сотни гектаров полос, довести часть из них до смыкания крон, получил орден «Знак Почета» и защитил кандидатскую диссертацию. Он прибыл сюда недавно, после разукрупнения лесхозов. О нем было известно немного, но почти все интеллигенты станицы, а лучше всех их жены, знали, что новый директор привез красивую супругу, марийку, взятую им из ансамбля, что он кончил лесотехнический в Йошкар-Оле и для укрепления волос употребляет настой из конопляного семени.

Как человек необвыкший, он держался этикета: раскланивался, не протягивая первым руку, больше прислушивался, чем говорил, на критику отвечал улыбкой, как бы не принимая ее всерьез.

Повалий тут же принялся исполнять обещанное — «нагонять температуру». Директор растерянно принял первый удар, потом оправился, изобразил на лице умильно-виноватое выражение, склонил голову, вытянув шею.

— Помилуйте от чужих грехов, Николай Иванович! Предупредили бы, захватил бы пепла посыпать главу. Виновен, не отрекаюсь, казните топором, но зачем сечь кнутом, как мелкого жулика? — И дальше перешел к оправданиям в серьезном тоне: — Обязан не только пахать и сажать, но и ухаживать до пятилетнего возраста. А машин мне не выделяют, сажаем под обычный плуг, приживаемость будет низкая; к тому же отвели место на семи ветрах, воды нет, подъездных путей нет, у меня телефон и тот как при наступлении батьки Махно, на одной нитке... Прислали посадочную машину. — Он уперся глазами в невозмутимого Харченко. — Кто ее захватил?

— Я, — сухо признался Харченко. — Машина пришла, а покупателя нет. Мы купили... Может, уступить? На эту осень она нам не нужна, а к весне ее «раскулачат».

Бабиев, переглянувшись с Потаповым, спросил директора:

— Стоит ли в такую осень сажать?

— Есть указание...

— А вы как думаете? — повторил Бабиев. — Вы объездили свои четыре района? Выяснили состояние ветровой лесозащиты?

— Объездил, выяснил, товарищ Бабиев.

— Ваши выводы как специалиста?

— Есть указание... Мы обязаны...

Повалий ядовито поддел:

— Сажай лес в поле — будет хлеба вволю. Нельзя совать саженцы в порох. Осенью только судаков вялить...

— Верно, — подтвердил Харченко, — не приживутся саженцы. Мы проверяли, пускали машину, воду возили как на пожар. После, где ни копнешь на проверку, сухо. А если буран?

Повалий заверил:

— Выдирает саженцы с корешками. Перетранспортирует куда-нибудь в Голландию.

Директор поддержал Николая Ивановича, что-то невнятное прокудахтал, закашлялся, придавливая грудь руками.

Шоссе, проложенное как государственная магистраль, соединяло центр края с богатой северной провинцией Приазовья. В этом месте дорога разграничивала колхозы имени Ленина и «Четвертого корпуса». Поэтому не случайно пал выбор встречи на этот пункт. Здесь весьма наглядно вырисовывалась картина двух диаметрально противоположных способов обработки земли: традиционный в бригаде баклановцев, где временно командовал Безмерный, и новый, противоэрозийный способ в бригаде Повалия.

Черная зябь баклановского юрта, подготовленная под весеннюю посадку сахарной свеклы, лежала призматическим массивом, прошитым строчками оголившихся лесополос.

Ничего не скажешь, великолепно выглядела мастерски разделанная, прикатанная зябь. Ни одной былинки, бурьянинки.

Далеко, но в поле видимости, в нежном струении вялого воздуха, будто мачты судов, плыли вершины тополей, примета овцеводческой фермы Героя Труда Макухи. По производству шерсти и баранины Макуха являлся как бы Повалием «Четвертого корпуса». К нему так же езди-

ли перенимать опыт из разных мест и даже из Ставрополья.

— Ну и что, Повалий? — Кучеренко поморщился. — Тоска...

— Почему? — строго поинтересовался Потапов, не отводя глаз от поля. — Так мы встречаем врага.

— В истории войн отмечено, — сказал Кучеренко, — женщины, боясь произвола врага, уродовали себя: делали шрамы, чернили зубы, мазались сажей. А раз так, значит, заранее знали — враг одолеет.

Бабиев молча закурил, ответ ему понравился.

— Аналогии поверхностны и скользки, Игнат Степанович, — возразил Потапов, — и неопределенны. А мы собрались посоветоваться, как дальше нам быть, помня, что поле соседа не чужое поле. Вы против кулис?

— Пока не решил. Но не люблю лохматых, — уклончиво ответил Кучеренко.

— Лохматые в моде, — заметил Заремба.

— Я своего сына заставил подстричься, а поля залохмачу! — резковато заявил Повалий. — Буду сеять люцерну, и сплошь кулисно.

— Люцерну — да, — согласился Кучеренко, — трава чистая, не разводит всякую гадость.

Поскольку получился спор не спор, а какая-то бесцельная пикировка, Безмерный решил вмешаться в разговор:

— Разрешите, Игнат Степанович?

Дождавшись великодушного кивка, Михаил Кузьмич объяснил:

— Здесь ведутся опыты отделом защиты почв от эрозии. Научно-исследовательский институт ведет...

— Для меня не новость, — остановил его Кучеренко. — Они и к нам ластились. Мы вежливо отказались. Колхоз не кролик с длинными ушами. Эх вы, гляньте еще раз на настоящее поле!

Все обернулись и посмотрели туда, куда указал сухой рукой председатель «Четвертого корпуса». Поля Кучеренко действительно никак нельзя было сравнить с косматыми соседскими, с их бакенбардами присохших кукурузных будыльев, тем более нелепых при соседстве с зелеными коврами озими. И все же, невзирая на косматость, поля знаменитого Повалия выглядели по-боевому, будто патронташами обвешаны, готовые к длительному сражению с природой без ссылок на коварство и внезапность.

Вскоре подъехала и Анна Сергеевна с молодым и ретивым сотрудником института, заранее настропаленным к отбитию любых атак.

В кофтенке из толстой шерсти и платочке, подвязавшем притухшие от седины некогда замечательные «русокосы», Анна Сергеевна казалась очень домашней, женщиной от плиты, а не одним из проверенных командиров земледельческой рати. Поздоровавшись, она остановилась близ Потапова, как бы усиливая шеренгу бойцов, смотрела с внутренним одобрением на Бабиева, так как знала его хотя и не с ясельного возраста, но со студенческой скамьи.

— Проморгали, Игнат Степанович, — заключил Бабиев, выслушав бьющие в одну точку соображения специалиста из института, убежденного сторонника плоскорезной обработки. По его настоянию были закуплены плоскорезы, и не только они, так как безотвальная вспашка тянула за собой целый шлейф орудий, пришедших на поля после вмешательства государства, обеспокоенного грозными нападениями стихии.

Тот же Безмерный сумел просмотреть и изучить в деле глубокорыхлители, штанговые и противоэрозийные культиваторы, игольчатые бороны... Битва с ополчившейся природой потребовала нового оружия. Отмахиваться или пренебрежительно кривить губы, галопируя на резвом скакуне, ни к чему. Так думал Безмерный, сравнивая своего председателя с Харченко.

— Чистый пар говорит сам за себя, самим названием, — сказал Кучеренко.

— Как очищенный плацдарм для вторжения, — уколол его Харченко. — Вы что думаете, Анна Сергеевна?

— Есть рекомендации в засушливой зоне не отказываться от чистого пара, — сказала Анна Сергеевна. — Павел Пантелеймонович Лукьяненко рекомендует.

Академика Лукьяненко называли пшеничным батькой. К любой рекомендации он подходил осторожно, после деятельной проверки на мелких участках, в разных зонах.

Давний житель Кубани, Лукьяненко отлично знал земледелие и климатические условия района. Он выводил сорта пшеницы не только высокоурожайные, но и приспособленные. Если озими с осени хорошо раскустились, им уже не страшны были бури. Озимые гибли от двух врагов — пыльных бурь и мороза. Ветер оголяет узел кущения, мороз добивает. Поэтому он выводил зимо-

стойкие сорта, скрещивая свою «безостую» с саратовской и мироновской. Сам принцип взаимодействия селекционеров по всей территории страны доказывал коллективный характер поисков.

Лукьяненко сдержанно относился к безотвальной пахоте, о чем знала лучше всех Анна Сергеевна, работавшая на агропрактике под его началом. Конечно, стерня, оставленная на поле, — щит против бури, попробуй разгрызи ее даже многобалльным зубом урагана. В Канаде, в Казахстане, то есть в зонах резко континентальных, пахать плоскорезом и можно и нужно. В Ставрополье тоже. На Кубани же, где мягкие зимы не промораживают почву и семя сорняка вылеживается как в пуховой перине, чтобы при первом луче подняться во весь рост и задавить менее активные полезные злаки, пахота без переворачивания слоя опасна. Могут появиться вредители и болезни, почти начисто ликвидированные в полезно-растительном мире. При плоскорезной обработке появился такой сорняк, как мак, пусть не страшный гость, а если вновь загуляет осот, ластовень, вьюнок полевой, или заявит свои права жужелица, мрачный вредитель, или начнет накапливаться такая зловещая инфекция, как бурая ржавчина?

При такой разноголосице понятна настойчивость Кучеренко, решившего пока следовать традициям земледелия так же, как он следовал традициям военным. И дело даже не в преодолении психологического барьера, ведь существуют директивные центры, прикажут — и выполняй, дело в том — как понимала не только одна Анна Сергеевна, — что не сложилась еще единая точка зрения, а торопиться нельзя. Немало наделали вреда поспешные решения.

— Каждый князек за свой куток? Нельзя так! — Потапов горячился. — Удельщина губила Русь! — в таком же духе, убежденно, запальчиво. Зачем говорить об азиатчине, о погребенных царствах и оазисах. Более просто, земно рассуждала Анна Сергеевна, скрывая боль в сердце. И так приглядывается к ней молодежь: «Анна Сергеевна, что-то вы плохо выглядите, пошли бы прилегли, а мы тут и без вас...»

Потапов по-прежнему ратовал за методы Повалия.

— Новый метод затросирования? — уточнял Бабиев.

— Почему новый? — переспросил Повалий. — К при-

меру, чтобы фуражку ветром не унесло, опускают ремешок. Каска и то крепится, а она стальная. Не так ли, Кучеренко?

— Я каску не носил, но могу подтвердить. Если уж отлетела, то вместе с тросом и головой...

Кучеренко уперся кулаками в бока, глядел с прищуром на свою «королевскую» черную зябь. Прекрасно вспахана землица, взрыхлена, прикатана. Он попытался представить движения северо-восточного ветра. Как будет разрушать он почву? Куда нести черные облака? Прежде всего достанется бригаде овцевода Макухи, не успели убрать одну камышовую кошару, так и пойдет к зимовке. И почему вспахано вдоль господствующего ветра, а не поперек? И сам проморгал, и агроном прокукукал...

После совещания вожаки хлеборобов засобирались домой. Паренек с дерзким взглядом подвел Кучеренко коня.

— Мой сын, — сообщил Кучеренко, проверяя заднюю подпругу, — просится в кавалерию. А где она? Говорю, просись в милицию или в горную погранзаставу, мнется... Напоил коня?

— А как же! — паренек метнул глазами.

— Где?

— Ездил к Макухе.

— То-то вижу — подпотел.

Паренек засунул руки в карманы, глядя в сторону овцеводческой фермы.

— Вот такой и мой Петька, — сказал Повалий. — Гордые, самостоятельные.

— От нас зависит, — заметил Потапов и добавил с усмешкой в сторону пригорюнившейся Анны Сергеевны: — Наше поколение тоже принимали с дегустацией. Ничего, постепенно расписываемся в приемной ведомости и за то и за другое. Придет время, заставим молодежь расписаться в ведомости, а сами пошкандыбаем «козла» забивать.

— Нескоро еще пошкандыбаете, — неожиданно произнес паренек.

— Ты что? Шершень ужалил? — кинул ему незлобиво отец и без всякой рисовки сел в седло. — Захвати его, Михаил Кузьмич, только руль не давай. Прошлый раз чуть меня не забузовал в балку.

— Пора ему уже доверять баранку, не бойся, не погрызет ее. Мой Петька жарит во все лопатки...

— Так у Петьки другой батя.

Кучеренко на коне живописно выделялся на фоне выцветшего неба и обнаженных деревьев. Такого импозантного всадника трудно отыскать даже в казачьем крае. Из рейсового автобуса, запыленного, как голенище пехотинца, защелкали фотоаппаратами. Кучеренко держался невозмутимо, будто никого не замечая, и, чтобы не уронить себя в мнении зевак, попрощавшись, подкинул руку к надвинутой на лоб кубанке.

— Залезайте ко мне, — предложил Потапов Анне Сергеевне и директору лесхоза, — посудачим в дороге. Есть о чем...

Заремба, Харченко и Повалий поехали отдельно, по третьему развилку, к бригадному стану. Заремба вел машину хорошо. Пришлось ему немало поколесить в войну, добраться до европейских глубин, поставить и свою подпись на рейхстаге, потом послужить в районе Дрездена в танковой армии Катукова и вернуться домой с двумя орденами Славы и двумя Красной Звезды.

Все было будто вчера и в то же время так далеко, нынешние заботы почти стерли воспоминания.

— Не замечаете? Вроде зябко становится, — поежился Повалий.

— Это после пива, — буркнул Заремба. — Живут же приморские артельные ватажки. Паюсная пластами... Как, Григорий Васильевич?

— А по мне хоть век ее не будь, только к зубам липнет.

— Значит, семь лет мак не родил, а голода не было?

— Вроде того... Держи левей, опять тряхнуло...

Повалий повернул к себе смотровое зеркало, потер нос и щеки:

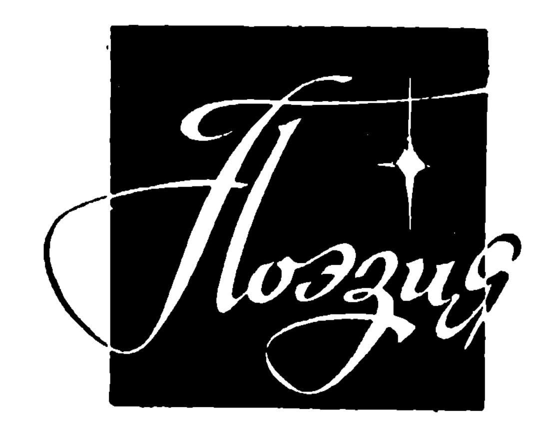
— Кровь стынет, Заремба.

— Рановато, — заметил парторг, — вот женишь Петра, произведет он тебя в ранг деда, как твоего покорного слугу моя доченька, тогда... Кстати, как будем отмечать Новый год, хлопцы? Мне, как партийному вождю, надо заранее знать... Будем, как удельные князья, по своим куткам или организованно?

Харченко недовольно пробурчал:

— Надо дожить до Нового года еще.

Продолжение следует



Татьяна ШЕХАНОВА

* * *

Снимите темные очки!
На мир взгляните сквозь капели,
Сквозь яблоки, что переспели,
Сквозь солнечных лучей пучки!

Взгляните сквозь густой туман,
Через лесную паутину,
Через осеннюю путину,
Где мчится листьев караван.

Взгляните сквозь росистый рай,
И сквозь дождинки на ресницах:
Ведь вам такое не приснится —
Здесь брызжут краски через край.

Биография **Татьяны Шехановой** пока может уместиться в несколько строк. Окончила среднюю школу. Работала библиотекарем. Сейчас учится на втором курсе Литературного института имени Горького...

Вполне закономерно, что ей не хватает еще жизненного опыта. Но это придет с годами. А самое главное у Татьяны Шехановой есть: она умеет смотреть на мир светло и солнечно, обладает проникновенным и певучим словом...

Эти стихи на страницах журнала «Молодая гвардия» — ее поэтический дебют перед всесоюзным читателем.

Геннадий СЕРЕБРЯКОВ

И спрячутся шмели-зрачки
В синь незабудки-недотроги,
И станет мир светлей намного.
Снимите темные очки!

* * *

— Спой мне песню!
— Какую?
— Про любовь, про красу.
Про печаль, что кукует
В дальне-дальнем лесу.

Спой про белое платье
И про черный платок.
Спой про русые пряди,
Про седой завиток.

Про березу и тополь,
Про рябину и дуб.
Про рассыпчатый топот
И негаданный стук.

Про прощанья и встречи.
Про веселье и грусть.
Про пути, что далече
Пораскинулись в Русь.

Спой про зори над тишью.
Спой про солнце в лугах.
Про ребенка, утихшего
На усталых руках.
Про траву в мелкой дрожи
И про солнечный дождь...
Вот такую ты сможешь?
Вот такую споешь?

— Я певала, да много ль?
Я слыхала, да всю ль?
Шла за ней по дорогам
И в февраль, и в июль...

Я начала не знаю
И конца не слыхать.
Песня эта сквозная —
Колыбель колыхать,

Ставить новые избы,
Травы звонко косить.
Жить — далеко ли, близко, —
Рядом с песнею
Жить.

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СБОРЕ

Тишина в зале. Слышно
Птицы в сквере галдят.
Ребятишки притихшие
На героя глядят.

Рассказать бы им надобно
Про гремящую смерть,
Как на черные надолбы
Шли, чтоб их одолеть,

Как вставали и падали,
Прикрывая поля.
Как рабочих и пахарей
Покрывала земля...

Но смущен он под взглядами,
Речь его недолга:
«Да чего там! Как надобно,
Крепко били врага!»

* * *

Была зима. Но полоскалось лето,
Встав в синей полынье на якоря.
И розовое платьице рассвета
Желтело на ладонях декабря.

Побег сосульки выпускала крыша,
Размокнув под изломами лучей.
Врывались в небо вслед за солнцем рыжим
Веселые династии грачей.

Пускала радость радуги по небу,
Пускалась в пляс по мостовым сама.
Земля таила вольный вздох под снегом.
И все-таки зимой
Была зима.

* * *

Не знаю, с чего я сегодня такая.
Сама не пойму, что со мною стряслось.
Не в вазе — в обычном граненом стакане
Не розы, а тонкие ветки берез.

Смотрю я на прозелень крохотных почек,
И верится — этой вот зимней порой
Раскроется аленький хрупкий цветочек
Над темно-коричневой влажной корой.

В углу подоконника в яростном свете,
В стакане, на донышке, солнце горит.
А в щели оконные тычется ветер —
Согреться в весеннем тепле норовит.

Запуталось солнце в серебряных гранях:
Аж больно смотреть, как дробятся лучи!
Зиме, видно, срок приближается крайний,
И ветки берез, как лучи, горячи.





Ольга РЕВЯКИНА

ЮЖАК

РАССКАЗ

Рис. С. АНТОНОВА

Мама увидела самолет и наконец поняла, что все на самом деле. ИЛ-18 похож на птицу, а маме кажется, что это хищник, который собирается меня проглотить.

— Таня, может, ты передумаешь? — в сотый раз спрашивает мама, и плечи ее вздрагивают.

— Мама, оставь эти шутки, я же распределенная.

Я стараюсь говорить веселым голосом, и у меня, кажется, это получается.

— Таня, у тебя каменное сердце... — всхлипывает мама.

— Мама, ты говоришь мне комплименты: там мне действительно понадобится каменное сердце, — пытаюсь я острить и замечаю, что мои остроты совершенно дурацкие.

Просто у меня такой характер: когда мне плохо, из меня рвется юмор, когда хорошо, он из меня тоже рвется. Таким образом, все думают, что мне всегда хорошо.

— Мама, пора! — говорю я и чувствую, что у меня дрожит голос.

— Таня, пиши каждый день, иначе я умру, — говорит мама и сует в мой саквояж какой-то сверток.

Это еда. Мама боится, что я буду голодная.

— Не надо, мамочка. В самолете меня накормят. Я буду есть осетрину под польским соусом.

Читал в рукописи рассказы **Ольги Ревякиной,** радовался хорошим, огорчался слабыми, внутренне противился стилю ее письма — «икотному» стилю короткой, рубленой фразы, что не в традиции милой моему сердцу русской классической прозы, но непрестанно говорил себе:

«А все-таки это здорово!»

«Это очень современно по содержанию».

«Это свежо, молодо, полно жизни...»

Литературные удачи Ольги Ревякиной пока не от мастерства, они — от таланта, необузданного в своей щедрости поделиться с людьми всем, к чему он успел прикоснуться в жизни. Поэтому такой искренностью веет от ее рассказов и поэтому так прозрачно узнается в них она сама — девушка-картограф, недавно шагнувшая с институтского порога в просторы магаданских снегов.

«Я раскладываю ватман, наношу сетку и начинаю чертить. Черчу и представляю, как из цифр и точек родятся берег моря, горные хребты, сопки. Я — словно волшебница! Под моей рукой возникает маленький кусочек Родины».

Можно наговорить много пышных и громких слов о любви к Родине, но все они будут лишь пустым сотрясанием воздуха в сравнении с этими простыми словами — такова сила искренности. А лучшие герои рассказов Ольги Ревякиной — очень естественные, правдивые, чистые люди, и потому они с такой легкостью достигают читательской любви. И главное — верится в их реальную, нелитературную жизнь на земле, рядом с тобой. Происходит сие потому, что рассказы Ольги Ревякиной лишены сочинительства, в них заявляет о себе сама

— Таня... — Мама почти плачет.

Я обнимаю ее и тоже почти плачу. Но это внутри. Внешне я улыбаюсь. Мама почему-то маленькая и беспомощная. Меня захлестывает неудержимая волна нежности. Я глажу маму и последний раз целую бледную щеку, соленую от слез.

Самолет рычит, гудит, трясется и набирает скорость. Желудок подкатывается к горлу. Значит, мы уже в воздухе. Мое место в хвостовой части. Самолет наклоняется, и я вижу в иллюминатор взлетную полосу, резко оборванную под крылом.

«До свидания, Домодедово», — думаю я.

Мне нравится слово «Домодедово». Я вообще люблю разбирать слова по частям. Домодедово — дом деда. Мой дом. Место, где я выросла. Патриархальное слово. Оно не вяжется со сверкающим аэропортом.

Сосед справа, здоровый парень, похожий на культу-

жизнь, сама молодость с ее порывами, с ее мироощущением, с ее раздумьями. И недаром в тех рассказах, где молодая писательница пытается сочинять жизнь, отступая от пережитого самолично, она терпит неудачи. Есть, к сожалению, у нее такие рассказы...

Новизной, свежестью проникнута, мне кажется, сама текстовая ткань рассказов Ольги Ревякиной. Иные ее строки — словно утренние цветы, обрызнутые росой. Вот как по-новому поигрывает у нее давно приболтавшаяся на языке каждого поговорка:

«Надо вместе съесть пуд соли. Люблю эту поговорку. Дадут двоим пуд соли и скажут — ешьте! Тот, который настоящий друг, постарается съесть больше, да сделать это так, чтобы другой этого не заметил».

У нее есть такие строки:

«Аэропорт светится в ночи, словно пробирка с адским пламенем».

«Телевышка похожа на скульптуру Маяковского, где он стоит, широко расставив ноги».

Ольга Ревякина выбирает непроторенный путь к литературе. Она ступает на него со своим видением мира, со своим, непохожим на предшественников, героем, со своим оригинальным словом.

Для писателя всегда радость пожелать молодому дарованию доброго пути в литературу.

И я с искренней радостью желаю тебе самого доброго пути, Оля Ревякина!

Сергей НИКИТИН

риста, бледен как полотно. Он меняет второй пакет. Стюардесса ждет. Наконец щеки парня розовеют. Он виновато смотрит на меня.

— Это только при взлете и посадке, — оправдываясь, говорит он.

— А я думала, что на протяжении всего полета, — отвечаю я с оттенком презрения.

Я понимаю, что он не виноват. Но, если я вижу мужчину в минуту слабости, он перестает для меня быть мужчиной. Наверное, я не права, потому что у каждого человека бывают минуты слабости. У меня самой сейчас такая минута — мне хочется уткнуться головой в какой-нибудь мягкий предмет и плакать.

«До свидания, дом!» — опять думаю я.

Я лечу на север, в Магадан. Когда в деканате я сказала, что хочу работать в Магадане, декан подумал, что у меня бред от переутомления. Пришлось выложить подробности семейной биографии. Мой отец был летчиком и погиб в одну из бешеных метелей под Магаданом. Там его могила. Я хочу увидеть могилу отца. Декан задумался и сказал:

— Но ведь вы женщина, трудно будет!

— Я дочь своего отца! — гордо ответила я.

Декан только пожал плечами.

Самолет в полете. Летим навстречу рассвету.

— Меня зовут Толя, — говорит мой сосед.

— Ну и что?

— А вас?

— Таня, — отвечаю я и не понимаю, зачем ему это нужно.

— Вы в Магадан?

— Да.

— Куда там?

— В геологический трест.

— Зачем?

— Работать. Я геодезист.

Толя весело улыбается:

— Мы коллеги, я там уже пять лет работаю. Я не женат.

— А меня это совсем не интересует, — говорю я.

— Это я так, для общего представления.

Мне нравится, когда у человека есть чувство юмора, я очень ценю это в людях.

— Толя, у вас есть одно достоинство, — говорю.

— У меня их очень много. Хотите, расскажу обо всех? — оживляется Толя.

— Если мы коллеги, то я сама их увижу.

Подходит стюардесса. Она похожа на одуванчик — худенькая фигурка и странно большая голова. Это из-за прически. Пушистые волосы почти стоят дыбом.

Мы едим. Правда, не осетрину, а добротно прожаренную курицу с огурцом. Пьем чай.

— Вы первый раз летите? — спрашивает Толя.

Я усмехаюсь:

— Я облетела почти весь Советский Союз.

— Опять совпадение, я — тоже, — отвечает он.

— И что, всегда с пакетами?

— Да, при взлете и посадке, — простодушно улыбается Толя.

Мне становится неловко, словно оказалась в дураках, и сразу Толя в моих глазах опять становится мужчиной.

Летим. Встречаем промозглый рассвет. Скоро Красноярск. Посадка. Толя вытаскивает пакет.

Город продувается со всех сторон. Ветер пробирает до костей. Самолет заправляется горючим. Ждем.

За бортом самолета ночь. Мне не спится. Толя похрапывает. Страшно одиноко, даже ломит виски. Мне кажется, что мы летим в космическом корабле, сбившемся с курса. Что ждет меня? Пустота? Пропасть? Нет. Работа, Север, ясные рассветы, люди, хорошие и плохие. Жизнь.

— Пристегните ремни, самолет идет на посадку! — говорит стюардесса.

Аэропорт светится в ночи, словно пробирка с адским пламенем. Звезды огромные и колючие. Я иду рядом с Толей. Хорошо, что я не одна. Входим в здание аэропорта. Люди ждут своих рейсов. То и дело по радио слышны незнакомые названия: «Омсукчан», «Анадырь», «Певек». Они звучат, как незнакомая северная песня.

— Песня, — говорю я Толе.

— Подожди, сейчас запоешь, — отвечает он.

Я обижаюсь — зачем такая проза? Толя открывает чемодан, достает серое пушистое одеяло.

— Зачем одеяло? — спрашиваю.

— Это не одеяло, — отвечает он и без моего согласия начинает заматывать меня в бесконечно длинный шарф.— В такой шубе, как у тебя, только в Анапе загорать, — поясняет он. Он говорит про Анапу, потому что

летит оттуда. Поэтому у него такое загорелое лицо и глаза кажутся особенно синими. Мы садимся в автобус и едем в Магадан. Ночую в гостинице.

Утро нестерпимо ясное. Белизна режет глаза. Город окружен сопками. Они похожи на гладкие сахарные головки с черными точками. Черные точки — деревья, похожие на кустарник, удивительно низкие, с кривыми стволами. Сегодня я бездельничаю, хожу по городу. Совсем не холодно, всего двадцать пять по Цельсию. Город уютный. Дома-коробочки, дома с колоннами. Больше коробочек.

Иду к берегу моря. Я часто бывала на Черном море. Море как море, напоминает большое озеро, если смотреть на карту. Здесь иначе. В душе трепет — Охотское море соединяется с океаном. Лед вздыбился. Это от ледоколов. Вокруг ледяной свет, звон, блеск. Ощущение неправдоподобности. Иду к телевышке. В двенадцать у меня первое свидание в Магадане. Меня ждет Толя.

В Москве у меня была сильная любовь. Я всегда бежала к Большому театру, ждала и робела. А он опаздывал. У нас все было шиворот-навыворот. Я дарила ему цветы и покупала билеты в кино. Но он любил женщин, одаренных во всех отношениях. А я не одаренная. Я самая обычная. Правда, у меня, говорят, красивые глаза и волосы. Но ему было этого мало. И в один прекрасный день он взял и женился на какой-то одаренной актрисе. Прошло уже два года. Он иногда звонил и спрашивал, как мои дела. Перед отъездом он тоже звонил. Я сказала, что иду на штурм Севера.

— Счастливо, — сказал он.

Вот и все. Правда, я уже все забыла. И только иногда мне снятся его руки на моих плечах. И потом весь день у меня ничего не клеится. Но теперь я, наверное, не буду видеть подобных снов — ведь нас разделяет десять тысяч километров.

Толя ждет меня. Телевышка похожа на скульптуру Маяковского, где он стоит, широко расставив ноги.

— Я уже тут, — говорит Толя.

— Вижу.

Мы идем рядом. Толя очень большой и пушистый — пушистая шуба, пушистая шапка, ресницы, пушистые от инея.

— Толя, где сопка Марчекан? — спрашиваю я с затаенным страхом.



— Вон, видишь? — показывает Толя рукой. — Там кладбище...

— Толя, пойдем на Марчекан?

— Зачем?

— Ты меня ни о чем не спрашивай...

Мы сворачиваем вправо. Мне почему-то становится страшно. Внутри холодно. Такое ощущение, что я проглотила льдину.

— Таня, я был в тресте. Оповестил начальство о прибытии специалиста.

— Ну и как, они рады? — спрашиваю и думаю о Марчекане.

— По-моему, не очень. У нас баб не любят, то есть я хотел сказать — женщин.

— Почему?

— Бегут. Работа полевая. Трудно.

— Я не сбегу, — уверенно отвечаю я.

Мы у подножия Марчекана. «Буду реветь или нет?» — думаю я. Мой отец погиб, когда мне было пятнадцать лет. Я любила его больше всего на свете. Я звала его «крылатый папка». Идем между могилами.

Я увидела его неожиданно — маленький памятник со звездочкой наверху. Маленькая металлическая табличка:

«Летчик-полярник
Петр Иванович Левин
1927—1964 гг.».

Я тупо смотрю на эту табличку. Меня обжигает память — сильные папины руки и горячие объятья.

— Таня, ты побледнела как полотно! Что с тобой? — испуганно спрашивает Толя.

Я молчу, потому что в горле комок. Потом справляюсь с собой.

— Толя! Моя фамилия Левина. Понимаешь? Здесь лежит мой отец. Пойди куда-нибудь. Я хочу побыть с ним вдвоем.

Толя неслышно уходит. Я достаю из кармана узелок с землей и высыпаю на папину могилу. Я сажусь на снег. Кто-то берет меня за плечи и поднимает. Это Толя.

— Таня, ты сидишь почти полчаса. Ты простудишься! Пойдем отсюда.

Мы спускаемся вниз по склону. Я иду молча.

— Таня, пойдем в трест? — спрашивает Толя.

— Пойдем, — отвечаю.

Мне совсем не хочется в трест. Мне хочется в Москву к маме.

Трест размещается в доме-коробочке. Он совсем новый. Стекло и металл сверкают. Солнце садится за Марчекан. Дом-коробочка золотисто-розового цвета.

За столом худой лысый мужчина.

— Сергей Сергеевич, это молодой специалист, Левина Таня, — помогает мне Толя. Мужчина протягивает руку с короткими ногтями. По правилам этикета мужчина должен дождаться, когда женщина первая подаст руку. Но для Сергея Сергеевича я не женщина, а молодой специалист. А может, он просто не знает никаких правил?

— Кудрявый.

«Почему Кудрявый, — думаю я, — когда он совершенно лысый?» — И до меня доходит, что это его фамилия.

— Татьяна Петровна Левина, — отвечаю.

— Что нам с вами делать? — спрашивает он отцовским тоном, перебирая на столе бумаги.

— Кому это вам и с кем это с нами? — спрашиваю. Я не люблю обобщений и неконкретных разговоров. Кудрявый удивленно смотрит на меня. Лицо его становится недовольным.

— У нас нет работы для женщины. Понимаете? Нет. Работа полевая. А на трассе сорок градусов. Я не могу рисковать. Придется вам чертить. Вы хорошо чертите?

У Кудрявого маленькие глаза и выступающая вперед челюсть. Выражение лица такое, словно он хочет укусить меня.

— Во-первых, я для вас не женщина, а геодезист. Во-вторых, рисковать будете не вы, а я, потому что речь идет обо мне.

— Но вы понимаете, что я несу за вас ответственность? Если что случится, с меня снимут голову...

Я сразу представляю его лысую голову на столе. Внутри глухое раздражение. Он мог бы сказать и другие слова. Например:

— Таня, я буду беспокоиться. Работа трудная для тех, кто к ней не привык.

Тогда бы я сказала:

— Ну что же! Пока поработаю на камералке, почерчу.

А когда человек говорит о своей снятой голове, значит на меня ему плевать. Я вообще не люблю людей, которым плевать на других. Я, видимо, очень долго молчу, потому что Кудрявый ерзает на стуле и переспрашивает:

— Так вы хорошо чертите?

— Я не могу хвалить сама себя.

— С вами трудно разговаривать, — говорит он, — и все-таки до весны в поле я вас не пущу.

Обидно, когда твоя судьба находится в чьих-то руках.

Кудрявый что-то пишет на бланке.

— Это ордер на общежитие, — поясняет он, — получите аванс, устройтесь! Работаем с девяти утра. До свидания.

Толя ждет меня в коридоре.

— Я провожу тебя до общежития.

Похоже, что он взялся меня опекать. С чего бы это? Общежитие совсем рядом. В комнате две кровати.

— Ты не знаешь, кто здесь живет? — спрашиваю я Толю.

— Катя. Она преподаватель литературы в вечерней школе. Твоя ровесница. Она невеста. У нее Петька в армии.

Я впервые буду жить в общежитии. Я не испытала всех прелестей студенческой жизни, потому что жила дома. Придется испытывать эти прелести с опозданием.

— Таня, надо отпраздновать твой приезд. У меня в шубе лежит коньяк.

Мне почему-то все равно. Это, наверное, от усталости. Ведь за последние трое суток я пролетела десять тысяч километров, осмотрела Магадан и устроилась на работу. Это не так уж мало.

— Дождемся Катю, — отвечаю я.

Подхожу к окну. Отсюда видно Марчекан. Мне становится очень грустно — буду каждый день видеть могилу моего отца. Думаю о том, как далеко мой дом, моя милая мама. Мне очень плохо и одиноко.

— Толя, ты посиди, — говорю я, — мне надо выключиться минут на десять.

Я пишу маме письмо.

«Здравствуй, мамочка! Я уже в Магадане. Долетела великолепно. Меня кормили осетриной под польским со-

усом. В аэропорту встретили с музыкой и цветами. Несмотря на зиму, здесь много цветов. Довезли до Магадана на оленях, укутав ноги пушистым пледом. В тресте меня ждали, словно дорогой подарок. Отвели большую комнату в одном из лучших домов города...»

Я останавливаюсь, потому что на этом мой юмор иссякает. С минуту смотрю за окно и продолжаю писать: «Я была на папиной могиле. Поклонилась от тебя и положила землю. Папина могила на высокой сопке. Ее видно со всех точек города...» Дверь открывается. Входит кругленькая румяная девушка в белой шубке и унтах. Я догадываюсь, что это Катя. Она почему-то сразу нравится мне. Даже издалека от нее пахнет яблоками.

— Здравствуй, — говорю я, — тебе придется жить со мной. Меня к тебе поселили. Меня зовут Таня.

Катя улыбается.

— Здравствуй, Таня. А Толя что здесь делает? — спрашивает она.

— Он меня опекает.

— С чего это ты взяла? — возмущается Толя и краснеет. — Катя, мы ждем тебя. Хотим отметить Танин приезд. Я с ней в самолете познакомился.

— Сейчас я что-нибудь соображу поесть, — говорит Катя, снимает шубу и из кругленькой превращается в худенькую. Она надевает фартук и уходит.

— Катя настоящий эрудит. С ней интересно поговорить. Она тебе понравится, — говорит Толя.

— Толя, мне понравилось то, что у нее доброе лицо,— отвечаю я. Последнее время я стала ценить людей совсем иначе, чем раньше. Мне важно знать, добрый человек или злой, сильный или слабый, отзывчивый или черствый. Эрудиция вещь приходящая, поэтому она не так важна.

Катя приносит с кухни массу ароматов. Я сразу понимаю, что хочу есть.

— Толя, принеси мой саквояж, — прошу я. — Мы устроим пир. Моя мама провожала меня в дальний путь, мой саквояж забит едой. Таких запасов хватит на роту солдат.

Я заваливаю стол бутербродами, консервами, апельсинами... Толя наливает коньяк в стаканы.

— Придется обойтись без коньячных рюмок, — гово-

рит Катя. — У меня их нет. У меня вообще нет рюмок. Когда приедет Петя, мы их обязательно купим.

— Таня, за твой приезд, — говорит Толя. — Я почему-то очень рад, что ты прилетела в Магадан.

Лицо у Толи счастливое. «С чего бы это?» — думаю я.

В комнате темно. Освещен лишь потолок. Это от уличного фонаря. Мы с Катей лежим в постелях.

— Таня, почему ты сюда распределилась?

— Стечение обстоятельств...

— А родители в Москве?

— Да...

— А почему ты пошла в геодезический?

— Ранняя романтика, с детства запало.

Это действительно запало с детства. Мы плыли по Волге. На дамбе стоял парень и смотрел в какой-то инструмент. Потом что-то писал в блокнот и махал руками, вглядываясь в берег. Солнце пекло его крепкое тело, ветер трепал светлые волосы.

— Геодезист, — объяснил папа.

Так и запомнилось на всю жизнь — блестящий инструмент с четкими сверкающими гранями и этот парень над Волгой.

— Таня, у тебя есть парень?

Мне почему-то становится смешно и очень приятно от такого простодушного вопроса. В Москве это не принято. Мы изображали современную любовь с долей безразличия и пренебрежения, хотя каждая из нас потихоньку плакала по ночам в подушку.

— Был, а потом женился.

— На ком? — в голосе Кати сочувствие.

— Не на мне, во всяком случае.

— Почему?

Сложный вопрос.

— У меня мало достоинств, — говорю я, и у меня дрожит голос.

— Мне кажется, ты его и сейчас любишь, — делает Катя неожиданный вывод.

— Нет, Катя. Просто он иногда снится мне по ночам. Давай спать, — предлагаю я.

Мне хочется побыть наедине с собой. Слишком много впечатлений.

Ровно в девять утра я предстаю перед Кудрявым:

— Доброе утро.

— Здравствуйте. С чего нам с вами начать?

Опять обобщает.

— Таня, я могу предложить вам крупномасштабную карту Омсукчанского района. Обработайте полевую съемку и беритесь за составление.

Я берусь. Я сижу, заваленная журналами вычислений. В глазах рябит от цифр. Внутри противное чувство обиды. Это оттого, что произошел разрыв между мечтой и действительностью. Мечтала попасть в поле. Поле — это самое главное для геодезиста. Там чувствуешь себя большим, ни на кого не похожим человеком. В поле моя любимая работа. На время я смиряюсь. Толя говорит, что не стоит пока рваться в поле — надо привыкнуть. Я почему-то прислушиваюсь к его мнению.

Толя работает за соседним столом. В основном мы молчим. Невозможно одновременно складывать, умножать, делить, писать и разговаривать. Каждые два часа мы отдыхаем в коридоре. Толя курит, а я просто стою рядом. Когда я училась в институте, то была единственной некурящей девчонкой в группе. Все остальные давились табачным дымом, стараясь небрежно держать в руке сигарету. Это было массовым явлением. Я не люблю массовости. Предпочитаю быть индивидуальностью. Думаю, что у каждого человека должны быть свои неповторимые привычки и мысли. С этого начинается человек.

— Таня, через неделю я уеду в поле, — в сотый раз повторяет Толя.

— Я исхожу от черной зависти. Не говори мне больше об этом, — отвечаю я.

— Ты приедешь ко мне? — спрашивает он.

— С какой это стати?

— Навестить. Я буду очень скучать по тебе.

— Но я-то не буду скучать, — говорю я и чувствую, что это неправда.

Это потому, что я привыкла к Толе. По-моему, он неплохой парень.

— Сегодня вечером пойдем в кино? — спрашивает Толя.

— Я подумаю, — отвечаю.

У Толи не очень богатая фантазия. Он почти каждый вечер зовет меня в кино. А я больше люблю читать.

Сейчас я читаю Чехова, поэтому думаю насчет кино.

— Таня, почему ты ничего не рассказываешь о себе? — часто спрашивает меня Толя.

— Я закрылась...

— Как это?

— Раньше я была слишком открытой, понимаешь? А все, что слишком, как правило, плохо.

— А я слишком открытый?

— Нет, в меру.

Я знаю о Толе, что он вырос в Якутске, окончил геодезический техникум. Не был женат. Но ведь это так мало, чтобы хоть немного знать человека. Впрочем, слова есть слова. Надо вместе съесть пуд соли. Люблю эту поговорку. Дадут двоим пуд соли и скажут: ешьте! Тот, который настоящий друг, постарается съесть больше, да сделать это так, чтобы другой этого не заметил. Толя докуривает сигарету, и мы опять садимся работать.

В комнату входит Кудрявый. Когда я смотрю на его лицо, у меня такое впечатление, что его долго натирали салом. Толя говорит, что Кудрявый бабник и трус. А я не люблю поспешных выводов, поэтому Сергей Сергеевич для меня просто начальник.

— Я закончила обработку, — говорю я. — Можно начинать карту?

— Не слишком ли быстро, Левина? Уж чересчур вы прыткие пошли, молодые. Надо все с расстановкой делать. Спешка к хорошему не приводит.

Кудрявый говорит все это с поразительной убежденностью, хотя еще в глаза не видел мои вычисления. Это он для солидности, чтобы не показаться моложе своих лет. Мне кажется, что он жалеет о своей худобе. Такие люди любят носить живот — отличительный признак начальственности. Самый несолидный человек в нашем тресте — это директор. Он маленький, подвижный, с рыжими волосами. Наш директор совсем молодой. Ему не больше тридцати пяти. Он тезка моего отца — Петр Иванович. Когда я его вижу, у меня бывает прилив нежности. Мне кажется, что директор легкоранимый человек. Такие у него глаза — добрые и беспомощные. Петр Иванович знает всех по имени и отчеству. Когда встречаешься с ним в коридоре, он улыбается и спрашивает:

— Что в вашей жизни светлого?

— Все, — обычно отвечаю я, хотя сейчас свет этот кажется мне сумеречным.

Я тоскую. Хочу в Москву. Рвусь туда. Присутствую там всем своим существом. Там моя родина. Здесь я — инородное тело.

Я плачу по ночам. Мне снится мама и Большой театр. По утрам ругаю себя размазней и заглушаю тоску юмором. Последнее время у меня это почти не получается. Я часто мысленно укладываю чемодан. В такие минуты я иду на Марчекан, вспоминаю свои слова: «Я дочь своего отца!» — и понимаю, что должна выстоять.

Сегодня Толя последний раз пришел в трест. Завтра его уже не будет рядом. Завтра он уезжает в поле.

Черчу и думаю о Толе. Я очень боюсь полюбить, потому что уже растратила часть себя попусту на человека, которому это совсем было не нужно. В любви я, наверное, ненормальная. Не умею любить наполовину. Отдаю себя всю. Целый год я ходила словно хмельная. Когда начинаю вспоминать об этом, я закрываю глаза: боюсь, что в них все написано. Я боюсь полюбить. Пусть уж лучше Толя едет в Омсукчан.

Подхожу к Кудрявому.

— Сергей Сергеевич, я начинаю карту.

Он минуты три тщательно рассматривает меня и, оставшись, видимо, довольным, произносит:

— Еще раз все проверьте!

Очень деловое замечание! Я раскладываю ватман, наношу сетку и начинаю чертить. Черчу и представляю, как из цифр и точек родятся берег моря, горные хребты, сопки. Я — словно волшебница! Под моей рукой возникает маленький кусочек моей Родины.

Прихожу в общежитие. Катя дома.

— Давай есть, Таня.

Катя хорошо готовит, а я вовсе не умею. Поэтому я отдаю ей деньги. Я вообще очень богатая. У меня много денег, я не знаю, куда их девать, и отсылаю маме. Мы с Катей ужинаем. В дверь стучат. Это Толя.

— Садись есть, — зовет его Катя.

— Мне некогда. Я на минуту. Таня, ты мне нужна.

На Катином лице ничего не выражается. Она просто идет на кухню, прихватив грязную посуду. Я молчу.

— Таня, — говорит Толя, — утром я уезжаю в Омсукчан. Мы не увидимся три месяца. Я буду очень скучать по тебе.

Я молчу. У меня внутри почти забытый холодок.

— Таня, можно, я поцелую тебя на прощанье? — спрашивает Толя.

— Нет, не надо. Это уже было. Понимаешь? Я истраченная. Не надо. Мы с тобой просто коллеги и отличные друзья.

Толя с минуту молчит.

— До свидания, Таня, — говорит он и выходит из комнаты.

Мне совсем плохо. Катя входит в комнату и обнимает меня. Я крепко прижимаюсь к ней и плачу навзрыд.

— Успокойся, Танюша! Ну успокойся!

— Я хочу в Москву, Катя. Не могу больше. Там мой дом, мои друзья. Уеду, уеду, — говорю я сквозь слезы.

Катя отводит руки.

— Размазня, — тихо говорит она, — я думала, что ты сильная, а ты размазня. Собирай свои чемоданы...

Мы лежим с Катей в постелях.

— Таня, я не знала, что у тебя здесь похоронен отец. Почему ты ничего не говорила? Почему ты так мало о себе говоришь? Ведь так трудно жить. Ты словно в панцире. Почему?

— Меня здорово стукнули, Катя. Я была вся нараспашку.

— Тот человек, которого ты любила?

— Да, он сделал мне очень больно. Я была искренняя, а он принимал это за глупость. Я была нежна, а он считал, что у меня нет характера.

— Нельзя же на всю жизнь замыкаться. Зачем ты отталкиваешь Толю? Это не парень, а клад. По-моему, он тебя любит.

— Нет, Катя. Только не это...

— Ты боишься любить, а я боюсь разлюбить. Я обворую сама себя. А сейчас у меня есть Петр. Я жду его и замираю от счастья.

Толя давно в Омсукчане. Это рядом. Пятьсот километров по трассе. Я работаю одна. Иногда заходит Кудрявый и подолгу рассматривает меня, делая вид, что проверяет, на месте ли я. Я всегда на месте. Куда я могу

уйти? Работаю каждый день почти до десяти. Работа меня увлекла. Сейчас рассчитываю океан. Потом буду его чертить.

Пишу маме письмо.

«Здравствуй, мамочка!

Это тридцатое письмо. Сегодня ровно три месяца, как я в Магадане. Живу великолепно. Скучаю только по тебе. А об остальном нет. Магадан ни капельки не хуже Москвы. У меня появились друзья. К тому же я чертовски богата. Хочу покупать шубу из соболей. Замуж пока не собираюсь. Вот когда построю собственный дом на океане и куплю ледокол, тогда подумаю. Сейчас мужчины любят богатых невест. Мамочка, мне кажется, что скоро наступит матриархат. Вся инициатива переходит в наши руки. Как этот вопрос обстоит в Москве? В поле не была ни разу. Растолстела и стала бумажной душой...»

В комнату входит Кудрявый.

— Таня, что вы делаете вечером?

— Работаю.

— Может быть, сходим в ресторан?

Это для меня новость. «Впрочем, почему бы и нет?» — думаю я.

— Давайте сходим.

— Вы серьезно? — переспрашивает Кудрявый.

— А что здесь странного? Вы пригласили меня с тем расчетом, что я откажусь?

— Что вы, Танюша! Я очень рад. Просто не ожидал...

Итак, сегодня в первый раз иду в ресторан со своим начальником.

Ресторан сверкает. Хрустальные люстры позвякивают. Музыка дурманит. Я немного хмельная. Стоит посмотреть на Кудрявого — трезвею. Мне кажется, что он хочет меня проглотить. Говорить нам совсем не о чем. То молча сидим за столиком, то танцуем. Выходим из ресторана на мороз. Мне становится хорошо.

«Интересно, что сейчас делает Толя?» — почему-то думаю я.

Кудрявый провожает меня до общежития.

— Спасибо, Сергей Сергеевич, — говорю я и протягиваю руку.

Он крепко хватает меня и с силой стискивает. Я не успеваю опомниться, а его руки уже шарят по моей шубе, отыскивая пуговицы.

— Таня, пойдем ко мне, — шепчет он и дышит на ме-

ня перегаром. — Я так давно мечтал об этой минуте, Танечка! Только никому ничего не говори. Я сейчас один. Жена у сестры, пойдем...

Я отталкиваю его и вдруг чувствую его костлявые руки под шубой. Изо всех сил вырываю руку и наотмашь бью по лицу. Раз, потом второй...

— Вы бабник и трус, — громко повторяю я Толины слова.

Теперь это и мое мнение.

— Дура, — обиженно говорит Кудрявый.

Я поворачиваюсь и ухожу в подъезд. На меня нападает странное спокойствие.

— Как в ресторане? — спрашивает Катя.

— Великолепно! У меня был самый галантный кавалер в мире!

Утром я спокойно здороваюсь с Кудрявым. У меня нет никакого отвращения к нему. Просто он перестал для меня быть мужчиной.

Мне его жалко.

Я иду к директору.

— Здравствуй, Танюша! Что в твоей жизни светлого?

— Почти все.

— А что в таком случае темного?

— Я хочу в поле, а меня не пускают.

— Да, да, я слышал. А тебе не кажется, что рано? Ты привыкла к морозам?

— Я чувствую себя как рыба в воде.

— Пока только в командировку, Таня. Согласна?

Я киваю. Конечно, согласна.

Петр Иванович снимает трубку телефона:

— Соедините с Кудрявым... Сергей, Левину командируй в Омсукчан на недельку. Ей пора к полю привыкать...

— Спасибо, Петр Иванович!

— Счастливо, Танечка! — Он жмет мою руку.

От него веет добротой и ясностью. Такое ощущение, что он светится.

Заканчиваю третью в своей жизни карту. Завтра утром я еду в Омсукчан. Название похоже на скрипучий деревянный предмет. «Чан, сделанный из сучка», — думаю я.

В конце рабочего дня в мою комнату заглядывает Кудрявый. Я не поднимаю головы, но знаю, что это он.

— Ну и катись, — говорит он и захлопывает дверь.

Мне становится неудержимо весело. Я смеюсь. Я почти счастлива.

Я тихо бреду по городу. Что-то изменилось. То ли воздух стал теплее, то ли мне просто хорошо жить на свете. Парк совсем пустой. Только музыка. Поет итальянский певец Джанни Моранди. Песня называется «Игрушка». Девушка любила, а ею играли, ее ломали и калечили, как игрушку. А она все равно живет и смеется. Эту песню я хорошо помню. Звучит проигрыш. Много скрипок поет в морозном воздухе. Мелодия пронзает меня насквозь. Я хочу побежать. Куда? Зачем? В Омсукчан...

Трасса идет на подъем. Автобус гудит и ухает. Становится холоднее. Въезжаем на Колымский хребет. Наконец вижу реку Колыму. Широкая заснеженная лента в бесконечном белом просторе. Я никогда не видела так много воздуха и простора. Захватывает дух. Снег чистый и ровный. В небе гул самолета. Накатывает тоска и сразу проходит. Автобус останавливается. Омсукчан.

Я ищу вторую геодезическую партию. Маленький деревянный домик. Заглядываю в светящееся окно. За столом трое мужчин, Толи нет.

— Здравствуйте! Я к вам из Магадана.

— За что такой сюрприз? Может быть, мы совершили что-то хорошее и не знаем об этом? — спрашивает высокий белокурый парень и протягивает мне руку. — Юра Глебов.

— Таня.

Второй парень — якут. Смуглый, раскосые глаза.

— Витька.

— Таня.

Третий — коренастый, черные волосы, большие черные глаза.

— Андрей.

— Таня.

Пьем чай.

— Как в Магадане, Таня? — спрашивает Андрей. — Мы тут скучаем. Там у меня сын растет, а вижу редко...

— Магадан стоит, — отвечаю, — и жизнь там прекрасна и удивительна.

В институте со мной учился Колька Зимин. Его часто

били. Не потому, что хотели избить, а потому, что он сам лез в драку.

Избитый Колька вытирал лицо и говорил:

— Жизнь прекрасна и удивительна!

Это было, видимо, от избытка чувств. Каждый по-своему ощущает полноту жизни. Я чувствую, что мои раны почти зажили, жизнь наполняется огромным смыслом, поэтому я вспомнила Колькину поговорку.

— Вы замужем, Таня? — спрашивает Юра Глебов.

— Нет, — отвечаю.

Мне не нравится Глебов. У него недобрый взгляд. Зато очень нравится Витька. Его раскосые глаза напоминают мне глаза какого-то доброго зверя.

— А где сейчас Толя? — спрашиваю.

— На Аркагалинскую ГРЭС уехал. Будет через десять дней.

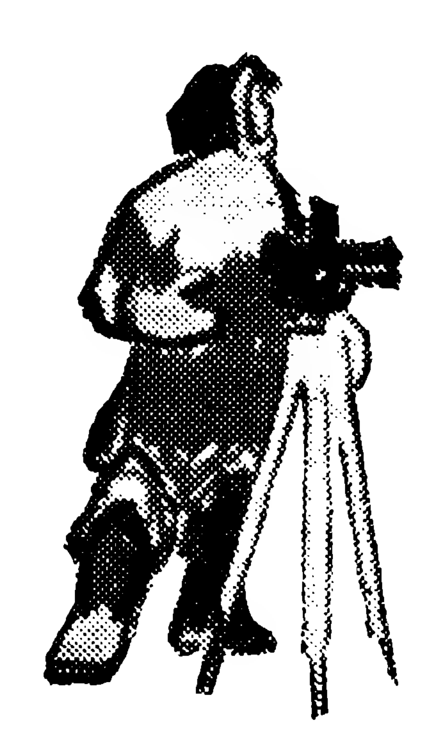
«Значит, я его не увижу», — думаю я, и мне становится грустно.

— Ребята, я хочу поработать за инструментом, — прошу я.

— С удовольствием уступлю свое место... — сразу реагирует на мои слова Глебов. — Я последнее время стал мерзнуть.

Ложимся спать. Меня укладывают у печки. Стены дома потрескивают. Стоит ясная лунная ночь. Я сладко засыпаю.

Нестерпимый холод. Тело пронизывают маленькие тонкие иголочки. Я устанавливаю теодолит, и мне вдруг становится жарко. Чувствую, как стосковались руки по звонкому металлу винтов. Смотрю в теодолит, начинаю съемку. В теодолите все вверх ногами. Это называется «перевернутое изображение». Смотрю в трубу. Андрей стоит на голове и держит рейку. Я бы с удовольствием поставила перед теодолитом Кудрявого. Приятно поставить неприятного человека вверх ногами. Меня охватывает ажиотаж. Я уже не мерзну. Руки все помнят. Я диктую цифры. Витька записывает. Перехожу на новую точку, потом на третью, потом на четвертую...



Наверное, проходит много времени, потому что Андрей кладет рейку и подходит к нам с Витькой.

— Таня, ты хорошо работаешь, но пора домой. Уже поздно.

Закат падает на снег, разрывает небо на огромные красные клочья.

— Может быть, еще поработаем? — спрашиваю.

— Трассу закончили. Завтра начнем другую.

Сразу начинаю зябнуть. Закат полыхает вполнеба. Розовый снег, красный горизонт. За этим горизонтом Аркагала. Там Толя. Почему я думаю о нем?

Уже шесть дней я живу в Омсукчане. Я чувствую себя на месте. Это моя работа, для которой я рождена. Неприятно думать о том, что завтра уезжать. Прощальный вечер. Я танцую с Витькой. Искрятся его раскосые глаза, блестят белоснежные зубы. Андрей играет на гитаре. Глебов рассматривает меня. У него взгляд почти как у Кудрявого.

«Он тоже бабник и трус, — думаю я и сразу обрываю себя. — Нельзя делать поспешных выводов».

Утром ребята провожают меня. Я почему-то все смотрю на дорогу, туда, где за длинными километрами стоит Аркагала.

— Приезжай, Таня! Мне кажется, что мы сработаемся, — говорит Андрей.

Я вырываю листок из записной книжки и пишу:

«Толя, я хочу тебя видеть». Протягиваю листок Андрею.

— Передай, — говорю.

Он понимает, кому надо передать. Глебов ухмыляется. Сажусь в автобус. Хочется выскочить и остаться. Автобус набирает скорость, ныряет вниз и резко идет на подъем. Пересекаем Колымский хребет.

Зима отступает. Я работаю и жду весны. С моря дует влажный ветер. Я заканчиваю пятую карту. Директор говорит, что из меня получится неплохой картограф. А меня все больше тянет в поле. Я часто пишу маме письма, но уже не тоскую по Москве. Мой недуг прошел. У меня есть любимые места в Магадане. Я люблю парк, люблю улицу Ленина. А от телевышки видна бухта Гертнера. Здесь ее называют Веселой. Над бухтой в любую

погоду, словно облако, висит золотой светлый воздух в форме причудливого замка.

Я часто думаю о Толе. Я не видела его почти три месяца. Мне обидно оттого, что я забыла его голос и глаза.

Я много работаю. Засиживаюсь допоздна. Кудрявый почти не разговаривает со мной. Смешно... Скорее мне надо на него дуться. Впрочем, у каждого свои особенности.

Здание треста сейчас почти совсем пустое. Внизу гремит ведрами уборщица. Открывается дверь. В темном прямоугольнике двери Толя.

— Таня, я приехал. Здравствуй!

— Здравствуй.

— Ты ждала меня?

— Нет.

— Ты хотела меня видеть?

Я молчу. Толя снимает шапку, подходит совсем близко ко мне, опускается на корточки.

— Таня, я так рвался к тебе... Я на один вечер.

Он кладет голову мне на колени. Я теряюсь и несмело опускаю пальцы в густые светлые волосы. На душе спокойно и радостно.

Тихий вечер. Катя читает вслух Блока. Толя сидит рядом со мной. Он похож на огромного доброго зверя, притихшего и счастливого. Почему? Ведь я ничего не сказала ему сегодня. Толя уходит.

— Я буду ждать тебя, Таня...

— В мае приеду.

— Я совсем забыл, от ребят большой привет. Они тоже ждут тебя...

— Я очень хочу их увидеть.

— Таня, можно, я поцелую тебя?

— Не надо. Я еще не оттаяла.

На первомайскую демонстрацию я иду вместе с Катей. Мороз еще крепкий, но в воздухе уже неистребимый запах весны. Через два дня я улетаю.

Катя сама укладывает мой рюкзак.

— Танюша, пиши. Не забывай меня, — говорит она.

— Как же я могу тебя забыть?

— Ты будешь работать вместе с Толей?

— Да.

— Таня, скажи, ты любишь его?

— Я еще не знаю. Но он очень дорог мне.

Мы с Катей покупаем цветы и идем на Марчекан. Я кладу букет на могилу.

— До свидания, папа, — говорю я. — До зимы...

— Я буду приходить сюда, Таня, — говорит Катя, — скоро приедет Петя, мы будем приходить вместе.

Мы спускаемся с Марчекана. В шесть часов мой самолет. Катя провожает меня до агентства.

— Таня, ты так изменилась.

— Я открываюсь, Катенька. Я опять полноценный человек. Теперь даже будущая боль не так страшна.

Я целую Катю в теплую щеку и сажусь в автобус. Город проносится за окном и остается позади.

Стоит северное лето. Мы работаем втроем. Толя, Глебов и я. Андрей с Витькой на другой трассе. Утра стоят ясные и холодные. Трава чистая, покрытая толстым слоем росы. Ее можно пить. Сначала стынут руки. Лезу на сигнал — десятиметровую вышку для съемки. Такие сигналы стоят по всей нашей стране. Ветер шумит, ударяясь в стояки сигнала. Поскрипывают деревянные стояки и лестница под ногами. Кажется, что я взбираюсь на мачту старого корабля. Еще минута — и я наверху. У моих ног лежит северная земля. Разноцветные пятна травы, блестящая Колыма. В ней плещутся редкие голубые облака. Ветер старается сорвать с меня одежду. Устанавливаю теодолит. Он сверкает никелированными частями. Стою над северной землей, словно бог.

— Таня, начинай, — кричит Толя.

Работаю, пока не начинает ломить руки от пронизывающего ветра. Шум ветра похож на незнакомую северную песню, дикую и немного грустную. Спускаюсь вниз. Становится жарко. Толя растирает мои руки.

— Танька, ты совсем озябла, — Толя заглядывает мне в глаза. Я постоянно чувствую на себе его добрый взгляд. Глебов с ним почти не разговаривает. Еще месяц назад в одном из разговоров за чаем мы выясняли смысл жизни. Выяснили, что у меня и у Глебова смысл жизни разный.

Лежу на траве, отдыхаю и греюсь. Толя наверху. А здесь почти нет ветра. Смотрю, как резвятся облака.

Принимают разные очертания, кувыркаются. Они похожи на маленьких белых медвежат. Наступает вечер. Мы собираем чернику. На сопках черничные джунгли. Запускаю совок с густыми зубьями в черничник. Ведро наполняется за десять минут. Глебов уходит сразу, прихватив инструмент. Идем с Толей вдвоем. Я рада, что мы вдвоем. Я люблю такие минуты.

— Таня, скоро кончается лето. Оно здесь недолгое...

— Толя, но ведь будет следующее лето. Потом еще одно, потом еще...

— Ты очень устаешь, Таня?

— Я устаю, как экскаватор или как подъемный кран. По вечерам у меня все болит...

— Может быть, отдохнешь недельку?

— Я и так отдыхаю. У меня в душе штиль. Скоро я буду совсем отдохнувшей.

— Таня, а ты заметила, как изменился Юрка? Стал молчаливым и даже немного задумчивым... Не знаешь, что с ним?

— Не знаю, Толя. Может быть, у него внутренний перелом?

— Танечка, скоро улетаем в Певек...

— Певек — песня...

Мне очень нравится это слово. Оно похоже и на песню, и на опенок — маленький гриб, который растет под Москвой.

Вечером пишу маме письмо.

«Здравствуй, мамочка!

У нас стоит лето. Курортный сезон. Целыми днями купаюсь в океане и загораю. В океане вода почти горячая. Ее кто-то регулярно подогревает. Акулы плавают рядом, но нас не трогают. Они здесь все ручные. Ты знаешь, мама, у меня отпала необходимость покупать собственный дом и ледокол. Мой жених не любит богатства. Он из породы бедных принцев...»

Осень. Низкое небо роняет дожди. Тундра в бурых пятнах. Ребята укладывают рюкзаки. Улетают втроем. Мы с Толей завтра утренним рейсом — производственная необходимость. Вечером прилетит Алпатов, инженер из треста. Заберет нашу работу.

Алпатов передает мне письма, целую кучу. Три письма от мамы. Бумага пахнет мамой. Письмо от Кати.

«Танюша, здравствуй!

В моей жизни все изменилось. Приехал Петя. Мы живем вместе. Он спит на твоей кровати. Я надеюсь, что не будешь против? К вашему приезду купим коньячные рюмки и отпразднуем свадьбу, когда вы прилетите из Певека. Очень скучаю по тебе. Огромный привет Толе...»

Беру в руки последнее письмо. Мне становится жутко. Знакомый почерк, знакомое чувство холода внутри. Зачем он прислал это письмо? Почему у меня дрожат руки? Неужели я все еще люблю его? Нет, просто жжет память. Я не открываю конверта, а просто кладу письмо в карман.

Лежим с Толей в темноте. Толина раскладушка поскрипывает. Я лежу с закрытыми глазами.

— Таня, ты спишь?

Может быть, промолчать?

— Нет, Толя.

— Можно, я посижу с тобой рядом?

— Посиди...

Огромная Толина фигура движется по темной комнате. Толя садится на краешек моей раскладушки.

— Таня, сейчас я поцелую тебя.

Я молчу. Мне страшно. Я почти чувствую на своем лице Толины губы. Нет, это другие губы, другие руки. Память прорезает далекая ночь. Нежность и голова кругом... Толя наклоняется...

— Нет, Толя, не торопись. У нас впереди огромная жизнь. Все наше достанется нам, и никому больше. У меня в кармане лежит письмо. Достань его и порви.

— От кого это письмо? — голос у Толи почти испуганный.

— От совсем чужого мне человека. Да это неважно. Важно то, что я рву его. Понимаешь?

Толя достает письмо. Может быть, остановить его? Слышу шорох порванной бумаги.

— Толя, давай спать!

Певек стоит на Чаунской Губе. Это северный порт с коротким периодом навигации — всего три месяца. Я часто слышу слово «южак». Теплое слово. От него пахнет Черным морем. Южак — самый страшный ветер в здешних местах. Он подкрадывается незаметно, как и любая беда в жизни. Обрушивается сразу, смешивает небо с землей. Неистовствует, разрушает, губит. Это продол-

жается недолго, но остается ощущение пожарища. Выживает все самое сильное. Олени, зарывшиеся в снег, дома, крепко вросшие в здешнюю почву. Все инородное гибнет.

День морозный, небо голубое, с красными полосками облаков. Тишина. Ветра почти нет. Идем по трассе с Глебовым. Я у инструмента, Глебов записывает. Толя далеко впереди с рейкой.

В лицо ударяет упругая струя воздуха — теплого и немного влажного. И вдруг обрушивается снег. Он падает сверху и поднимается с земли. Ветер пытается оторвать меня от инструмента.

— Южак! — кричит Глебов, в его голосе ужас. — Бежим! — Он с силой тянет меня за рукав.

— Инструмент погибнет! — кричу я и почти не слышу своего голоса.

— Черт с ними...

— Где Толя?

— Черт с ним, с твоим Толей, бежим!

— Ты подлец! — ору я не своим голосом и с силой откручиваю винты теодолита.

Я знаю сейчас одно — теодолит надо снять со штатива и положить на снег, иначе он разобьется вдребезги. Глебов рвет меня за рукав.

— Найди Толю! — опять кричу я.

— Дура! Подохнешь здесь! — это его последние слова.

Он скрывается за снежной стеной. Я опускаю теодолит вниз и с ужасом чувствую, что идти уже невозможно. Ветер не дает сделать ни единого шага.

— Толя, — кричу я, — Толя, где ты?

«Только бы не погиб!» — стучит в голове.

— Толя, я люблю тебя!

Я без сил опускаюсь рядом с теодолитом. Теперь мне все равно. Я хочу спать. Наваливается теплый душный сон. Сознание почти гаснет. Последнее, что я чувствую,— прикосновение к щекам чего-то горячего...

Открываю глаза. За окном солнце. Рядом со мной сидит Толя. За столом Андрей и Витька.

— Толя, ты жив?

— Ребята, Таня очнулась!

Ребята подбегают к кровати.

— Я долго спала?

— Почти неделю...

— Многовато! А где Глебов? С ним ничего не случилось?

— Ничего. Просто он улетел в Магадан...

— Толя! Это ты вытащил меня из-под снега?

— Кажется, я...

— Толя, — говорю я и замолкаю, потому что у меня в горле комок. — Толя...

Витька и Андрей неслышно исчезают. Я с трудом приподнимаюсь на кровати и с силой закидываю руки на Толины плечи. Он бережно обнимает меня, и глаза его сияют.

— Теперь держи меня крепче, Толя, чтобы никакой южак не смог разлучить нас. Держи меня изо всех сил. Я теперь не сломаюсь, я оттаяла... Я люблю тебя. Мы будем сильными. Пусть минуты слабости в нашей жизни будут очень короткими...

— Только при взлете и посадке, — смеется Толя.

■



Николай **УШАКОВ**

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

* * *

Жасмин отцвел в лесу,
и нет
ромашки в поле и гвоздики.
Прими
мой избранный букет
из тимофеевки и вики.

Прими его в тот поздний час,
когда лучи уже так косы,
когда проскакивают козы
через дорогу
мимо нас.

* * *

На берегах пустынных вод
к стеклопосуде мы привыкли...
Юнец верхом на мотоцикле
барьеры пикников берет.
Меж ящиков
и бочкотары,
задев с размаху деревцо,
он,
прыгая через гитары,
к закускам правит колесо.

Босой, среди фужеров скачет,
бензина оставляя чад.
Хохочет бабка.
Внучка плачет.
А чайки на море
молчат.

* * *

К величайшему сожаленью,
в наилучший из вешних дней
начинаются искушенья,
появляется
первый змей.
Он сползает с дерева чинно —
обходительнейший такой.
Предлагает нож перочинный,
управляет твоей рукой.
Ты разлюбишь поздно ли, рано —
у деревьев свои дела.
Ни к чему им вечная рана —
это сердце,
эта стрела.





Георгий ЕФИМОВ

«МЫ НЕ РАБЫ!»

— «Мы не рабы!..» — неспешно, по слогам
читала бабка, складывая фразу,
за буквой — буква.
Далеко не сразу
высокий смысл открылся ей.
Но там
она была до слез удивлена,
когда из букв легко возникло слово,
когда глухонемые письмена
вдруг зазвучали радостно и ново.

Подумала: «И правда, не раба!..»
Да только ли она? Всему народу
Октябрь навеки даровал свободу —
у каждого в руках своя судьба.

Народу надоела темнота,
ее он электричеством выводит
и под бумагою взамен креста
фамилию старательно выводит.

Пусть подпись неказиста.
Не беда,
что почерк до конца не отработан.
Есть люди. Есть наука. Есть мечта.
А космос рядом, под руками:
вот он!

В судьбу и кровь народа моего,
о новый день!
Ты влился свежей кровью,
и я безмерно счастлив оттого,
что мне идти твоей веселой новью!..

Мне этот день не позабыть вовек.
«Мы не рабы!» —
слова простые эти,
как песню, поднимает Человек
и высоко проносит по планете!

ЗВЕЗДЫ

Никогда не думалось об этом.
Не хватало времени.
А зря:
посмотри, каким высоким светом
светят звезды,
на небе горя!

Мы шагали сквозь бои и беды
ради счастья матери-земли.
Это мы с тобою в День Победы
небеса салютами зажгли!

С той незабываемой минуты
в честь погибших и живых солдат
звезды, как бессмертные салюты,
над землей торжественно стоят.

Перевел с чувашского Вл. Фирсов

* * *

Если у дерева крепкие корни, —
право же, буря ему нипочем!
Чем они глубже, тем тверже, упорней
дерево будет стоять на своем.

Встанет над берегом всплеском зеленым,
в светлую реченьку тень уронив,
и побежит, заструится по кронам
солнцем пронизанный, светлый мотив.

ЗЕРНО

Холодами дохнула зима.
Спелым солнцем полны закрома!
В каждом зернышке,
мертвом на вид,
жизнь янтарною каплей горит.

На морозе трещат дерева,
но ему холода трын-трава.

Чуя запах земли по весне,
набухает оно в полусне,

чтобы лечь в борозду,
и потом
в колоске повториться литом...

Золотое, оно искони
человечьему сердцу сродни:

Ляжет в добрую почву зерно —
сотни новых подарит оно.

А почувствует сердце тепло —
даже полночью станет светло!

* * *

Чем ближе подступают холода,
тем песня соловьиная короче,
тем яростней высвечивает ночи
резной листвы горячая руда.

Ну что же,
время требует свое:
желтей, седей — оно не пожалеет.

Но пусть оно затронуть не посмеет
поэзию, живую плоть ее.

И пусть весною песня соловья
звучит во мне,
звучит не умолкая,
загадочная, вечно молодая,
моя любовь
и молодость моя!

Перевел с чувашского Юрий Паркаев





Иван ЛЫСЦОВ

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ

Славлю
над страною обновленной
До зари идущий белый снег,
Так идущий,
что,
неутомленный,
До кровинки дивом удивленный,
Шаг свой
замедляет
человек!
Славлю
над страною перекличку
Вьюг,
садов,
моторов
и солдат,
Грибников
аукаться привычку,
Каждую травинку-невеличку,
Повторимость
праздников
и дат!
Продолжайся вечно, эстафета
Песни этой,
заданной певцам
Жизнью нашей
и страной вполсвета —
На века,
на все иные лѐта,
Чтоб
сынам — взрослеть
и молодеть —
отцам!

* * *

Наделяла меня родная
Светлым даром: — Возьми, сынок,
Повольготничай в отчем крае,
Погуляй у дубрав, дорог.

Песен добрых людей послушай
Да посилься сложить свою.
Ты вдохни в нее диво-душу,
А напев я тебе даю:

«Ой сходило сиянье
С облаков на снега.
Прилетали к поляне
Два извечных врага.

Черный ворог — стервятник,
Голубь — друг голубой...»
Ой, не знаю, касатик,
Чем покончится бой!

Наделяла меня родная
Светлым даром: — Бери, сынок,
Пусть всегда тебя осеняет
Сила добрая, зло — не впрок.

Ну а если уж надо будет
В небе голубя отстоять,
Ты сумеешь и злую бурю
На себя
как боец
принять!

* * *

В весеннем небе, над землею талой
Летит косяк степенных журавлей.
И нет им дела до солдат, устало
Присевших возле грозных батарей...

Зато тебе дороже нету в жизни
Тех журавлей и этой вот земли —
Клочка земли твоей большой Отчизны,
За чью весну отцы в сраженья шли.

И пусть сейчас мечты нет слаще в мире,
Чем под шинелью вымокшей уснуть,
Но ты готов по зову командира
Подняться и опять продолжить путь...

Так много наша Родина видала
И столько всяких бед перенесла,
Что ты, солдат, не вправе быть усталым,
Верша свои нелегкие дела.

* * *

О чем рассказывает речка,
На перекате лепеча?
О том, что вовсе недалечко
Она струится из ключа.

О том, что очень, очень мало —
Нетерпелива и юна —
Она в пути своем видала
И мало сделала она.

Конечно, это так отрадно:
Белье хозяйкам полоскать,
Ребят, пришедших поотрядно,
С разбега брызгами обдать!

Но ей так хочется иного:
Войти царевной в дальний лес,
Качать плоты кряжей сосновых,
Вращать турбины мощных ГЭС...

Бурли, задорная речонка!
Понятны мне мечты твои.
И по соседству так же звонко
Стремятся речки и ручьи.

У всех у них судьба простая,
С твоею схожая судьбой.
И все они, как ты,
стекаясь,
Струятся Волгою-рекой...

ДРЕВКО

Мой сосед по праздничной колонне —
Старичок.
Он бел, что яблонь цвет.
Я сейчас отчетливо припомнил:
В «Правде»
был на днях его портрет.
Это он рассказывал ребятам,
Окружившим
старого
в Кремле,
О боях
в революционном Пятом
За победу правды на земле...
Он идет, ровесник поколенья,
Чьей судьбе завидуем сейчас.
От большого солнца щурясь,
Ленин
Смотрит
с его ордена
на нас.
Вся Земля
идет за нами
следом
В этот светлый праздник
поутру.
— Отдохните, —
говорю я деду.
И древкó
из рук его
беру.





ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ТОВАРИЩ

У КРАЯ ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ!

СО ДНЕЙ мальчишества самыми отчетливыми воспоминаниями остались два: как по вечерам он, Мишка, ждал с работы отца и какими ослепительно серебряными были в закатные часы взлетавшие в отдалении и заходившие на посадку самолеты. Мишка почему-то был уверен, что каждого из них выпустил, как голубя, в небо отец — заводской авиамеханик.

Отец приближался к дому неспешно, сунув в карманы отяжелевшие за день руки, и подмигивал Мишке:

— Сегодня, брат, мы с тобой на щи вполне заработали!

Мишка любил смотреть, как отец неторопливо смывает с рук темное, въевшееся в поры масло, как потом с обстоятельностью, с какой, должно быть, и на заводе он делал свое главное дело, помогает матери собирать на стол. Отец садился на хозяйское место, в голове стола, и говорил матери:

— Ну-ка, мать, плесни щей рабочему человеку...

Она подавала ему тарелку, ложку, хлеб и делала это весело, радостно даже. А Мишка глядел на них и мечтал стать когда-нибудь таким же, как отец, уверенным, спокойным, и чтобы у него руки были такими же ловкими и надежными; мечтал о таком дне, когда и он однажды придет вот так, вечером, и скажет с порога:

— Ну-ка, мать, плесни там чего-нибудь рабочему человеку...

А Скородумов-старший подробно — должно быть, специально для Мишки, так, по крайней мере, ему думается теперь — рассказывал о заводских новостях, о самолетах, с которыми ему пришлось иметь дело, и у него получалось, что самолеты все равно как люди, каждый с характером и с гонором. Мишка знал: значит, и нынче день кончился отцовой победой. А за окном, далеко, над самым гасну-

щим горизонтом, кружили, вспыхивая в последних солнечных лучах оперением, самолеты, и Мишке казалось, что лучшей работы, чем отцова, нет на земле. Потому что, как бы ни искусен был летчик, ему без механиков, без тех, кто готовит машины к полетам, от земли никогда не оторваться. От одной только мысли о том, что и он, если сильно захочет, сможет стать одним из тех, без которых немыслимы никакие полеты, его охватывало волнение. Так что к десятому классу вопрос «кем быть!» его не мучил.

Распрощавшись с родной деревней Осоргино, что в Одинцовском районе, недалеко от Москвы, он уехал в Кривой Рог, в авиатехническое училище спецслужб гражданской авиации, твердо и окончательно решив стать техником по приборам.

Отец, напутствуя на дорогу, сказал: «Помни: среди людей живем. И каждый из нас сам по себе не так уж много может и значит. Стоящим человеком можно стать только среди людей. Так что смотри на добрых людей и добру учись. И еще. Все мы вместе делаем одно общее дело. Но на своем участке каждый отвечает за себя сам. А потому, коли решил учиться, кровь из носу, а по приезде из училища знай не меньше, чем тебе будут там объяснять».

Потом было все как у всех: лекции, лабораторные и практические занятия, библиотека, спортзал, сборы в подшефной школе. Была стажировка. Чем больше он узнавал о своей будущей специальности, тем больше она привораживала его...

После успешной сдачи государственных экзаменов его направили на работу во Внуково — на одну из старейших авиатехнических баз гражданской авиации страны.

Новичку сказали здесь, принимая его в свой коллектив:

«Имей в виду, ты пришел работать не просто на АТБ. Это Внуково. Прародитель всех наших авиатехнических баз. Почти все то лучшее, что есть в практике Аэрофлота, вышло отсюда. Марка нашей фирмы — высокая марка. Так что смотри...»

Он понял: диплом даже с отличными оценками — это еще далеко не все.

Ему сказали: «У нас тут нет такого, чтобы «я» да «я». У нас — «мы». Это ты тоже постарайся хорошенько усвоить».

Они жили и в самом деле крепкой семьей, давно и прочно сложившейся,—с традициями, порядками, кодексом рабочей чести. Слишком ответственным было то, что они здесь делали — все вместе и каждый в отдельности. Мера этой ответственности определяла их отношение ко всему и ко всем. Обостренному чувству ответственности — вот чему в самую первую очередь учат здесь новичков.

Учили и его терпеливо, когда он просил, но и на место ставили запросто, если видели, что до сути он в состоянии добраться и сам, если только хорошенько пошевелит мозгами. Иной раз, случалось, чувствительно «грели» — не без этого; теперь дни своего ученичества вспоминает он с благодарностью и теплотой. «Они меня учили быть самостоятельным. Без этого нельзя в нашей работе и вообще в жизни нельзя».

Он постигал основной закон коллектива, членом которого стал («мы», а не «я», всегда и во всем), на рабочих сменах и на комсомольских собраниях. На субботниках по благоустройству АТБ и жилого городка авиаторов-внуковцев, на выездах в подшефный совхоз — за отличную работу, за то, что умел организовать на нее молодежь, Скородумов неоднократно получал благодарности руководства базы. Он видел, как закон этот, давно ставший здесь нормой жизни, проявлялся в вещах простых и значительных одновременно — когда, отработав свою смену, человек оставался работать за больного товарища, потому что самолет, занаряженный на регламентные работы, где-то был позарез нужен, где-то его ждали... На них, на технарей, в такие минуты смотрели с надеждой, о них, отгоняя тревогу, говорили: «Ну так это же внуковцы, они не подведут!» — и они работали так, что дымились рубахи, работали, пока от заклепок на борту самолета не начинало рябить в глазах. И неважно, что там за погода была на дворе, мело или дождило: на карту ставилась честь фирмы, и ронять ее было никак нельзя...

ОФИЦИАЛЬНО ЭТО называется «поставить самолет на проведение регламентных работ».

Есть большой регламент — когда самолет ставится на «прикол» после того, как отработает положенную ему предельную норму. Его «раздевают», что называется, до нитки. Тщательнейшую проверку на надежность и прочность проходит даже самая последняя заклепка в его фюзеляже. Бригада техников из сорока с лишним человек выполняет эту кропотливую, трудоемкую и чрезвычайно ответственную работу.

Регулируются и выверяются все требующие регулировки бортовые системы. Заменяется износившееся оборудование. Разобранный «до нуля» и собранный заново самолет проходит долгую обкатку на всех мыслимых и немыслимых режимах. Он должен поступить в руки экипажа новеньким, словно с иголочки.

Есть регламенты другие. Тщательную проверку проходит каждый без исключения самолет после 50, 100, 200 и т. д. часов налета. Объем работ и характер остаются теми же. Ужимается до предела только время. В этих случаях его отпускается техникам ровно столько, сколько самолет, выполнивший очередной рейс, может пробыть на земле в ожидании следующего.

А самолет — он все-таки не живой человек. Он не может сказать, где и что у него «болит». Думай, техник, на то ведь тебя и учили, ты сам выбрал себе эту работу; думай, и помни о цене затянувшегося простоя, и, как самую первую заповедь, помни, что, как бы там ни было, в положенный час самолет должен стоять на линейке готовности!..

И бьется техник надо всеми этими сложнейшими автопилотами, барометрическими высотомерами, названия которых непосвященному ничего не говорят, но ты-то знаешь: без всего этого самолет беспомощен, как слепой на перекрестке... и, бывает, иной раз чего только не перепробуешь, самые невероятные дефекты припомнишь, а все врет прибор! И ты готов хоть к стенке: что хотите делайте — не могу, не знаю, ничего не получается у меня! И придут на помощь товарищи, как приходят всегда, или самого озарит — и видит техник: вовсе не в е г о приборе загвоздка, это



в хозяйстве радистов какая-то система путает (а многие приборы твоего заведования их радиосигналами «кормятся»!)...

Вот почему наземники, реалисты из реалистов, всегда в ответ на традиционный вопрос «Каким комплексом качеств должен обладать человек вашей профессии?» неизменно ставят на первое место интуицию...

...Он тут начинал просто Мишкой. Теперь его все чаще зовут Михаилом Борисовичем. Уже и он сам может кое-чему поучить молодых.

Все чаще он ловит себя на том, что каждый раз со все большей внутренней гордостью говорит он «мы», когда речь заходит о Внуковской авиационно-технической базе.

«Стоп, — сказал он себе однажды. — Ученичество твое, кажется, кончилось. Из тебя несколько лет кряду делали человека в училище. Два года люди не жалеют на тебя времени здесь. Пора, брат, и долги отдавать. Теперь уж и людям хочется знать: даром ли они на тебя тратились? Не замахивайся на невозможное. Но то, что можешь, отдай им сполна».

После комсомольского собрания базы, на котором, откликаясь на решения VIII пленума ЦК комсомола, молодые авиатехники приняли на себя повышенные социалистические обязательства, Скородумов записал в свой личный комплексный план:

«...Подтвердить в 1973 году хорошей работой звание ударника



Известные художники и деятели культуры ФРГ призвали прогрессивную молодежь страны к участию в конкурсе песни «X фестиваль молодежи и студентов». «Политические песни являются важной составной частью антиимпериалистической борьбы, — говорится в призыве. — Исполним эти песни в школах, на предприятиях и в университетах в дни нашей подготовки к фестивалю».

Проведением традиционных революционных дней в марте нынешнего года начала заключительный этап подготовки к фестивалю венгерская молодежь. Одним из ярких мероприятий, привлекшим внимание всех юношей и девушек страны, был конкурс, участники которого показывали свое знакомство с международным юношеским движением. Победители конкурса получили путевки на фестиваль в Берлин.

Подготовительный комитет фестиваля в провинции Гавана призвал молодых кубинцев к участию в уборке урожая сахарного тростника и в строительстве двух средних школ. Подготовительные комитеты в районах, населенных пунктах и на предпри-

коммунистического труда. Продолжить занятия в сети комсомольского политпросвещения, в кружке «Беседы о партии». Поступить на учебу в Московский институт инженеров гражданской авиации...»

А потом коллектив АТБ принимал на своем общем собрании обращение к работникам всех авиатехнических баз гражданской авиации страны. И когда секретарь парткома АТБ читал с трибуны: «Призываем всех товарищей по работе на всех базах страны включиться в борьбу за досрочное выполнение планов третьего, решающего года пятилетки, в борьбу за то, чтобы каждая АТБ стала в текущем году образцовой, призываем всех товарищей по труду превратить год семьдесят третий в год ударного труда...» — он ловил себя на том, что каждая фраза словно бы знакома ему наперед, словно бы он сам писал это обращение.

Пришла и к нему та самая минута, когда можно было сказать: отныне и я — истинная плоть от плоти того коллектива, к которому принадлежу.

А СОВСЕМ НЕДАВНО комсомольцы избрали его своим групкомсоргом, и жизнь уплотнилась для Скородумова до последнего предела и во многом обернулась к нему как бы совсем иной стороной.

ятиях Кубы возглавили движение молодежи за подъем хозяйственного строительства в честь X Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Во многих странах мира проходит сбор средств на строительство детской больницы имени Нгуен Ван Чоя. Молодые американские участники X фестиваля в Берлине хотят передать чек на сумму 50 тысяч долларов. Об этом сообщил Джеффри Шварц, секретарь по вопросам международных связей Союза за освобождение молодых рабочих США. Финские юноши и девушки к концу января 1973 года собрали 250 тысяч долларов.

Борющаяся в нелегальных условиях прогрессивная молодежь Доминиканской Республики основала свой фестивальный комитет. В подготовке к Всемирному форуму молодежи активно участвуют выдающиеся деятели культуры и искусства.

Несмотря на террор и репрессии со стороны военной хунты, демократические организации Греции готовятся принять участие в X Всемирном фестивале молодежи и студентов. Подготовкой руководит созданный за границей национальный комитет. Многочисленные листовки и публикации в нелегальной прессе помогают греческой молодежи лучше понять идеи фестиваля.

Профессор Вальтер Голличер, президент австрийского

Даже такой вопрос, как поступление в институт, перерастал теперь рамки личного: не поступить он теперь не может, потому что на него смотрят и на него, вольно или невольно, теперь будут равняться остальные...

...Летчиков знают все. Их легко узнают на улицах даже малыши. О летчиках снимают фильмы и пишут стихи.

Но, живописуя каждодневную борьбу летчиков с высотой, до сих пор еще почему-то забывают о том, что первыми вступают в эту самую схватку «технари» в промасленных куртках.

Впрочем, «технари» как будто не особо и обижаются на то, что о них не пишут. Каждому свое! Для них высшая награда — это когда диктор аэропорта объявляет: «Самолет... выполняющий рейс... произвел посадку» — и они со спокойной душой вспоминают, что это они выпустили его в небо — точно так, как в детстве выпускали под облака голубей.

В. КОЗИН,
инструктор по работе с молодежью отдела политико-воспитательной работы Московского ордена Ленина транспортного управления гражданской авиации.

В. РОГОВ

Национального комитета по подготовке к X фестивалю в Берлине, бывший руководитель Подготовительного комитета VII фестиваля, проходившего в Вене четырнадцать лет назад, в беседе с журналистами рассказал:

— Летом 1959 года молодые сердца всего мира десять дней принадлежали Вене. В нашем городе собрались посланцы пяти континентов, чтобы продемонстрировать свою волю к миру и дружбе между народами. Реакционные силы, выступавшие под стягом антикоммунизма и стремившиеся помешать фестивалю своим «антифестивалем», потерпели полный провал.

Я до сих пор хорошо помню тот день — открытие праздника на стадионе Пратер. Я вижу 75 тысяч зрителей на трибунах, воодушевленных величественным зрелищем, 17 тысяч делегатов разных национальностей, проходящих через Марафонские ворота, молодых венцев, которые, выражая верность идеям фестиваля, под звуки Дунайского вальса Иоганна Штрауса шагают по овальной дорожке стадиона... Незабываемой и для венцев, и для участников фестиваля была манифестация на площади Героев. Я до сих пор слышу тихий голос японской девушки из Хиросимы: «Никогда более...» И пламенный призыв дочери Жолио-Кюри: «Да здравствует мир!»

Летом минувшего года мы создали подготовительный комитет. Австрия пошлет в Берлин 250 делегатов — студентов, рабочих, служащих, молодых ученых. Среди них будут люди разных убеждений, взглядов, привязанностей: коммунисты, социалисты, профсоюзные деятели, католики и т. д. В дни подготовки к фестивалю основное внимание мы уделяли политическому просвещению «неорганизованной» молодежи: в Австрии только 18 процентов юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет принадлежат к какому-либо политическому союзу. Мы начали в минувшем году с проведения собраний и митингов в Вене и других городах, призывая молодежь выступить в поддержку справедливой борьбы вьетнамского народа. Наиболее ярким стало мероприятие, проведенное газетой австрийских коммунистов «Фольксштимме», в котором приняло участие более 100 тысяч человек. Это был большой разговор, затрагивающий политические, культурные, экономические интересы молодежи. В минувшем году состоялась представительная конференция учащихся и молодых рабочих, на которой обсуждались такие проблемы, как молодежь и предприятие, молодежь и семья, молодежь и свободное время.

Какие надежды связываем мы с фестивалем?

Хочется, чтобы австрийская молодежь — наши юноши и девушки, которые приедут в Берлин, воочию убедились в огромных успехах, достигнутых молодыми гражданами ГДР в условиях социалистического общества.

Я убежден, что встречи в Берлине будут сердечными. Несомненно, фестиваль будет способствовать тому, что людям всех стран, всех возрастов яснее станет, какими темпами, с какой динамичностью изменяется мир в пользу человеческого прогресса и благополучия.



ПЕСНИ МУЖЕСТВА

Человек и поэт, о котором я хочу рассказать, повторил подвиг Николая Островского и по праву отмечен на Украине литературной премией его имени. Командиру противотанковой батареи капитану Николаю Рыбалко тоже было немногим больше двадцати, когда в ожесточенном бою на Одере он последний раз увидел солнце: огненный смерч полыхнул совсем рядом...

До Берлина было рукой подать, его побратимы доколачивали фашистов, а он неподвижно лежал в армейском госпитале, мрачный и отчужденный, в который раз ощупывая повязку на голове и думая одну и ту же думу: как жить-то слепому? Неужели не суждено больше увидеть цветы и небо, лицо самой красивой в мире девушки Нины, которую встретил на Украине в одном из освобожденных сел? Неужели вот так, без дела, всю жизнь?..

Он знал, по сути, лишь мир войны, придя в него прямо со школьной скамьи; и этот мир, как кинолента, теперь неудержимо раскручивался перед его мысленным взором, снова напоминая Николаю о стойкости и упорстве. Бессонными ночами к нему незримо приходили товарищи по оружию, вели с ним молчаливые беседы и поддерживали комбата в трудный час своим мужеством.

Николай обрел новое оружие. Однажды он попросил Нину, которая разделила с ним его судьбу, записать стихи, подступившие к сердцу. Было это двадцать лет назад, уже в родном Краматорске, где поэт живет и поныне.

За эти двадцать лет мужества он создал двенадцать поэтических сборников, сами названия которых говорят о ведущей теме его творчества: «Солдатская слава», «Память о солнце», «Светлое не меркнет», «Дорога на высоту», «Равнение на знамя», «Цветы и порох»... Они лежат передо мною, эти светлые и чистые

книги, словно боеприпасы на батарее.

Прочтите их, и вы узнаете, откуда приходят герои. Это лирическая исповедь солдата, перешагнувшего личную беду. Это поистине песни мужества, вещи прочные и откровенные. Поэт раскрывает в них свое мудрое сердце, которое «никогда в запас не сдашь».

За человеческое беспокойство любят Николая Рыбалко люди, и с каждой книгой у него прибавляется друзей. Недавно его мужество снова было высоко оценено Родиной — он удостоен ордена Октябрьской Революции.

Я был в Краматорске в те дни. Зашел в редакцию городской газеты. Еще в кори-

---

Николай РЫБАЛКО

СКАЖИ НАМ, ПАМЯТЬ...

К тебе я обращаюсь, память,
Прошу рассветную зарю
И опаленными губами
С кипящим ветром говорю.
Скажите, где —
шел бой на суше, —
Когда —
он в море бушевал —
Святую клятву я нарушил,
Ту, что у знамени давал?
Не пробивался ли с гранатой
Через железное кольцо?
Сухарь единственный припрятал?
От пули отвернул лицо?
Не падал ли сраженный в травы?
Не мерз со всеми в холода?
Или друзей в беде оставил,
Скажи мне, память, —
где, когда?
Ты зорче будь. Ты будь построже.
Но, по моим пройдя следам,
Меня ты упрекнуть не сможешь
Ни в чем —
я знаю это сам.
Среди солдат я был солдатом,
На равных с ними был в бою...
И со спокойным, чистым взглядом
Я перед памятью стою.

НАГРАДЫ

Мы не искали в списках награжденных
Негромкие фамилии свои.
Мы на курганах,
заживо сожженных,
Мы на дорогах,
вьюгой заметенных,

доре услышал голос поэта он вел занятие местного литобъединения.

А потом мы шли по улицам его родного города. На каждом шагу с ним здоровались люди, поздравляли с наградой, и он благодарил их тепло и сердечно.

Седовласый пожилой человек неожиданно обратился к Рыбалко по воинскому званию:

— Товарищ гвардии капитан, поздравляю вас с высокой наградой!

Поэт повернулся к нему и ответил так, как отвечал в те далекие дни на передовой, когда ему вручали боевые ордена:

— Служу Советскому Союзу!

Николай ГОНЧАРОВ

Вели ожесточенные бои.
Науку эту назубок усвоив,
Мы утверждали правду на земле.
Мы были всем:
　　　и точкой огневою,
И каплей в море,
　　　и звездой во мгле.
Давным-давно над просветлевшим домом
Отцвел салют из грома и огня...
Но до сих пор нас ищут военкомы,
Награды наши бережно храня.

БАБЬЕ ЛЕТО

Нигде ни облачка, ни тучи,
Прозрачна утренняя звень.
И паутиною летучей
Летящий окольцован день.
И вечер золотисто-синий
Опять улегся под сосной.
И вдруг сверкнет на травах иней
Неотвратимой сединой.
И клен, в осеннее одетый,
Шуршит с грустинкой о былом,
И пролетает бабье лето
С уже надломленным крылом.

●

Я снег воспринимаю,
　　　　　　будто чудо.
Хотя известно мне давным-давно,
Зачем он,
　　　почему он и откуда,
Но для меня он —
　　　　　　чудо все равно.
Так мудро чист он,
Так открыто светел,
Такая в нем искрится белизна,
Что кажется, на этом белом свете
Ни черных душ,
　　　　ни черного пятна.


СЕКРЕТАРЬ

ЗА ШИРОКИМИ ОКНАМИ кабинета второго секретаря горкома комсомола Георгия Герасимова шумела предновогодняя улица. Оживленные ростовчане шли нагруженные покупками, тащили на плечах елочки и сосенки — в этом южном городе многие предпочитают традиционной елке молоденькую длинноиглую сосну.

Дверь распахнулась, и в кабинет шумно вошел светловолосый парень.

— Знакомьтесь, — произнес Герасимов, — первый секретарь Ленинского райкома комсомола Виктор Бузаев. — И добавил: — Наш самый молодой секретарь...

В те дни по всей стране проходило Всесоюзное комсомольское собрание «Ударным трудом и отличной учебой ознаменуем решающий год пятилетки». Молодые ростовчане, как и весь комсомол страны, рапортовали Родине, партии о том, что сделано во втором году пятилетки, принимали социалистические обязательства на 1973-й, решающий год пятилетки.

Вместе с Бузаевым я побывала на собраниях в нескольких первичных комсомольских организациях Ленинского района и всюду видела, с какой гордостью говорят они о славных делах и достижениях районной комсомолии.

Да, ей есть чем гордиться, молодежи района, носящего имя великого Ленина. Вот уже два года там нет ни одного промышленного предприятия, не выполняющего план. Район занимает первое место в городском соревновании по всем основным производственно-техническим показателям и внесен в почетную книгу обкома партии — летопись ударных дел юбилейного года. В достижении этих успехов велика заслуга 25 тысяч комсомольцев района.

Они выступили со многими ценными починами и начинаниями. Молодежь завода «Электробытприбор» работает под девизом «Мастерство передовиков — каждому молодому рабочему». Молодые работницы швейной фабрики № 1 стали в районе инициаторами движения «Пятилетку — в четыре года, пятидневку — в четыре дня!». Комсомолки швейной фирмы «Дон» выступили с инициативой «Наивысшая производительность труда — качество отличное».

А с каким воодушевлением и энтузиазмом работает молодежь Ленинского района на ударном комсомольском строительстве! Комсомольцы решили: все дети дошкольного возраста должны получить светлые, уютные ясли и детские сады, школьники — учиться только в одну смену. Обязательства, взятые на пятилетку, выполнены за два года! В этом году все школы района перейдут на односменные занятия.

...Я видела чудесный детский сад, построенный комсомольцами Ленинского района, и уверена, что любая из самых требовательных мам с удовольствием отдала бы сюда своего малыша. Двухэтажное здание из светлого кирпича, на стене табличка: «Детсад сооружен методом народной стройки в подарок к 50-летию образования СССР». Это детский комбинат «Дружба» на 200 мест. Вокруг про-

РАЙКОМА

сторный двор с красочными яркими навесами, сказочными избушками, бассейном-плескательницей, выложенным плиткой с прелестным мозаичным узором.

Мы с Виктором Бузаевым ходили по сверкающим чистотой комнатам. Стены расписаны на сюжеты русских народных сказок, много зелени, крутятся в колесах белки, пищат в клетках зеленые попугайчики, жмутся в уголок морские свинки и хомяки. И всюду игрушки, множество игрушек...

— Вы только посмотрите, какие игрушки! — говорил Виктор. — Самые лучшие, какие мы только смогли достать в Ростове. А мебель? Самая лучшая мебель...

И чувствовалось, как гордился секретарь райкома этим детским садом, который создан руками комсомольцев. Они приходили сюда после работы, в субботние, воскресные дни... Сколько времени, сил, труда, сердечного тепла вложили ребята, чтобы детишки получили такой чудесный подарок!

В предновогодние дни состоялось торжественное открытие поликлиники № 7. Ее реконструкция, оснащение новейшим медицинским оборудованием — тоже дело рук комсомольцев Ленинского района. А 30 декабря, в день 50-летия образования СССР, вошел в строй еще один детский комбинат, тоже ударная комсомольская стройка. И накануне Виктор Бузаев каждое утро чуть свет мчался на строительство, чтобы, по его выражению, все там «раскрутить», и только потом появлялся в райкоме...

Когда-то отец Виктора Петр Бузаев, горячий патриот Ростова, много сил отдал благоустройству родного города. Липовая аллея, посаженная им вместе с товарищами в молодые годы, сейчас украшение города. Сын продолжает дело отца: поднимает молодежь на работу по благоустройству Ростова, на ударное строительство, вместе со всеми участвует в реконструкции Ростсельмаша. Я видела огромные светлые корпуса из стекла и бетона, поднявшиеся в невиданно короткие сроки. Их строила молодежь всего города. И руководили стройкой молодые энтузиасты, отличные организаторы и воспитатели, люди, безгранично преданные делу, верные помощники партии — комсомольские работники города. И один из них — первый секретарь Ленинского райкома комсомола Виктор Бузаев.

Сын продолжает дело отца... Да, в биографии Виктора Бузаева ощутима та преемственность поколений, которая вообще присуща советским людям.

Виктор родился в День Победы — 9 мая 1945 года. С раннего детства он помнит волнующие рассказы отца о войне, о солдатской дружбе, о боевом товариществе. Отец сожалел, что из-за ранений и контузии ему не удалось сражаться с врагами до конца войны. Это стремление быть там, где всего труднее, сын унаследовал от отца.

В школе он учился хорошо, много с увлечением читал, занимался спортом — в общем, рос как все советские мальчишки и девчонки. В 1957 году случилось страшное: не стало отца. Семье пришлось трудно. Старшие сестры, учившиеся в институтах, перешли на заочное и вечернее отделения, стали работать. Виктор, окончив семилетку, поступил в железнодорожный техникум.

В те годы испытывались новые формы обучения, сочетавшие занятия в аудиториях с работой непосредственно по специальности, которую давал техникум. На двух последних курсах ребята полгода учились, а полгода работали. Виктор, по натуре веселый, общитель-

ный, всегда был окружен товарищами, у него появилось много новых друзей. Его избрали в комсомольское бюро. Он по-прежнему много читал, стал сам пробовать писать стихи, рассказы, песни о родном городе. Вдруг заметил, что не умеет держаться, танцевать. Поступил в студию бального и эстрадного танца, стал даже победителем городского конкурса. Ребята и девушки, занимавшиеся в студии, жадно тянулись к искусству, стремились как можно больше узнать. Объединенные любовью к искусству, литературе, они часто собирались после репетиций, читали литературные новинки, обменивались мыслями, знаниями, спорили, рассматривали репродукции картин Эрмитажа, Третьяковки. Большой, прекрасный мир открывался перед Виктором. Умная, интересная книга, встреча с хорошим, душевно красивым человеком оставляли неизгладимый след в душе подростка. Он стал зорче, внимательнее присматриваться к людям, которые его окружали, стремился увидеть в каждом человеке доброе, светлое. Вот эти качества Виктора: внимание к людям, душевный подход — проявились впоследствии со всей полнотой в комсомольской работе, в нелегкой, кропотливой работе по воспитанию молодежи.

После техникума Бузаев работал бригадиром на путевой механизированной станции. Потом — служба в армии, школа младшего командного состава. Младший сержант Виктор Бузаев стал командиром отделения. Комсорг взвода, затем комсорг батальона, своей отличной службой он подавал пример воинам.

Но Виктор не стремился специально быть образцом для солдат — просто иначе он не мог жить и служить.

Комсомольцы оказали ему огромное доверие: избрали делегатом XV съезда ВЛКСМ.

Окрыленный, счастливый вернулся Бузаев из Москвы в родную часть. Вошел в здание, видит — колонны в вестибюле обернуты листами ватмана, на них крупными буквами слова: «Привет делегату XV съезда комсомола!» Открывает дверь из вестибюля, натыкается на огромный бумажный лист с надписью: «Делегат, входи смелее! Тебя ждут». Виктор разорвал ватман и попал в объятья друзей...

Потом комсомольская работа на строительстве важнейших железнодорожных магистралей Ивдель — Обь, Тюмень — Сургут, Абакан — Тайшет.

Возвратившись в родной город, Виктор Бузаев стал работать в научно-исследовательском институте, поступил на заочное отделение Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения. И снова комсомольская работа стала главным, определяющим, любимым делом в его жизни. Инструктор горкома комсомола, заведующий отделом горкома, второй секретарь Ленинского райкома, затем первый секретарь...

Его трудно застать в райкомовском кабинете. Деятельный, энергичный, он всегда среди молодежи — на заводах, стройках, в техникумах, институтах — там, где он всего нужнее...

Победа вечно живет в людях, вдохновляет их на новые славные дела и свершения. И вместе со всеми трудится, отдает всего себя людям ровесник Победы, первый секретарь Ленинского райкома комсомола города Ростова-на-Дону коммунист Виктор Бузаев.

И. НАЗАРОВА

БУДЕТ „ЛУГОВАЯ"!

В МАРТОВСКОМ номере «Товарищ» рассказал об интересном почине, с которым выступили комсомольцы московского комбината «Трехгорная мануфактура». Началом этого почина послужил договор о творческом содружестве и социалистическом соревновании между комсомольскими организациями «Трехгорной мануфактуры», швейного объединения «Москва», Научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей, швейной фабрики № 10, обувной фабрики имени Капранова.

«Трехгорка» дает в сутки 800—850 тысяч метров тканей. Многие из них отмечены знаком качества. Это значит, что ткани прочны, красивы, нарядны. Но борьба за качество

Инициативная группа — «боевая тройка».



продолжается, создаются новые ткани — еще более красивые и нарядные...

ВОСЕМЬСОТ комсомольцев Научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей, как боевое задание, приняли заказ трехгорцев: создать два новых красителя — активный голубой и яркий зеленый. Была назначена инициативная группа — «боевая тройка», куда вошли младшие научные сотрудники: химик Екатерина Соловатова, технолог Лариса Думенко, физик Сергей Лебедев.

Начался поиск... Комсомольцы НИИ решали трудную задачу. Предстояло создать красители и стойкие, и яркие, и сравнительно недорогие, установить для них свой ГОСТ, чтобы в производстве они точно соответствовали эталону, полученному в институте. Надо было разработать технологию смешивания красок, изготовить необходимую аппаратуру... Словом, работы было непочатый край, тем более что красители, за разработку которых взялись комсомольцы НИИ, в нашей стране никогда не производились.



Эксперимент с красителем ведет Екатерина Соловатова.

В горячую пору, часто после окончания рабочего дня, особенно когда «не ладилось», в лабораториях института всегда можно было видеть комсомольского вожака Владимира Берсеньева. Он то ободрял товарищей добрым словом или

шуткой, то, бывало, журил, а иной раз, засучив, что называется, рукава, и сам включался в работу... Много беспокойных недель провела в поиске инициативная группа. Порой не хватало опыта. И тогда на помощь приходили старшие товарищи — коммунисты. Увлеченные энтузиазмом молодежи, руководители института дали будущему зеленому красителю поистине «зеленую улицу».

...В небольшой колбе яркой луговой зеленью отливал краситель. Закончился первый этап работы. Предстояли испытания, которые должны были дать ответ на вопрос: получит ли путевку в жизнь новый краситель, а следовательно, и новая ткань! И когда началась проверка, в испытательной лаборатории собрались почти все свободные от работы изобретатели.

Первый экзамен — спектральный анализ — краситель выдержал с честью. За ним последовала серия других... Итог подвела экспертная комиссия: «Краситель выдержал все испытания на «отлично» и рекомендован к серийному выпуску. Заказ передать химическому заводу в городе Рубежном».

ИТАК, задание трехгорцев было выполнено: яркий зеленый краситель создан. Сейчас полным ходом идет работа над активным голубым...

На совместном собрании комсомольцы НИИ и «Трехгорки» решили: ткань, своим цветом напоминающую покрытый свежей зеленью заливной луг, назвать «Луговая»...

А. ГЕОРГИЕВ
Фото автора

Летом 1970 года в итальянском городе Турине был опущен флаг последней Универсиады. А 5 декабря 1971 года в Париже исполком ФИСУ (Международной федерации университетского спорта) принял решение о проведении Универсиады-73 в столице нашей Родины — Москве.

Секретарь ВЦСПС, председатель организационного комитета Универсиады-73 В. БОГАТИКОВ:

15 августа над большой спортивной ареной Центрального стадиона имени В. И. Ленина взовьется флаг Универсиады.

Москвичам не занимать опыта в организации и проведении крупнейших спортивных мероприятий и международных встреч. Лишь за последние годы у нас были проведены 8 чемпионатов мира и 20 европейских первенств по различным видам спорта. Москва была хозяйкой Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Всемирного форума молодежи, Всемирной встречи трудящейся молодежи. А наши Спартакиады народов СССР мало в чем уступают по своему размаху даже Олимпийским играм.

В Москве живет 147 олимпийских чемпионов.

Наш город имеет 70 комплексных стадионов, 30 бассейнов, 6 Дворцов спорта. За соревнованиями могут одновременно наблюдать 200 тысяч зрителей.

Ожидается приезд на Универсиаду свыше 4 тысяч спортсменов из многих стран мира. Обслуживать всемирные студенческие игры будут свыше тысячи арбитров. Судя по активно поступающим заявкам, можно ожидать, что цифра предыдущей Универсиады — в ней участвовало 58 стран — будет в Москве перекрыта. Разумеется, заявка заявке рознь. Если из США, например, ожидается приезд трехсот тридцати спортсменов, то, скажем, Лихтенштейн делегирует всего трех человек. Но важно не это. Важен широкий, неподдельный интерес к московской встрече спортсменов среди студентов всего мира. Сильны и представительны будут студенческие спортивные коллективы Болгарии, Польши, Чехословакии, ГДР, Италии, ФРГ, Великобритании.

Советские спортсмены будут представлены на играх не одним обществом. Но в основном команда составлена из представителей, так сказать, подлинно студенческого «Буревестника», одного из крупнейших в стране спортивных обществ: более чем 640 клубов его объединяют свыше полутора миллионов спортсменов. Так что выбор для тренеров сборной, как видите, богатейший.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, УНИВЕРСИАДА!

На Олимпийских играх в Мюнхене спортсмены «Буревестника» завоевали 11 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые награды. Нет, наверное, на всей земле уголка, где не слыхали бы о таких спортсменах, героях Олимпиады, как спринтер Валерий Борзов, гимнаст Николай Андрианов или баскетболист Александр Белов.

Участников Универсиады примет Дом студента Московского государственного университета. А в Доме культуры МГУ откроется интернациональный клуб молодежи. Ибо Универсиада — это не только состязания на площадках, дорожках, секторах, это еще и встречи гостей с молодежью столицы, с актерами театров, мастерами кино, эстрады, цирка, знакомство с ее культурными учреждениями.

В Москву приедет около тысячи корреспондентов телеграфных агентств, радио и телевидения, газет и журналов. «Штаб» этой армии разместится во Дворце спорта Центрального стадиона имени В. И. Ленина, где обоснуется пресс-центр с его автоматической системой управления и другими новейшими средствами технической связи.

Итак,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, УНИВЕРСИАДА!

ГРАНИЦА ЗАМЕТНА

ЕСТЬ В ЭСТОНИИ город, жители которого, случается, ходят за спичками в соседнюю республику. Недавно, находясь там в командировке, мы встретили знакомого из Ленинграда, который рассказывал, что видел в местном магазине школьных товаров молоденьких продавщиц, бойко говоривших на трех языках — эстонском, русском, латышском...

— Благодаря таким вот приезжим и вспоминаешь, что мы, собственно, живем в пограничном городе, — шутливо сказал Ансис Плориньш, первый секретарь Валкаского райкома комсомола. — Но если серьезно, то за повседневными делами, которыми занимаешься вместе с эстонскими товарищами из Валга, мысль об этом даже не приходит в голову. Расскажу вам одну историю. Было это прошлым летом. Иду я как-то с работы, смотрю — на площади вывешен свежий номер сатирической газеты. Наши «прожектористы» выпускают его вместе с работниками ГАИ в порядке борьбы с нарушителями правил уличного движения... Так вот, подхожу полюбоваться вместе с другими — у стенгазеты уже стоят люди и отнюдь не самым тихим образом обсуждают ее. Газета и на этот раз удалась: кому — хохот, а кому — хоть плачь. Отхожу от стенгазеты довольный и у самого райкома вдруг вспоминаю, что две фамилии касаются нарушителей порядка — ребят с эстонскими фамилиями. А что, если они живут не в Валке, а в Валге!.. В таком случае пусть уж лучше с ними свои «прожектористы» разбираются... Так оно и оказалось. Звоню коллегам в Валгаский райком, а мне отвечают: «Так что ж, Ансис, может, дипломатическую переписку затеем! Давай-ка лучше мы переснимем эти карикатуры и вывесим у себя». Забавная мелочь, одним словом. Но дойди она тогда до остряков...

Если завести с жителями эстонского города Валга и латвийского Валка разговор о границе, разделяющей оба эти города, вам покажут ручей, по которому проходила некогда официальная граница, а старожилы припомнят еще места, где располагались таможенные пункты. Но и тогда, до 1940-го, все это имело какой-то неестественный, бутафорский вид и смысл, ибо извечно мальчишки «с той стороны» отправлялись за яблоками на «другую», а молодежь одного города имела обыкновение искать себе невест и женихов в другом... Год 1940-й стер искусственно созданную буржуазными правителями Эстонии и Латвии «госграницу», разделявшую народы-братья вопреки всем многовековым традициям.

— Не будем углубляться в седую глубь веков и вспоминать то, что известно теперь каждому школьнику, — продолжал Ансис Плориньш. — В Валге вы, должно быть, обратили внимание на мемориальную доску, укрепленную на стене дома напротив центрального гастронома. В этом доме в 1918 году состоялось заседание ИСКОЛАТА — Исполнительного Комитета латышских стрелков, который провозгласил Советскую власть в Валге и Валке. В 1919-м здесь под командованием героя гражданской войны легендарного Яна Фабрициуса сражались красные латышские и эстонские стрелки, освобождавшие южную Эстонию и столицу Латвии Ригу от белогвардейцев... На территории Валка находится братская могила советских воинов, павших в 1944 году при освобождении наших городов от немецко-фашистских захватчиков. Красные следопыты из

Валги собрали и продолжают собирать материалы о боевых действиях и подвигах солдат революции — латышских стрелков, а следопыты Валки проводят походы по местам боев Эстонского гвардейского стрелкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно, также совместно, проводятся факельные шествия молодежи обоих городов к могилам советских воинов-освободителей. Я уж не говорю о таких традиционных мероприятиях, как вечера дружбы, соревнования школьников на приз имени Героя Советского Союза Юрия Смирнова, летние дни молодежи, состязания допризывников... Все это, конечно, не только работа по военно-патриотическому воспитанию, но прежде всего — воспитанию молодежи в духе интернационализма, дружбы и братства наших народов. Было бы непростительно не использовать в этих целях богатые революционные, боевые и трудовые традиции, сложившиеся в годы упорной борьбы и труда русского, эстонского и латышского народов во имя построения социализма в наших республиках. И уж само собой разумеется, всю работу мы проводим в тесном контакте с Валгаским райкомом комсомола Эстонии. Тойво Гульбе, первый секретарь Валгаского райкома, вообще замечательный парень. У нас с ним самое полное взаимопонимание. У себя в райкоме мы его считаем «своим», и не только потому, что женился он на нашей девушке — из Валки... Но это между нами, хотя что ж тут особенного. Тойво не обидится.

ТОЛЬКО НА КАРТЕ

— Традиционный вопрос: видимо, у вас в городе и районе имеются молодежные коллективы, которые соревнуются с коллективами родственных предприятий Валги! И заодно: работают ли комсомольцы, молодежь из латвийской части города в эстонской!

— Очень хорошо сказано — латвийская и эстонская части города. Фактически так оно и есть. Граница между Валгой и Валкой существует разве что на карте. У двух городов общий железнодорожный узел, депо, общие коммуникации, хлебокомбинат, базы и места отдыха — на озере Заагэзерс создается общая зона отдыха. Разработан единый перспективный план развития городов, предусматривающий строительство новых кварталов, жилых домов, административных зданий и создание общей зеленой зоны вокруг и внутри Валки и Валги. То, что уже есть, создано руками старшего поколения, что предстоит — будет сделано руками молодежи... Социалистическое соревнование между коллективами родственных предприятий и хозяйств стало традицией. Особенно активно и успешно соревнуются коллективы наиболее крупных наших предприятий — мебельного цеха Валмиераской фабрики и Валгаской мебельной фабрики, а также совхозов «Грунзале» и «Валга».

Тех из Валки, кто работает на предприятиях «эстонской части города», вы без труда найдете в Валгаском рефрижераторном железнодорожном депо и в сфере обслуживания, на Валгаской мебельной фабрике и в автобусном парке, среди строителей и текстильщиц. Завтра таких будет еще больше, это неизбежно и... хорошо. Я мог бы перечислить немало фамилий латышей из Валки, которые живут здесь, а трудятся в Валге. Но вряд ли вас устроит простое

Окончание на стр. 188



Полвека в боевом строю

ВОТ УЖЕ ПОЛВЕКА в ногу со всей Советской страной шагает журнал «Огонек», работа которого отмечена высокой правительственной наградой — орденом Ленина. «Огонек» — самый массовый многотиражный иллюстрированный журнал. Когда-то он начинал с пятидесяти тысяч экземпляров, сейчас его тираж превышает два миллиона. Его читают в рабочей семье и в доме колхозника. Среди его читателей ученые и студенты, партийные и хозяйственные работники, домохозяйки и школьники.

На протяжении 50 лет своего существования «Огонек» рассказывает своим читателям о жизни страны: о героической поре первых лет становления Советской власти, об этапах борьбы за построение социализма, о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, о великих трудовых свершениях во имя торжества коммунизма. «Огонек» рассказывает о лучших трудовых коллективах и передовых людях страны, о заводах и стройках, о колхозах и совхозах, беседует с читателями о задачах коммунистического строительства и важнейших проблемах экономики.

«Огонек» неоднократно выпускал специальные номера, рассказывающие о главных отраслях народного хозяйства, о различных сферах общественной и политической жизни страны.

В год пятидесятилетия Советской власти специальные номера были посвящены всем братским советским республикам.

На первой странице первого номера журнала выступил Вл. Маяковский. В «Огоньке» печатались и печатаются выдающиеся русские советские писатели, писатели братских республик — М. Горький, А. Серафимович, В. Вересаев, В. Маяковский,

Д. Фурманов, С. Есенин, М. Шолохов, А. Фадеев, Н. Погодин, К. Федин, М. Пришвин, А. Толстой, Л. Леонов, И. Эренбург, К. Паустовский, Н. Тихонов, Л. Мартынов, В. Катаев, В. Кожевников, А. Калинин, Б. Полевой, Я. Купала, Я. Колас, М. Рыльский, М. Турсун-заде, Б. Кербабаев, М. Ауэзов, Ш. Рашидов, А. Кешоков, Р. Гамзатов, К. Кулиев и десятки других.

Недавно вышел в свет «Литературный «Огонек» — сборник произведений писателей и поэтов, опубликованных в журнале. Здесь стихи, поэмы, рассказы, отрывки из повестей и романов. В оглавлении около двухсот имен писателей. Для некоторых из них «Огонек» был первой стартовой площадкой на пути в большую литературу, другие пришли на страницы журнала уже известными, сложившимися писателями. Но всегда «Огонек» находил и публиковал все самое новое, значительное и талантливое, что рождалось под пером советских литераторов.

Известно, что первые пять глав второй книги «Поднятая целина» М. Шолохова публиковались в 1954 году в «Огоньке».

Журнал поддерживает тесную дружбу и постоянное сотрудничество с прогрессивными писателями всего мира. В «Огоньке» печатались произведения Эптона Синклера, Иоганнеса Бехера, Мартина Андерсена Нексе, Анны Зегерс, Назыма Хикмета, Витезслава Незвала, Эрнеста Хемингуэя, Лиона Фейхтвангера, Халлдора Лакснесса, Мартти Ларни, Андре Моруа, Катарины Сусанны Причард, Уильяма Дюбуа, Генриха Бёля, Джеймса Олдриджа; стихи и рассказы писателей Вьетнама и Монголии, Индии и Пакистана, арабских и африканских стран.

Видное место на страницах журнала занимает публицистика писателей и журналистов. Очерку и репортажу «Огонек» всегда придавал решающее значение, ибо это оперативные и вместе с тем художественные формы рассказа о современности.

«Огонек» всегда работал в самом тесном контакте с писателями и поэтами. На втором году существования «Огонька» было предложено выпускать приложение к «Огоньку» — дешевую общедоступную библиотеку, куда должны были войти новые, впервые публикуемые произведения советских писателей и зарубежных авторов. Такая библиотека, ставшая постоянным спутником «Огонька», была основана в 1925 году. Маленькие белые книжечки ценою в несколько копеек выпускались еженедельно одновременно с очередным номером журнала. Вскоре (с 1926 г.) издание библиотеки значительно расширилось: ее книжечки стали выходить дважды в неделю. Выходит эта библиотека и в настоящее время.

Кроме того, в течение многих лет «Огонек» в своих приложениях выпускает многотомные собрания сочинений классиков советской и мировой литературы. Эти издания пользуются огромной популярностью у читателей.

Преследуя цель воспитания художественного вкуса у широких масс читателей, журнал на своих цветных вкладках представляет шедевры мировой и русской классической живописи, произведения лучших советских художников, картины из сокровищниц искусства Чехословакии, ГДР, Польши, Венгрии, Великобритании, Франции, Италии...

Широко отражается на страницах «Огонька» международная жизнь, борьба прогрессивных сил в капиталистическом мире, направленная на улучшение условий жизни трудящихся.

ПОСЫЛЬНЫЙ ПРИНОСИТ „МАНИФЕСТ"

...**В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ** февраля 1848 года в лондонскую типографию, расположенную на Ливерпуль-стрит в Бишопсгейте, вошел юноша посыльный. Он принес небольшую — чуть больше двух десятков страниц — рукопись.

А спустя две недели в этой скромной типографии был издан на немецком языке «Манифест Коммунистической партии» — первый программный документ научного коммунизма, в котором, как отмечал В. И. Ленин, «с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовой борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества».

Кто был тот молодой человек, которому К. Маркс и Ф. Энгельс поручили передать в набор бесценную рукопись? Поиски привели в небольшой тюрингский городок Бланкенхайн, находящийся в 15 километрах от Веймара (ГДР). Здесь 27 февраля 1825 года родился

ТАЙНА МАЛЕНЬКИХ МУМИЙ

Берлинский государственный музей славится своей богатейшей коллекцией мумий. Их здесь хранится более сорока.

Несколько лет назад музей разрешил ученым подвергнуть мумии рентгеновскому просвечиванию: привлекала возможность выяснить некоторые вопросы, связанные с событиями древней поры. Надежды ученых в значительной мере оправдались. Так, было установлено, что искусство мумификации (бальзамирования) со временем изменялось. Исследования показали, например, что в первом тысячелетии до нашей эры тело при бальзамировании находилось в естественном положении. В первом веке до нашей эры форму тела стали изменять: труп укладывали так, чтобы он выглядел красиво и изящно... У многих мумий полностью разрушена грудная клетка, поломаны ребра.

Рентгеновские снимки дали богатый материал медикам. Профессор Дикхоф сообщил о наличии у древнеегипетских детей туберкулеза и рахита.

Сенсационными оказались результаты недавних исследо-

Публикуя беседы, интервью, статьи, редакция привлекает к творческому общению с читателями широкий круг видных политических, государственных и общественных деятелей Советского Союза, крупнейших представителей науки, культуры, техники, искусства.

«Огонек», как иллюстрированный журнал, с первых своих номеров начал утверждать новый для советской печати жанр фоторепортажа — синтез краткого текста и фотографий, рассказывающих об актуальных событиях. Сотни живых и выразительных снимков, сделанных фотокорреспондентами «Огонька», вошли в золотой фонд мирового фотоискусства и демонстрируются

Фридрих Лесснер — тот самый юноша, что принес в типографию рукопись. После смерти отца отчим отправил Фридриха к дальним родственникам в деревню, а те определили его на выучку к веймарскому портному. Закончив курс обучения, Лесснер начал странствовать...

В Гамбурге он познакомился с идеями утопического «уравнительного» коммунизма Вильгельма Вейтлинга, взгляды которого, по словам Энгельса, сыграли положительную роль «в качестве первого самостоятельного теоретического движения германского пролетариата». В апреле 1847 года Лесснер эмигрировал в Лондон. Под влиянием захвативших его с большой силой идей научного социализма он вступил в Союз коммунистов, стал соратником К. Маркса и Ф. Энгельса. Лесснер принимал активное участие в революции 1848—1849 годов в Германии, во время кельнского процесса против коммунистов был приговорен к трем годам заключения в крепости. После основания в 1864 году Международного товарищества рабочих — I Интернационала Лесснер вошел в его Генеральный совет.

Ныне в Бланкенхайне на доме, где родился Лесснер, установлена мемориальная доска. Его именем названа одна из улиц города. А в средней школе «Фридрих Лесснер» учащиеся изучают «Манифест Коммунистической партии», рукопись которого принес в лондонскую типографию их двадцатитрехлетний земляк 125 лет тому назад...

ваний трех самых маленьких — детских мумий. Они были... пустыми! На рентгеновских снимках не обнаружили даже остатков скелета. Не было бы ничего удивительного в том, если бы рентген показал на остатки мумифицированных животных: в Древнем Египте бальзамировали священных быков, крокодилов, кошек. Но ложная мумия... Упоминаний о подобных случаях не встречалось ни в одном из литературных источников.

В связи с этим было высказано несколько предположений.

По имеющимся сведениям, во времена Геродота проводились массовые умерщвления детей якобы вследствие «излишков» мальчиков. Возможно, считают одни, детей прятали, а потом «для видимости» бальзамировали какое-нибудь тряпье. Другие, отрицая факты умерщвления детей в Египте, полагают, что пустые мумии скорее всего погребались для того, чтобы сбить со следа воров, откапывавших богатые захоронения. Есть и другая версия: в тех случаях, когда ребенок погибал в результате несчастного случая (например, тонул в Ниле), совершалось символическое бальзамирование.

Однако достоверного ответа на этот вопрос пока что нет, тайна трех маленьких мумий все еще не раскрыта. Возможно, многое прояснится, когда будет разрешено вскрыть одну из трех мумий, сильно поврежденную еще сотни лет назад.

на многих союзных и зарубежных выставках, достигая самых отдаленных уголков земного шара.

Помогая Коммунистической партии в мобилизации трудящихся масс на выполнение грандиозных созидательных планов, «Огонек», как и вся советская печать, популяризирует все лучшее, передовое, что рождается в ходе коммунистического строительства, в социалистическом соревновании за успешное претворение в жизнь предначертаний партии.

В этом «Огонек» видит свою главную задачу и, выполняя ее, вот уже полвека верно служит своему народу.

К. МИХАЙЛОВ

ЮНОСТЬ ОБЛИЧАЕТ ИМПЕРИАЛИЗМ

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

Небольшая — карманного формата — книга, написанная сухим, однако не без эмоций, языком документов, озаглавлена уничтожающе точно: «Черная книга: Франц Йозеф Штраус». Книга совсем недавно вышла в



западногерманском издательстве «Киппенхойер унд Витш Ферлаг» в Мюнхене.

О чем эта книга? Почему ее появление на книжном рынке вызвало столь большое волнение в самых разных сферах общественной жизни ФРГ?

Суть и основная направленность книги раскрываются в самом заголовке. Это сборник материалов чрезвычайно острого содержания, имеющих своей целью изобличить Франца Йозефа Штрауса в деяниях, направленных против конституционных норм ФРГ, против улучшения отношений между ФРГ и СССР, против мира в Европе.

«Для авторов и издателей сбор материалов для «Черной книги» был меньше всего удовольствием» — такое заявление предпослано основному содержанию книги в главе «Воззвание». Оно и понятно: выпуск сборника, обли-

чающего Штрауса не только как политического деятеля, как бывшего министра обороны Западной Германии, но и как личность в моральном и нравственном понимании этого слова — выпуск такого сборника, надо думать, был сопряжен с немалыми трудностями и даже с опасностью. Дело в том, что среди материалов сборника есть и такие, которые взяты из архивов с грифом «Совершенно секретно».

Общественное значение данного сборника заключено в его документах. Весьма важным, кроме того, является то обстоятельство, что появление данной книги стало возможным благодаря усилиям прогрессивной молодежи Западной Германии: в сборе обличительных материалов принимали участие три молодежные организации ФРГ: организация Молодых социалистов, организация Молодых демократов и молодежная организация «Соколы». Литературная обработка материалов сделана Бернтом Энгельманом, автором известной в нашей стране обличительной книги «Мои друзья — миллионеры».

То обстоятельство, что авторы книги — прогрессивная молодежь, особенно отрадно: ведь именно молодежь в заботе о будущем в полный голос заявляет о том, что волнует общественность ФРГ. О недопустимости новой войны, о сохранении мира во всем мире, о бдительности — вот о чем этот сборник. Об этом же текст «Воззвания» к населению Западной Германии, перевод которого мы публикуем.

Б. ПЧЕЛИНЦЕВ

ВОЗЗВАНИЕ

Это призыв к разуму, призыв граждан Федеративной Республики Германии, которые, относясь с полной серьезностью к обязанностям, налагаемым на них конституцией, памятуя о своей большой ответственности за молодое поколение, выступают с обвинением против одного из руководителей блока ХДС/ХСС, Франца Йозефа Штрауса.

«В этой стране нужно навести порядок» — таковы были первые слова руководителя оппозиционной коалиции ХДС/ХСС, когда он 13 августа 1972 года ступил на землю Западной Германии, возвратившись из Португалии.

Господин Барцель имел в виду не полоненную фашизмом Португалию, где он проводил свой отпуск, — он имел в виду Федеративную Республику Германии. Так что коричневый загар, приобретенный отпускником Барцелем в Португалии, имеет весьма символическое значение. Ибо, без сомнения, «порядок», существующий в Португалии фашистского режима, вызывает у Штрауса — Барцеля гораздо больше симпатий, нежели тот порядок, который сейчас наблюдается в Западной Германии Брандта — Шееля.

Согласно политической «концепции» господ Штрауса и Барцеля в Западной Германии нет никакого порядка с тех пор, как:

— во главе государства встал президент, который в свое время активно боролся против захвата власти в Германии фашистами и против фашистского террора;

— на пост канцлера избран человек, который приобрел свой политический опыт в борьбе против гитлеровского режима и за проводимую им политику мира и мирного сосуществования был удостоен Нобелевской премии мира;

— это правительство, опираясь в своих действиях на социал-демократическую и свободную демократическую партии Германии, идет к прогрессу путем социальных реформ внутри страны, а за ее пределами предпринимает разумные меры по ослаблению военной напряженности;

— народы мира как на Западе, так и на Востоке впервые со времени окончания второй мировой войны могут без опасения смотреть на Федеративную Республику Германии.

С тех пор как согласно решению большинства населения Западной Германии на выборах 1969 года ХДС/ХСС было указано место на скамьях оппозиции, обе эти партии начали смешивать понятие «оппозиция» с такими «понятиями», как обструкция, травля и подлог.

Во главе этого антидемократического движения стоит человек, который в своем сопротивлении общественному прогрессу бездумно пользуется всеми мыслимыми и немыслимыми методами, который ищет себе союзников и далеко не всегда безуспешно.

Имя этого человека — Франц Йозеф Штраус. Он, Штраус, не пропускал ни единой возможности еще и еще раз публично выразить свое явно враждебное отношение к коалиции социально-либеральных сил. При этом ему было все равно, выступает ли он, как это имеет место в проводимой им «восточной политике», в союзничестве с националистическими или фашистскими силами; вступает ли он, скажем, по вопросам государственных финансов и государственной экономики, в откровенно враждебную полемику с правительством Западной Германии и при этом играет на запугивании населения угрозой новой инфляции — а в течение последнего пятидесятилетия наш народ дважды пережил то, что называется полной инфляцией, и обе эти катастрофы были спровоцированы теми силами, у которых с господином Барцелем и его приспешниками от

ГРАНИЦА ЗАМЕТНА ТОЛЬКО НА КАРТЕ

Окончание Начало на стр. 180

перечисление фамилий. Лучше я расскажу, к примеру, о некоторых «наших», работающих на хорошо известной в Прибалтике и даже за границей Валгаской мебельной фабрике. Вы, конечно, знаете мебельный гарнитур-красавец «Эстония». Его экспортируют в шестнадцать зарубежных стран. Так вот, особая заслуга в его создании и производстве принадлежит главному технологу фабрики Василию Швецу. Это ничего, что фамилия у него украинская, — у нас в Латвии, как, впрочем, и в Эстонии, проживают люди самых разных национальностей. Да и жена у Василия латышка, кстати, работает она тоже в Валге, в филиале Таллинского швейного произ-

ХДС/ХСС гораздо больше общего, нежели с демократами, какими являются Вилли Брандт и Вальтер Шеель; принижает ли он, как об этом свидетельствуют публикации в издаваемой им газете «Бауэрн-курьер», авторитет Федеративной Республики Германии в глазах всего мира, так же как это делается молодчиками, сотрудничающими в различного пошиба неонацистских листках.

Фигура Франца Йозефа Штрауса как политика станет еще более зловещей, если мы, рассматривая его разного рода политическую деятельность, «копнем» поглубже — начиная с 1949 года.

О том, насколько необходимо показать немецкой молодежи истинное лицо доктора Штрауса, говорят хотя бы две цитаты, датированные маем 1965 года. Мы берем их из ежемесячника «Цивис», по своему направлению близкого к партии Христианско-демократического союза:

«...хотя об этом никто прямо не заявляет, но общественность Германии сравнивает этого человека с Гитлером».

«Личная трагедия Штрауса заключается в том, что ему чуждо всякое понятие о дисциплине. Именно это обстоятельство оправдывает опасения, которые сводятся к следующему: всепоглощающее стремление Штрауса к власти в государстве однажды обернется угрозой нашей демократии».

Это «однажды» наступило.

По этой причине авторы книги как лица, облеченные доверием демократических молодежных организаций и представляющие эти организации, пришли к мысли о том, что населению Федеративной Республики Германии, и прежде всего молодежи, необходимо показать прошлое и настоящее политической карьеры человека, выступающего с претензиями на приобретение политической власти в стране. Своими манипуляциями в области политики господин Франц Йозеф Штраус дискредитировал себя как обладатель политического мандата. В данной книге это доказывается со всей очевидностью.

Для авторов и издателей сбор материалов для «Черной книги» был меньше всего удовольствием. Авторы и издатели принялись за эту работу единственно с целью помочь отвратить нависшую над Западной Германией угрозу. Данная книга представляет собой призыв к молодежи Западной Германии не поддаваться на усилившиеся происки тех сил, которые ориентируются на прошлое Германии.

водственного объединения «Балтика»... В одном отделе с Василием работает инженер-технолог Дайна Штейнгольц — молодой коммунист, до недавнего времени комсомольский вожак фабрики, она же — преподаватель фабричного филиала Выруского индустриального техникума, настоящий друг и наставник рабочей молодежи. На отделочном участке этой же фабрики работает Инта Портенко, тоже из Валки. Инта в течение двух лет завоевывает звание лучшей отделочницы Валгаской фанерной фабрики...

Интервью закончено. Мы возвращаемся в Валга по «Иела Ленина» — улице, которая в эстонской части города носит название «Ленини тянав». Улица Ленина. По утрам спешит по ней рабочий люд в обоих направлениях — в Латвию и Эстонию.

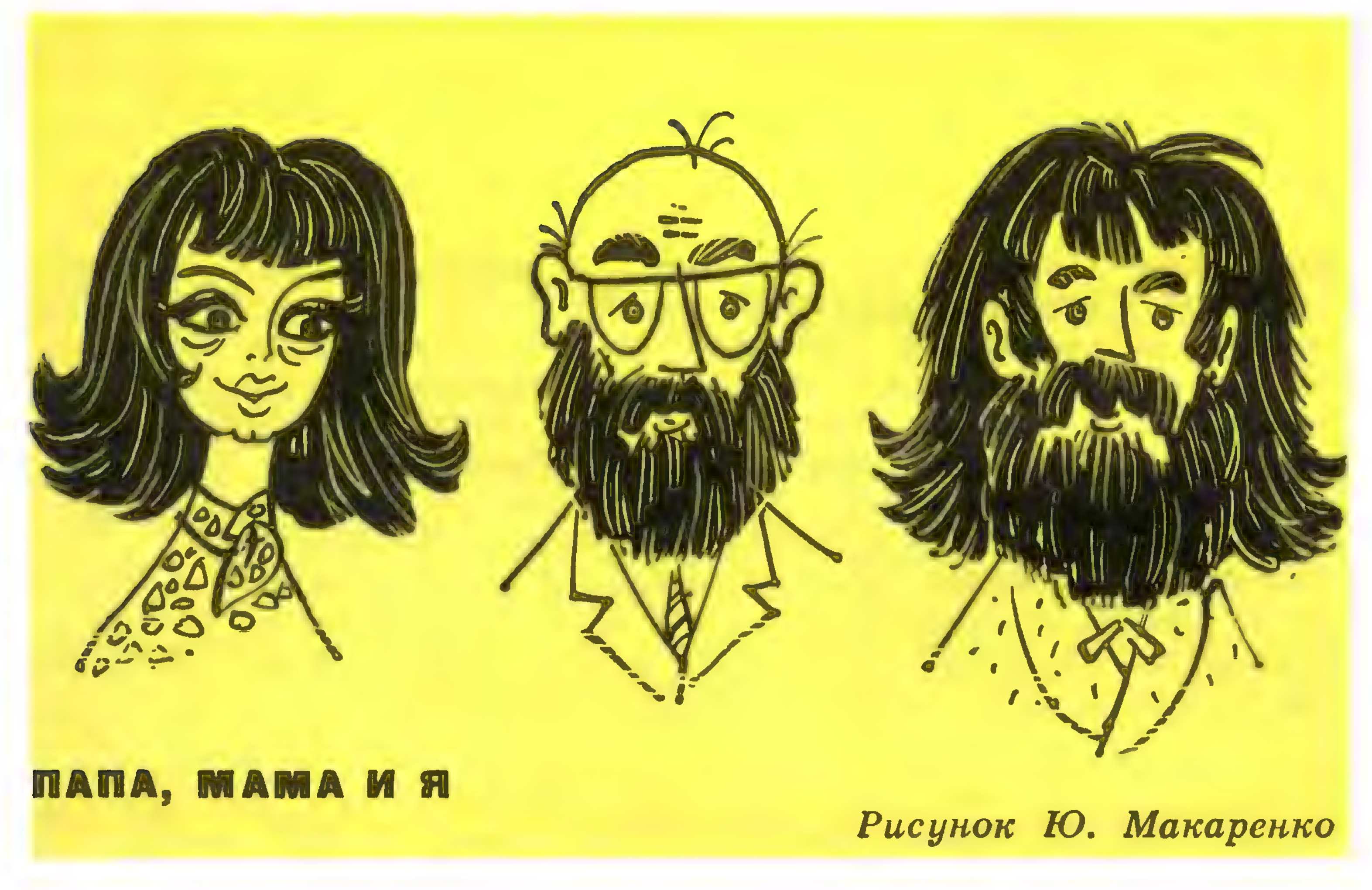
И. РИСТМЯГИ,
Л. ФИРСОВ

Не так давно в старинном замке на берегу Женевского озера был торжественно открыт литературный музей, посвященный Конан-Дойлю. Однако любой посетитель быстро убеждается в том, что речь может идти скорее о музее Шерлока Холмса, знаменитого героя многочисленных повестей и рассказов писателя. В музее представлены «личные» вещи великого сыщика — «его» трубка, шляпа, сюртук, скрипка, увеличительное стекло. Экспонируются письма к нему людей, веривших в реальность существования Холмса, его портреты, фотографии артистов, игравших роль детектива в театрах или в телевизионных передачах.

Почему музей открылся в Швейцарии? Дело в том, что сын писателя — владелец замка близ Лозанны, много лет коллекционировал вещи, непосредственно связанные с популярным литературным героем.

Исполнилось 550 лет со дня открытия в Таллине первой аптеки. Теперь это медицинское учреждение на Ратушной площади эстонской столицы считается одним из самых уникальных в мире. До сегодняшнего дня аптека работает в том же старинном помещении. В ней открыт своеобразный музей, в котором хранятся реторты и другие замысловатые приспособления средневековых аптекарей, а также списки весьма экзотического сырья, из которого раньше готовились лечебные препараты. Посетитель может узнать, например, что для приготовления микстур, мазей и порошков средневековые умельцы использовали пепел из крыльев ласточки, египетские мумии, толченые позвонки гадюк, настойку из дождевых червей...

Удивительную лыжную «прогулку» совершил швейцарский горнолыжник Сильвиан Зайден. Он поднялся на высокую гору на Аляске и благополучно спустился вниз. Первую часть опасного спуска ему пришлось проделать в кислородной маске. Скорость подчас превышала 100 километров в час. Общая протяженность трассы составила почти семь километров. Когда журналисты спросили его о впечатлениях и дальнейших планах, Зайден ответил, что «прогулка» была великолепной, но больше никогда ничего подобного он предпринимать не будет.



ПАПА, МАМА И Я

Рисунок Ю. Макаренко



ЭТОТ МАГАЗИН еще сравнительно молод, ему нет и десяти лет. Расположен он не на «караванных путях», но широкому кругу книголюбов известен так же хорошо, как, скажем, Московский дом книги на Калининском проспекте или «Книжный мир» на улице Кирова. Открыв для себя этот магазин, невольно становишься его постоянным посетителем... Назван он именем первопечатника Ивана Федорова.

Здесь, на улице Костюкова, всегда можно приобрести книгу почти по любой отрасли знаний (хотя профильный уклон его литература, выпускаемая издательством «Легкая индустрия»), получить дружелюбный ответ на волнующий вопрос — таков неписаный закон молодого коллектива продавцов, которым бессменно руководит со дня основания Дина Сергеевна Шалаева.

Есть еще привлекательная особенность у магазина: это один из немногих пока что в столице магазин-клуб — со своим общественным советом, который возглавляет главный редактор издательства «Легкая индустрия» А. И. Гусева и куда входят представители многих организаций Тимирязевского района.

Каких только вечеров не проводили в книжном клубе! Были и встречи с писателями и с авторами книг по искусству: с большим интересом, к примеру, слушали члены клуба рассказ автора книги «Русское народное искусство» О. С. Поповой о красоте и самобытности народного творчества. О книжных новинках рассказывали работники издательств «Молодая гвардия»,



Заместитель директора магазина Юлия Аверкина.

«Книга», «Малыш»... Клуб регулярно проводит свои выездные заседания в средних школах, профессионально - технических училищах, в кинотеатре «Искра». Волнующей была встреча работников издательства «Малыш» и магазина с ребятами из детского дома № 8, которым старшие друзья вручили подарки...

Трудно представить себе всю многогранную деятельность магазина без Ольги Ивановны Труфановой, заведующей организационным отделом. Ее энергия вызывает искреннее восхищение. Ей доверено, пожалуй, одно из самых хлопотливых дел — организация встреч читателей-книголюбов с авторами книг. Должность эта перешла к ней «по наследству» от Валентина Митрофановича Семенова, нынешнего секретаря партийного комитета Москниги. Когда-то он сумел привить молодому продавцу Ольге Труфановой любовь к профессии, раскрыть громадные возможности общения с массовым читателем и помочь ему, читателю, сделать книгу настоящим источником знаний.

Ежедневно отдел магазина «Книга — почтой» отправляет в разные уголки страны бандероли с книгами — в среднем около двух тысяч в день.

...Читателей-книголюбов, зачисляющих себя в ряды поклонников магазина имени первопечатника Ивана Федорова, становится все больше. В кабинете директора непрерывно звонит телефон: десятки, сотни вопросов — от традиционного «Что новенького?» до чисто практического «Как проехать на улицу Костюкова?».





В магазине всегда многолюдно.

Как и в первые дни после открытия, здесь всегда рады новому покупателю.

О. СЕМЕНОВА

Первая страница обложки «Товарища»: обладатель двух золотых медалей XX Олимпиады заслуженный мастер спорта Валерий Борзов. Фотохроника ТАСС.



Олжас СУЛЕЙМЕНОВ

* * *

Вы меня любите, горы,
любите, ели,
в голубое и белое одеты
                                        годы
надо мной пролетели,
унося названия трав,
дорогих чрезвычайно,
в свои шумные краски
                                        вобрав
все оттенки молчанья.
Горным рейсфедером
                                        правлю холодную быль —
я прошел по лавинному склону,
и снежная пыль
опустилась на длинный
извилистый след
моих лет.
Росчерком метеоров —
годы иллюзий.
Вы меня любите, горы?
Любите,
люди?
Вас не исправить,
не превратить в плоскость,
ваши изломы,
горы,
неизгладимы.
Вы так неправильны,
                                        горы,
вам не знакома пошлость,
вас не сравнять, горы,
вы несравнимы.

СЕВЕР

Смотри,
памирские седые яки
уходят на Чукотку по горам —
растолковал им,
что такое ягель,
трава из северного серебра.
Они, сутулые, прошли Алтаем,
не торопясь, к Саянскому хребту,
о, страсть — не суета,
не понимаем,
как далеко мы ищем красоту.
Уйду в прикосновение руки —
невольником в неласковую нежность,
ссылает красота в сибирский
Нежинск,
туда,
в серебряные рудники.
Холодный, благородный мой
металл,
в краю морозном ты рожден,
мой белый,
я в золоте жары тебя искал,
прохладный мой,
победный.
Сияет матово лицо в углу.
Я приближаюсь,
раздвигая мглу.
Нет, эта женщина
не из ребра,
сибирская она —
из серебра.
Озон серебряный в бору звенит,
отсвечивает серебром зенит,
игла сосны,
карагача кора —
чуть улыбнешься ты —
из серебра.
В былинах древних серебрится ягель,
и запахи его нам ноздри рвут.
Идут по тундре молодые яки
и топчут легендарную траву...

МИНУТА МОЛЧАНИЯ НА КРАЮ СВЕТА
5 апреля 1968 года

...На краю самого южного мыса Индустанского полуострова, мыса Каня Кумарии, белеет скромным мрамором гробница великого непротивленца Ганди. На его долю пришлось пять выстрелов. Может быть, они подсказали художникам символ мира, который мы видим на белых олимпийских знаменах.

...В спину Ганди стрелял индус, не то националист, не то фанатик. «Сволочь!» — просто охарактеризовал убийцу мой спутник Чаттерджи.

Он худ, выжжен зноем до кости. Силуэт его четко отпечатан на экране могильной стены.

В этот день в Америке совершилось насилие — убили негритянского гандиста Мартина Лютера Кинга. Индия почтила его память минутой молчания. 500 миллионов минут молчания. Ровно — тысячелетие.

За каждым выстрелом «какой-то сволочи» — века молчания.

О чем думал Чаттерджи в эту минуту?

I

...Мыс Кумарии отбывает закат,
масса красивостей — пальмы
и тодди —
в кубке, отделанном под агат.
Тонкая штопка на бязевом дхоти *.
Черные пятки — в твердый песок,
жилы на икрах сухих обозначив,
пьет, проливая, пальмовый сок.
Я поднимаю глаза —
он плачет.
Дышит, пульсирует впалый
висок.
«Смотрит на Азию
Белый Глаз!

---

* Дхоти — мужская национальная одежда.

Небо чужое сглазило Азию,
черная матерь
с каждой оказией
беды свои досылает
до нас.

Смотрит на нас
Белый Глаз
кровью прожилок —
границами каст,
неприкасаемая свобода,
сгорбясь, уходит
в дебри фраз...»

Крашены солнцем заката двери
грустной гробницы,
лица,
слова.
Громадной далью валит на берег
неприкасаемая синева.

II

В Азиях я говорил с тобой,
Глаз Голубой,
в Европах встречался с Карим
и с Черным Глазом —
они меня на площадях искали,
в глуши библиотек,
они мне щедро подвиги сулили
во имя Азии,
страницами мне в душу
боли лили,
и в мысли влазили
Конфуций
и ацтек.
Не лучше ли,
отринув имена,
уйти в орнамент
безначальных знаков?
Пить сладкое,
не обижая дна,

любить шенгель,
не предавая маков?
Наитием воспринимая мир,
цвета вещей не утруждая смыслом,
из чистых звуков
сотворив кумир,
смеяться — песнями
и плакать — свистом?
Но хлыст и выстрел
отвечали — нет!
Звук обнажает скрытые смятенья:
и боль, и злоба —
каждое явленье
имели
цвет.
Не разобраться в них —
цвета кишели!
Грудь разбивая,
обнажая шею,
иди, пока не поздно,
к простоте.
Увериться в неясной правоте
тех, кто уже не хочет
ни отмщенья
и ни сочувствия к своей судьбе.
Вступаешь в свет,
становишься мишенью —
и поразительно
легко тебе.
Из тьмы огней
глядит, прищурясь, мрак,
отсвечивая оптикой прицела.
И свет воспринимается
как целое.
Делимое наотмашь —
ты и враг.

III

Есть они, Чаттерджи,
в каждой стране,
в каждой волости —
сволочи.

Их не узнать по разрезу глаз,
по оттенку кожи:
может сиять, как якутский
алмаз,
быть на уголь похожим,
плешью блистать вползала,
прямить и курчавить волос.
Все равно
сволочь.
Узнать их не просто:
их цвет отличительный —
серость,
она растворяется в черном,
как в белом и в желтом,
в темных углах души
собирается серость, как сырость.
Белый стреляет в черного?
Серый стреляет.
Серый взгляд
проникает в сердце,
пронзительный, волчий.
Узнаю вас по взгляду,
серая раса, —
сволочи.
Понимаю, пока
в этом самом цветном столетьи
невозможны без вас
даже маленькие трагедии.
Невозможны без вас
ни заботы мои,
ни смех.
Невозможны без вас
и победы мои,
и смерть.
Вам обязан — атакой!
В свете полдня
и в холоде полночи
я ищу,
я иду вам навстречу,
серые сволочи.
Сквозь мгновенья ошибок,
отчаянных самопрезрений,
чтоб минута молчанья

стала временем
                        ваших прозрений.
...Синева потемнела.
Гробница великого Ганди
белым куполом
обозначила Азии край.
Багровым оком встала луна
и на мокрые камни
положила сиянье,
и в пальмах возник
птичий грай.





Федор **ВАСИЛЬЕВ**

ЗАБОТЫ СОЛДАТСКИЕ

Записки рядового

Рис. А. ЗУБОВА

Вместо предисловия

В документальном фонде Центрального музея пограничных войск хранится рукописная история 14-го погранотряда.

На страницах, посвященных боевой деятельности отряда в годы Великой Отечественной войны, описан эпизод, связанный с подвигом автора настоящих записок «Заботы солдатские».

Я выписал эти строки. Вот они:

«...Личную храбрость и мужество проявил рядовой 1-й заставы Васильев Федор Петрович. Будучи в разведке, заметив, что группа противника пытается скрыться в густых зарослях, с исключительной храбростью, не ожидая подхода товарищей, пошел на преследование. В жаркой схватке убил одного, второй под прикрытием сильного огня пытался скрыться. Васильев бросился за диверсантом и уничтожил его. По документам было установлено, что убитый является офицером немецко-фашистской армии, в диверсионной школе находится в качестве инструктора.

Видя, что пограничник один, диверсанты окружили его с целью взять в плен. Вражеская пуля пробила его руку с переломом кости, однако отважный советский воин, превозмогая боль, не покинул поля боя и продолжал одной рукой из своего автомата уничтожать подлых врагов до подхода товарищей. Группа дивер-

сантов в количестве 19 человек была полностью уничтожена.

За храбрость и самоотверженность рядовой Васильев награжден орденом Славы 3-й степени».

Первое боевое крещение Федор Петрович Васильев принял на пограничной заставе, расположенной на Крайнем Севере. Затем, проходя службу в 181-м отдельном пограничном батальоне, он участвовал во многих сражениях, а также в дерзких рейдах пограничников по тылам противника. В 1944 году, когда Советская Армия завершала изгнание фашистских захватчиков с территории нашей страны, Ф. П. Васильев в составе 14-го погранотряда самоотверженно боролся против вражеских лазутчиков и диверсантов, действовавших в тылу наступающих войск 1-го и 2-го Белорусских и 4-го Украинского фронтов.

Пять лет в солдатской шинели... О том, что видел и что пережил за эти годы, и рассказывает автор в записках. Полностью книга Ф. Васильева выходит в Военном издательстве МО СССР в 1973 году.

Мне, литературному редактору этой книги, остается только сообщить читателям, что в настоящее время Федор Петрович Васильев, инвалид войны второй группы, живет в Москве, работает инженером на одном из заводов.

Иван ПАДЕРИН



ИСПОВЕДЬ

Никому не чуждо чувство самоутверждения. Более того: без него просто немыслима человеческая жизнь.

...Крепко спят, умаявшись за день, мои однокашники, мои боевые друзья. Пора бы и мне, но сон не идет. Вспугнул я его своими думами.

А думы все о том же: как и когда солдат становится настоящим солдатом, бойцом? Обычно говорят — в первом бою. Согласен, первый бой — суровое испытание. Но можно ли считать его часом рождения того самого человека, который с оружием в руках сознательно защищает себя, своих товарищей, интересы своей Родины?

Все зависит от того, как прошло это испытание: как ты действовал, ощутил ли веру в свои силы.

...Ты в обороне, попал под огонь противника, взрывная волна снаряда, бомбы или мины оглушила тебя, пулеметные и автоматные очереди не дают тебе поднять головы; забыв о том, что у тебя в руках оружие, какое-то время ты не можешь справиться со страхом за свою жизнь. Но вот справа или слева твои товарищи начинают вести ответный огонь по врагу, вступают в борьбу за себя и за тебя. Теперь и ты, следуя их примеру, пускаешь в ход свое оружие, открываешь огонь пока для обозначения — я жив и действую! — хотя не видишь, куда ложатся твои пули. Потом, как все, по зову своего командира поднимаешься в контратаку, не отстаешь от товарищей, потому что совесть не позволяет плестись в хвосте, — сочтут за труса, а что для солдата страшнее такой кары товарищей! — и опрокинутый противник уже не может взять тебя на прицел.

Так ты остался жив и невредим. Ты вправе считать, что принял боевое крещение, испытан огнем, стал... Нет, нет, не следует спешить с выводами.

Почему? По одной простой причине: ведь ты в этом первом бою не сделал ни одного осмысленного шага: это инстинкт самосохранения подсказал тебе прижаться плотнее ко дну траншеи, а затем, чтобы не унизить себя перед товарищами, броситься в контратаку. Но ты мог легко поплатиться жизнью именно потому, что не использовал силу своего оружия, не сделал ни одного прицельного выстрела. В следующем бою тот, кого ты не сумел уничтожить, может убить тебя, и тогда твоя смерть будет началом горестных утрат в подразделении, а враг тем временем станет обретать веру в свои силы.

Другое дело, если в первом же бою ты, оказавшись в круговороте огня и смертельной опасности, не растерялся, не забыл себя, своих обязанностей, действовал осмысленно — нажимал спусковой крючок после того, как поймал на мушку цель, бросился в контратаку для того, чтобы выбрать позицию, наиболее выгодную для поражения живой силы и техники врага. В ходе боя ты осуществлял замысел командира и помог ему решить боевую задачу за счет своей боевой смекалки — вот с чего начинается солдатская вера в свои силы и способности.

Мне могут возразить: только ли с этого?

Разумеется, нет. Я сужу по собственному опыту: многое зависит от подготовки человека к такому испытанию, от его веры в правоту того дела, за которое он готов сражаться до последнего вздоха. Спроси меня об этом спустя десятилетия после Великой Отечественной войны, когда, с чего начинается солдат. Я отвечу так:

— Если юноша еще в мирное время приобрел навыки действий в условиях, ничем, по существу, не отличающихся от реально боевых; если он хорошо уяснил характер современной войны и всем своим человеческим существом преисполнен решимости выступить на защиту социалистического Отечества, тогда только мы по праву называем его солдатом. Окончательно формируется он как солдат в походах, в учениях. Утверждает себя в бою. Но «начинается» солдат, по-моему, на пункте допризывной подготовки.

Все это я твердо уяснил себе гораздо позже. А тогда, тяжелым летом 41-го года, пережив первый свой бой, я думал: вот и родился еще один солдат, способный одолеть врага!..

...Вчера я снова побывал на перешейке полуострова Рыбачий *. Там, на невысокой пирамиде из камней, возвышался когда-то полосатый столб — пограничный знак моей страны. В одном из первых боев вражеский снаряд снес его. Осталась пирамидка из камней и плит. Но мысленно я вижу этот знак таким, каким знал и видел его с первых дней службы в пограничных войсках: с гербом Советского Союза и табличкой с надписью: СССР.

Тогда, осенью 1939 года, приняв присягу и получив боевое оружие, я впервые встал на охрану территории Советского государства. Это было несколько южнее перешейка полуострова Рыбачий.

...Бывало, ночью выйдешь в дозор — и как подчас трудно одолеть страх перед плотной и сырой темнотой! Она как бы перехватывает дыхание, стесняет плечи, заставляет высоко поднимать ноги. Ни шороха, ни звука. Смолисто вязкая мгла кажется бездонной — не за что уцепиться глазу, нет ни одного зрительного ориентира. Жутковато, по телу бежит колючий озноб. Еще шаг, второй — и повалишься в пропасть... Нет, все-таки есть опора! — вот глаза нашли в темноте смутно светлеющие впереди полосы на пограничном столбе. И дышать стало легче, ноги зашагали уверенно — под ними своя земля. Не знаю, как объяснить, но тот пограничный столб помогал мне много раз одолевать робость и обретать то самочувствие, которое необходимо при охране государственной границы.

На перешейке полуострова Рыбачий фашистам так и не удалось прорваться через границу. И хотя гитлеровцы неоднократно разрушали пограничный знак, всякий раз руками наших солдат и матросов он снова восстанавливался. Тот пограничный знак остался для меня символом стойкости героических защитников советского Заполярья.

...Спят мои однокоштники, боевые мои друзья. Набираются сил к завтрашнему дню — кто знает, что он готовит нам всем? Граница на нашем участке в огне, но враг здесь не прошел, не должен пройти.

Спят мои товарищи, а ко мне не идет сон — и вспоминается мне моя еще короткая жизнь. Жизнь, в начале которой я и предположить не мог, что стану пограничником и первый свой бой приму в числе самых первых на холодных заполярных камнях...

После школы я поступил работать на Тушинский завод металлоизделий. В первый же день начальник отдела кадров вручил мне конверт с чистым бланком и сказал:

— Зайди в военный стол.

Мне стало смешно, когда я представил себе, как я захожу «в стол» с моей комплекцией — сажень с вершком, — и я хмыкнул:

— Под стол могу, а в стол — не знаю как.

---

* Под Рыбачьим автор подразумевает полуострова Рыбачий и Средний, под перешейком — хребет Муста-Тунтури, соединяющий полуострова с материком.

— Это в соседнем доме, на первом этаже, — невозмутимо ответил начальник отдела кадров.

Стучусь в дверь с надписью: «Военный стол». В двери открылось окошко, выглянул усталый старичок в очках.

— На учет? Ясно, — сказал старичок и принялся заполнять анкету. — Фамилия, имя, отчество?

— Васильев Федор, по отчеству Петрович. Год рождения тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Социальное положение?

— Был учеником, теперь хочу стать рабочим.

— А родители?

— Мы вся семья — рабочие.

— Образование?

— Семь классов.

— Партийность?

На этот вопрос я не знал, как ответить. В пионерах состоял, был барабанщиком звена, даже председателем совета отряда. Потом вступил в комсомол. Мечтаю стать коммунистом. Сердцем знаю: не жить мне без партии, в которой состоял и отец, потомственный хлебороб. И как-то не хочется категорично отвечать: беспартийный. А как отвечать? Я растерялся. Но старичок все понял, поставил в моей военно-учетной карточке карандашную пометку «б/п», ободряюще кивнул.

— Ничего, сынок. Живи правильно, и партия тебя примет. А допризывную подготовку с весны начнем. По всем правилам: два-три часа после работы каждую неделю по вторникам и четвергам.

Военным делом я занимался с охотой. Отец постоянно твердил и мне, и моим старшим братьям, что без службы в армии он так и остался бы вахлаком. Слово «вахлак» в его толковании означало совершенно непригодного к жизни человека.

— Будь моя воля, — говорил отец, — я бы тому, кто не знает военного дела, кто не послужил в Красной Армии, не разрешил бы и жениться. Настряпает детей, а кто их будет защищать от врагов?

Военная подготовка, особенно строевые занятия, день ото дня наполняли меня ощущением собственной силы, избавляли от неуклюжести. Бывало, правда, что ноги заплетались, и я мешал другим чеканить шаг, но это не очень смущало меня, потому что был я всегда на правом фланге, направляющим. Все равнялись на меня. А стрелковая подготовка и метание гранат шли у меня совсем хорошо. Я не жалел сил, даже по воскресеньям ходил в тир и на стадион — тренировался до седьмого пота.

Наконец настал день явки на призывную комиссию.

После комиссии пришел домой. Мать подала обед, положила руку мне на плечо. От руки пахло сырым картофелем, льняным маслом и луком. На лице густая сетка морщинок. Выглядела мать старше своих лет. Спросила:

— Значит, годен?

— Годен, мама, годен.

Вдруг она всхлипнула, приложила платок к глазам.

— Тех двоих провожала — не так грустно было. Тогда отец был жив...

— Все будет хорошо, мама. Сказали, завтра с вещами являться.

— Тогда ступай, зови братьев и тех, кто у тебя на примете, на ужин.

В первую очередь я забежал к Анюте Булановой, девушке, которая глянулась мне с первых дней работы на заводе и на днях сказала, что будет ждать меня из армии.

Вечером, за ужином, Виктор, старший мой брат, лобастый, всегда веселый, напутствовал:

— Смотри, Федька, начальнику не груби, чтоб никаких «шаляй-валяй». Там без дисциплины ни шагу. Род войск-то определили?

— В гренадеры! — гордо заявил я. — Так вроде на комиссии обмолвились.

Загремел хохот. Виктор похлопал меня по плечу.

— Что ж, гренадер! Старайся, служи.

Утром, перекинув через плечо приготовленный в дорогу холщовый мешок со снедью, я зашагал на сборный пункт. Там ждала меня Анюта. Ей разрешили проводить меня до вагона.

Раздался свисток, и платформа вместе с Анютой поплыла назад.

В Мурманске нас встретили командиры и политработники в зеленых фуражках.

ПЕРЕД СУРОВЫМ ИСПЫТАНИЕМ

Кто-то давным-давно бухнул, не подумавши, фразу, которая бытует, к сожалению, еще и теперь: «Солдат спит, а служба идет». Сказано смеху ради, а меня это коробит. Получается, вроде никто на свете не может не трудиться, иначе дела остановятся, а вот солдату, мол, что волноваться: знай спи. Между тем смею утверждать: нет у солдата ни одной лишней минуты для сна. Это в условиях мирной жизни. А в бою, на боевых позициях солдату вообще спать некогда. Уснешь вот так, беззаботно — можешь и не проснуться, да и не только ты один...

Старая эта прибаутка до сих пор как бородавка на языке людей, не знающих армейской жизни. Не берусь предлагать каких-либо мер против этой несправедливости, одно только могу предложить острякам: послужи — узнаешь, что по чем. И расскажу лишь о своих солдатских заботах.

Мне и раньше приходилось слышать, что служба пограничная не из легких, и каких-либо иллюзий на свой счет я не питал. Но то, с чем довелось столкнуться уже в первый год службы, превзошло мои ожидания. Боевая и политическая подготовка, физические тренировки, различные хозяйственные работы — все это с подъема и до отбоя. Ни одного часа без дела. 82-й пограничный отряд, в котором я начал службу, запомнился мне именно тем, что там умело и настойчиво «вытряхивали» из нас, как говорил старшина, «гражданскую пыль и домашнюю хлябь». Строй так строй: чтоб сто каблу-

ков стучали, как один; вышел на работу — вкалывай так, чтоб пар над спиной...

Трудиться вполсилы я не умел, а потому, конечно, уставал поначалу. Но старался не показывать вида, бодрился — москвич как-никак! — а после отбоя оставался в комнате политрука — рисовал заголовки и карикатуры для стенной газеты.

Не сразу, не вдруг пришли ко мне внутренняя собранность, вера в себя, в свои силы и возможности. Надо было заслужить авторитет и доверие у сверстников, у опытных воинов и командиров. Стать таким бойцом, без которого отделение пограничников, как рука без одного пальца, хотя бы и безымянного, не будет иметь необходимой силы и цепкости, оказалось делом нелегким и далеко не простым.

В жизни солдата, особенно молодого, трудно переоценить роль командира отделения. Он не только строго потребует, но и поможет, проявит о тебе заботу; не только расскажет, но и покажет: «Делай, как я». Именно таким запомнился мне младший сержант Попов, мой первый непосредственный наставник. Ни себя, ни времени на нас, молодых и еще зеленых, сержант не жалел. Занимался с каждым помногу, заставляя каждое упражнение, каждый прием отрабатывать, как он говорил, «до полного блеска». Службу младший сержант любил, все делал от души, с каким-то даже радостным удовольствием, и нас учил тому же. (Младший сержант Попов отличился в первых же боях Великой Отечественной войны и был награжден орденом Красной Звезды.)

На границе между миром и войной всегда один шаг. Неспокойно было и на нашем участке — мы чувствовали это уже с первых дней службы, когда еще проходили курс подготовки молодого бойца.

...Звучит сигнал боевой тревоги:

— В ружье!..

В ту ночь мы спали не раздеваясь. Сон был рваный, тревожный: накануне наши разведчики-наблюдатели заметили на сопредельной стороне большое скопление пехоты противника.

Вскакиваю — и сразу, как учили, к пирамиде с винтовками. Проверяю подсумки с патронами. Теперь надо получить «дополнительный паек» — шесть штук гранат РГД с оборонительными рубашками — и без опоздания занять свое место в строю.

Начальник заставы не стал ждать, как это бывало на учебных занятиях, пока выравняется строй, а лишь на минуту подозвал к себе командиров взводов, и тут же последовала команда:

— ...Стрелки и пулеметчики занимают свои боевые позиции на первом рубеже. Огнем и штыком преградить путь врагу!..

Через несколько минут я уже занял стрелковую ячейку на пограничной высотке и, прижимаясь к брустверу, вглядываюсь в синеющую за пограничным столбом даль, налитую до краев грозной тишиной. Что будет, с чего начнется это новое и, как видно, нелегкое испытание? Учебная эта или настоящая боевая тревога? Я готов ко всему, кроме плена и смерти.

...Тревога, еще тревога, еще... Каждый раз менялись, все

более усложняясь, боевые задачи. С каждым разом все увереннее я чувствовал себя в нарядах, на огневом рубеже. С каждым разом все точнее и легче получалось у меня то, чего, как поначалу казалось, мне никогда не освоить — умение быстро оценивать стремительно меняющуюся пограничную обстановку, находить по приметам, ведомым одним только пограничникам, товарищей, замаскировавшихся справа и слева. Раз от разу набираясь опыта, я все более избавлялся от неуверенности в себе. На смену пришло отчетливое понимание того, что, только когда помнишь, что ты не один и не за себя одного отвечаешь, тогда только можешь надеяться на товарищей и быть уверенным: в случае чего они прикроют тебя. Чем меньше остается в тебе этакого своекорыстия, тем больше тебя любят люди. Об этом должен крепко задумываться каждый юноша, вступая в самостоятельную жизнь, — хотя бы потому, что армия все равно заставит об этом думать. В армии на этом держится все — на взаимовыручке да еще на умении не опускать рук ни при каких обстоятельствах. Всегда помни: рядом может оказаться человек слабее тебя духом. Твоя растерянность сделает его вовсе небоеспособным. Это страшно для армии вообще и совсем недопустимо на границе, где судьбу многих зачастую решают считанные минуты, а то и секунды.

Так подумалось мне на коротком привале после учебного марша через перевал. Мы лежали на снегу и смотрели в небо. Скоро наступит серая сплошная темнота, длинная полярная ночь окутает Кольский. Покуривая, мы следили за подгоняемыми ветром облаками. Густой пар дыхания инеем оседал на воротниках шинелей, на бровях и ресницах, от усталости клонило ко сну.

— Кон-чай перекур! — распорядился командир отделения. — Продолжаем занятия. Задача отделению: подобраться по-пластунски к проволочному заграждению. Васильеву проход в заграждении проделать, забросать гранатами пулемет противника.

— Есть проделать проход!

Поползли мы развернутой цепочкой, оставляя за собой в рыхлом снегу широкие борозды. Снег набивался за ворот, лез в рукава. Я как-то умудрился потерять рукавицу, но, разгоряченный, даже не почувствовал этого.

Левее проволочных заграждений палили из винтовок по мишеням другие отделения. Справа целый взвод под задорное «ура» атаковал высоту у реки. Морозный воздух звенел от этого крика и винтовочных выстрелов. Мне и вправду представилось, что здесь разгорается страшный бой; враг где-то рядом, ловит меня на прицел. И моих товарищей тоже. И единственное спасение для них — вот этот мой проход в проволочном заграждении. И я, глубже зарывшись в снег, не поднимая головы, яростно режу проволоку ножницами.

Ребята уже в атаку поднялись, а я все резал, резал...

Отделение получило хорошую оценку по тактике, но мне пришлось еще раз ползти по своей трассе. Я разгребал колючий снег до тех пор, пока не нашел все-таки злополучную рукавицу.

В комендатуру вернулись в полночь. Шинель покрылась

тонкой хрустящей коркой. Брюки, гимнастерка, подшлемник — мокрые, как после стирки. Портянки пристыли к стелькам сапог. Все это надо высушить, отмять — к подъему солдат должен блестеть, как новый патрон.

Пока сушил обмундирование — свое и тех ребят, что устали больше меня, — времени минуло немало. Наконец прилег на койку и сам. И только-только вздремнул, только какой-то сон смотреть начал — «подъем!». И снова в строй, и опять все сначала...

Прошло еще несколько дней, и резко изменившаяся пограничная обстановка еще больше сократила лимит времени на отдых и сон. Ждали чрезвычайных событий. И вот это случилось.

...Рывком распахнулась дверь. На пороге показался старший политрук Зыков. Быстрый в движениях, поскрипывая ремнями, он приблизился к столу. Лицо его было непривычно бледным.

— На Карельском перешейке обстреляны наши заставы...

Мы все, сколько нас было в красном уголке комендатуры, напряженно застыли.

— Финская военщина, опираясь на внутренние реакционные силы, ведет дело к войне, ставит под угрозу Ленинград. В ее авантюре заинтересованы Германия, Англия, США...

Появился дежурный по штабу отряда:

— Всем, в полном боевом, на выход!..

Через несколько минут резервная застава комендатуры повзводно двинулась вперед, на усиление застав первой линии. Шли на лыжах по глубоким нетронутым сугробам.

В казарме заставы нас встретил плечистый, смуглый, с пистолетом на ремне лейтенант Лужин, начальник заставы. Он коротко познакомился с новичками. Нас тут же раскрепили: в пару к каждому дали опытного пограничника. Ко мне подошел белокурый скуластый солдат с веселыми глазами.

— Липаев Федор, — назвал он себя. — Карел я, но родился и вырос в Мурманской области. До призыва в армию — олений пастух. Тундра — дом мой, костер — брат мой, тайга — мать моя! А здесь уже третий год служу.

Уяснив поставленную Лужиным перед нами задачу, он повел меня в каптерку — получать полушубок, сумку с гранатами и пузырек с бензином.

— Не забудь в случае чего на затвор бензинчику капнуть. При сильном морозе затвор заедает, а бензин поможет.

Встали на лыжи, пошли. Липаев с беспокойством то и дело посматривал на запад. Вздохнул:

— Пурга, тезка, под утро большая будет, и мороз нажмет! Ох, и морозы же в этом году будут...

— Откуда тебе известно?

— Карел знает, какая погода будет за неделю вперед. Гляди, какой снег: сыпь редкая, совсем редкая сверху летит. Откуда берется? Мороз выжимает воздух, сухим его делает. А на западе, где солнце спряталось, смотри, как небо подгорает: беда может быть и людям, и зверям, и птицам, когда пурга залютует. Это доброе солнце предупреждает...

Наскочил ветер. Сухой, колючий и мелкий снег пылью по-

сыпался на лыжню. Поземка волна за волной поползла по насту; поднялась и с каждой минутой стала все больше густеть белая мгла. Пропали всякие ориентиры. Будь я сейчас один — заблудился бы. Но Липаев вышел точно к назначенному пункту. Здесь мы встретились с группой младшего лейтенанта Иванова.

— Будем продолжать движение на левый фланг, — объявил командир группы. — Там наших разведчиков противник прижал. Смотреть в оба — можем нарваться на «кукушек».

Над лесом, оставляя за собой тусклый след, взметнулась красная ракета. Группа залегла.

Меня и еще двоих назначили в дозор. Первое боевое задание.

Густым чапыжником мы ушли от своих метров на двести. И тут мне захотелось показать себя настоящим пограничником — самостоятельным, решительным и смелым: рванулся в ту сторону, откуда бросили в небо ракету. Эх, молодость, молодость, как много в тебе задора и энергии и как подчас до обидного мало, как говорится, ума! Один необдуманный шаг — и вот расплата...

Перед глазами блеснула молния. Меня качнуло, в ушах оглушительно ударили колокола. И земля мягко ушла из-под ног. Я упал, не выпуская из рук винтовки: понимал — без нее мне конец. На глаза наплыло что-то теплое. Винтовка качалась и вздрагивала в руках. Пальцы не слушались. Открыл огонь. По кому стрелял — не видел. Бил просто в сторону противника. Стрелял и отползал влево, потом вправо, опять влево...

Красные, зеленые, оранжевые круги плясали перед глазами. Першило в горле. Полушубок казался тяжелым и тесным. Жадно, горсть за горстью, принялся глотать сухой снег. Земля широкими взмахами качалась перед глазами. Мелькнула мысль: «В пургу ночью можно заблудиться». И еще: «Только бы не уснуть...» Откуда-то издалека настойчиво звал отец: «Вставай, сынок, вставай! На пашню идем... Вставай!» И вот уже сивый конь спокойно тащит плуг, я крепко держу чапыги, и отец наставляет меня: «Плуг держи свободней да глубже бери, глубже, там земля сочней». Полуденное солнце жарко палит. Но вот его закрывает туча, и крупные капли дождя хлещут меня по глазам...

Очнулся. Вытер лицо ладонью. На пальцах кровь — выходит, ранен в голову.

В госпитале мои догадки подтвердились, горячность, неосмотрительность поднесли меня под бросок гранаты. Вот и получил первый урок...

Вернулся в строй уже после перемирия с финнами. На советско-финской границе временно стало тихо.

Меня назначили в хозяйственный взвод, и службу эту хозяйственную с тех самых пор я недолюбливаю: почти круглые сутки на ногах, даже после отбоя поднимали. То по распоряжению начпрода — на кухне не хватало дров, то по приказанию оперативного дежурного — в помещении не прибрано, а завтра ожидается начальство... Работы хватало, как говорят, на все четные и нечетные числа. Что, однако, поделаешь? Служба!

Усталому полено под головой мягче подушки. Помню, приткнулся я как-то к косяку дверей каптерки. Угол косяка не дает голове валиться ни вправо, ни влево, но если кто дернет дверь, врасплох меня не застанет, мигом на ноги поднимусь. И вздремнул я маленько у того косяка. И привиделся сон: будто уговаривают меня пограничники со второй заставы: «Бросай, Федор, свой хозвзвод и просись опять к нам. Заставе опытный народ нужен, ты ведь уже человек обстрелянный...»

А наяву подвела меня моя хитрость. Прозевал я комвзвода.

— Спишь, значит, Васильев? — строго спросил он, тряхнув меня за плечо. — Собирайся. Приказано откомандировать тебя в распоряжение лейтенанта Козюберды. В разведку отзывают. Говорят, сегодня начальника погранвойск округа пойдете сопровождать вдоль границы. Липаев за тобой прибыл. Гляди там, Васильев!

Шесть суток инспектировал границу начальник пограничных войск округа генерал Синилов. По тому, как проводилась инспекция, мы чувствовали: перемирие перемирием, но затишье, похоже на то, дело временное.

После отъезда Синилова меня оставили на той заставе, где я принял свой первый, такой для меня неудачный бой.

Сейчас кинулся ко мне Петр Терьяков, с которым я ходил в тот боевой дозор, когда нарвался на засаду противника.

— Васильев! Каким ветром? Глазам не верю!

Мы обнялись.

— Шлем твой я на другой день нашел. Дырочка в нем. И кровь на сукне запеклась. С собой ношу. Думал, спишут тебя...

— За одного битого двух небитых дают. Теперь-то уж я умнее буду.

— То цветочки были, — ответил мне на это Терьяков. — Чую, крутая пора подходит. Забот скоро свалится — успевай только...

Опытный пограничник, чутьем угадывая, подобно птице, приближение бури, готовит себя к суровым испытаниям. И мне передалось его настроение. На первый план выдвинулась забота о самом главном. Прошло еще немного времени, наступил июнь сорок первого, и эта самая главная забота обрела совершенно конкретный смысл: я в своем окопе на пограничной высоте прижался к брустверу, жду. Палец на спусковом крючке...

ЛИНИЯ ПРИЦЕЛА

...Вдруг невдалеке от меня, в моем секторе обстрела, метнулось что-то огромное, коричневое. Замерло в кустах. Они? Плотнее прижимаюсь к брустверу, лихорадочно ищу точку прицеливания и сквозь прорезь прицела вижу голову лосихи — длинная морда, широкие ноздри, огромные добрые и настороженные глаза, как две крупные сливы. Возле нее, под брюхом, два живых рыжих пятна — лосята. Я отложил винтовку. Мне даже показалось, я слышу запах густого теплого молока.

Лосиха, видать, только что разрешилась — тощая, бока впалые, да и лосята еле на ногах стоят. Двойню припожаловала, молодчина. Вот она снова вскинула голову, оглянулась, прижала уши и сначала медленно, потом все быстрее пошла прочь, огибая подножие высотки. Лосята сдерживали ее ход, и она нервничала.

Но мне некогда было следить за ней: зверь испуган — значит, там, впереди, есть кто-то, поднявший лосиху с лежки. Этот «кто-то» может быть только чужим. И я изготовился к бою: моя задача — встретить врага огнем и штыком. Встретить и остановить здесь, на моем рубеже.

Справа, уступом ниже, наш дзот. В нем мои друзья пулеметчики. Среди них Терьяков и Липаев. Терьяков позавчера вернулся с побывки. Заглянул ко мне в этот окоп.

— Вот ты где, Федор, зарылся... Днем с огнем не сыщешь. Здравствуй...

Он стоял передо мной без шинели, туго перехвачен ремнем, бодрый.

— Письма тебе от матери и Ани привез.

Лопата выпала из моих рук.

— Как они там?

— Ничего, живут. Гостинец тебе передали.

Мы присели на дно еще недооборудованного окопа. На три недели давали Терьякову внеочередной отпуск за пойманного немецкого лазутчика, но он недогулял, вернулся раньше срока на пять дней, однако наказы товарищей выполнил — побывал у родителей однополчан-москвичей.

— Шлем твой, Федя, матери отдал. Разглядывала долго, дырочку от осколка в шлеме нашла, пятно кровяное коричневое рассмотрела. «Федюшкина кровь?» — «Да, — говорю, — его». Всплакнула. На видное место, на комод поставила, звездой напоказ. «Пущай, — говорит, — так и стоит до Федора».

— Значит, верит, что вернусь, спасибо ей, — вслух подумал я.

— А это вот тебе, — Терьяков, улыбаясь, развернул газету и извлек из нее банку меда. — Наказала довезти в сохранности. «Пусть, — говорит, — Федор полакомится...»

— Чего ж — один? Давай на всех разделим. Вот только окоп дооборудую...

Часа два еще мы с Терьяковым заканчивали оборудование стрелковой ячейки и затем отправились к нему в хозяйство, в дзот, перекурить, парой слов с ребятами переброситься: они еще не знали, что Терьяков вернулся.

— У-у, бисова детина, явился, — проворчал, увидев Терьякова, Иван Дорошенко, командир пулеметного расчета, самый невозмутимый человек из всех, кого я пока знал. — А гостинцы где?

Терьяков засмеялся.

— Помнил о тебе, Дорошенко, помнил. Чемодан зеленого луку и ведро меду старшине отнес, к обеду все на столе будет, отведешь душу.

Жилистый и худой, как я, Андрей Новоселов в сердцах махнул рукой:

— Все о жратве толкуете. Будто и заботы другой нет!

— А о чем же гутарить треба? — лениво спросил Дорошенко.

— Плохие вести ребята принесли. От Кучинских высот ночью наряд прибыл. Рассказывали: на соседней заставе лазутчиков взяли. Немцы, а форма на них наша. Нахально себя держали, сволочи: напрасно, мол, захватили нас, все равно освободят скоро. Понимать это надо так, что ихним солдатам в башку, видать, крепко вбили — на Россию войной идти.

— Не болтай! — одернул его Дорошенко. — Мы ж с Германией мир в Москве подписали! Риббентроп ихний и Молотов на фотографии в газете рядом сидят! А в общем, поживем, побачим...

Долго мы проговорили тогда, и было нам о чем говорить. Надвигались события, суть их была для нас еще смутной, и только одно было нам ясно уже тогда: если случится самое худшее, первыми почувствуем это на себе мы здесь, на границе...

Возвращаясь на заставу, свернули по пути к учебной площадке, к чучелам, на которых отрабатывали приемы штыкового боя: решили маленько размяться.

— Коротким коли!.. Прикладом вперед удар!.. Назад удар! Коли! Вот так коли! — покрикивал проворный Терьяков.

Я старался без ошибок выполнять приемы, которые он показывал мне, но я левша, колю с левой руки (стреляю тоже с левого плеча), и мне думалось, что именно потому Терьяков не мог понять меня, требовал так строго и сердито.

— Да как ты прикладом бьешь, дядя?! Вот так надо! Вот так.

Рубашка липнет к телу. Рукавом гимнастерки смахиваю пот с лица. Дерево винтовочного приклада скользит в пальцах, как намасленное.

— Теперь хорошо!..

Наконец-то я угодил ему.

Тренировка штыковым боем как бы помогла нам успокоиться.

Так было еще вчера. А сегодня...

Дальний шум моторов возник в воздухе. Шум нарастал, катился над тундрой и вот уже превратился в рокот. Самолеты!.. Их было три. Они пересекли границу низко, на бреющем и шли, казалось, прямо на меня. На плоскостях когтистая свастика. Немцы...

Противно засосало под ложечкой. Я вскинул винтовку, но разве можно поймать их на прицел?

Самолеты еще сбросили высоту. Из плоскостей полыхнуло колючее рыжее пламя, заструился белый дымок. Фонтанчиками вскипела земля — это пулеметные очереди хлестнули по нашей высотке. Свинцовая строчка прошила песок у самого моего окопа. Рев моторов прокатился над головой — мне показалось, что я слышу запах горячего масла. Я еще дважды выстрелил по самолетам вдогон и в ту же секунду заметил, как от желтых фюзеляжей отделились и пошли к земле с нарастающим воем по две черные капли. Шесть гулких взрывов ударили за высоткой, в нашем тылу. Ощутимо трях-

нуло землю. Значит, бомбят. Значит, не провокация. Значит, это уже серьезно.

Гул самолетов удалился влево, затем повернул обратно и скоро затих в отдалении, словно бы растворился в холодной синеве неба.

Фашистская пехота, которую мы ждали с той стороны границы, почему-то не поднялась.

Прошло пять, десять минут — никакого движения на той стороне. Испытывают выдержку нашу, ждут — не побежим ли мы со своих позиций после налета авиации.

Ко мне по ходу сообщения прибежал Мутовилин.

— Жив? Башку зачем подставляешь? Винтовкой самолету что сделаешь? Зенитки сюда надо!

— Сунутся дальше и на зенитки нарвутся.

— Ай молодец, заговорил! — Мутовилин даже хлопнул в ладоши. — Молодец, говорю, я голос слышать твой хотел. Думали — пулеметом пришило тебя.

На востоке, заволакивая серой угрюмой мглой горизонт, поднимался черный столб дыма.

Появился Терьяков, слева подошли Долгов, ручной пулеметчик, и наблюдатель с окопным перископом.

— Этак выскакивать будешь, Федор, врагов убитыми не увидишь, — сказал Терьяков, деловито заворачивая самокрутку, повернулся к наблюдателю. — Дай прикурить, старослужащий...

— Тишина-то, — вздохнул Долгов. — Хуже нет такой тишины, когда не знаешь, что дальше будет. Скорей бы уж они поднялись, что ли! Давай, ребята, по местам расходиться. Не ровен час...

Однако никто не тронулся — следили за наблюдателем, приникшим к окулярам перископа. Сколько мы так ждали, сказать трудно. Почудилось — целую вечность. Наблюдатель молчал. И вдруг лицо его стремительно побледнело.

— Товарищ лейтенант! — крикнул сорвавшимся голосом. — Идут, товарищ лейтенант!

— К бою!

Я даже не заметил, как в моем окопчике стало просторно.

Лес на той стороне границы словно расступился. Темные далекие человеческие фигуры двигались к нам. Шли быстро, полукругом охватывая лощину, заросшую кустарником и карликовыми березками. Тишина установилась такая, какая бывает в последние мгновения перед ударом грозы. Я слышал только собственное дыхание да еще слабый, далекий треск кустарника под сапогами все более ускорявших шаги врагов.

Прикладываюсь к винтовке, ставлю прицел на риску 400 метров. Это расстояние до черты, где кончается нейтральная пограничная полоса. Буду ловить на мушку первого из тех, кто ступит на нашу землю в секторе моего обстрела. Раньше открывать огонь нельзя.

Стали доноситься звуки губных гармошек: наступающие, должно быть, подбадривали себя. Потом гармошки смолкли, и разом затрещали автоматы. Свистнули пули над головой, осыпая с веток листву.

Ловлю на мушку бегущего впереди автоматчика. Он строчит беуприцельно еще, прямо перед собой, уперев приклад автома-

та в живот. Целюсь, подводя мушку, как учили, под грудь. Все. Автоматчик уже на нашей стороне. Нажимаю на спусковой крючок.

— Огонь!!! — Голос лейтенанта Лужина тонет в грохоте дружного залпа.

Застучали пулеметы. Взметнулись черные смерчи земли — немцы, похоже, начали бить из минометов. Над бруствером потянуло гарью. Сквозь пыль разрывов я разглядел впереди неподвижные человеческие тела. Первые враги, убитые нами на нашей земле. Мы их не звали сюда. Они сами пришли за смертью.

Встретив дружный точный огонь, видимо, не ожидавшие его, нападающие откатились и залегли. Огонь ослабел. Потом стих совсем так же внезапно, как начался.

Першило в горле, хотелось пить, а фляжки с собой не было. Пригнувшись, побежал по траншее к дзоту — там, у Терьякова, должна быть вода.

Под низкими сводами дзота кисло пахло сгоревшим порохом. Звякали под ногами стреляные гильзы. Терьяков заправлял в пулемет новую ленту. Глаза его на заострившемся лице возбужденно сверкали.

— Сукины сыны! Видал, как мы их из пулемета? Жалко — мало, да отбежали далеко, не достанешь. Ну, подождем... — Он смахнул с лица капли пота. — И ты на водичку не очень-то налегай, пригодится водичка. «Максимка» наш тоже пить любит. И, по всему, еще потребуется нашему пулемету вода...

Я вернулся к себе. Земля чадила. Прямо передо мной, метрах в тридцати, за бруствером, валялся немецкий автомат. Чуть дальше, уткнувшись лицом в землю, лежали два фашиста. Один из них был убит. Другой, здоровый детина, протяжно стонал.

— Помочь ему, что ль? — крикнул я соседу.

— А если у них там в кустиках снайпер сидит? Не суйся уж лучше.

— «Язык» зазря пропадет!

Немец поднял голову. Увидел винтовку, направленную на него, — глаза немца стали от страха совсем круглыми и пустыми.

— Ком! — крикнул я.

Немец послушно двинулся в мою сторону, с трудом перевалился через бруствер в ячейку. Руки его дрожали.

— О мутер, дайн зон ист эрмордет. О муттер, муттер...

Он все повторял эти слова, пока мы с Новоселовым, моим соседом слева, тащили его к дзоту.

— Мать вспоминает, ишь!

— Спятил со страху, — заключил Терьяков. — Глаза под лоб закатываются. Давай перевяжем, что ли, а потом, Мутовилин, отведи его в тыл. Может, на что лейтенанту этот «язык» и пригодится...

Как ни била нас лихорадка ненависти, вид раненого подействовал, шевельнулась в душе жалость. Мы перевязали немца. Мутовилин сунул в карман его документы.

— Айда, немец, пошли. Да не трусь, не к стенке еще. Сначала к доктору, понял?

Но не суждено было жить этому немцу, первому живому гитлеровцу, которого я видел вблизи. Мутовилин направился было с ним вдоль траншеи ко второй линии, но тут, то ли заметив движение в линии нашей обороны, то ли просто для острастки, немцы бросили по траншее пару мин. Мутовилин успел вжаться в землю. Немца уложило осколками на месте.

— Вот как бьет, шайтан, — сплюнул Мутовилин. — Самая малость — и пошла бы моя душа к аллаху...

И опять стало тихо, и так было, может, час, а может, и больше — мы за временем не следили. Пехота врага не возобновляла атаки. Прибежал посыльный: меня требовали в блиндаж лейтенанта Лужина.

В сыром продолговатом блиндаже начальника заставы собрались командиры. Они сидели на топчане — земляном выступе, покрытом досками, жадно курили. Дым завивался серыми жгутами под накатом блиндажа. В щель амбразуры била узкая полоса света, делила полумрак блиндажа надвое. К порогу вместе с дымом тянул сквознячок... Мне определили место у входа — я назначен связным лейтенанта Лужина. Прислонив винтовку к притолоке, я оседлал валун, торчавший из земляного пола.

Лужин, пригнувшись, ходил озабоченно от стенки к стенке.

— Теперь обстановка окончательно ясна. Будем воевать по-настоящему. Долг перед народом своим, товарищи командиры, обязывает нас сражаться, не зная страха в бою. И никаких колебаний. Позора, малодушия не простят нам. Сами об этом не забывайте и бойцам напомните еще раз. С позиций не отходить ни за что. Такой мой приказ. А что дальше будет, увидим. Пока все по местам.

Лужин, оставив в блиндаже политрука и меня, отпустил остальных и развернул на столе карту.

— Давай, политрук, поразмышляем вслух за противника: что он станет делать дальше.

Пока Лужин рассуждал над картой, я старался осмыслить наше положение. Комендатура не сможет выслать помощь на все заставы. Военных частей поблизости нет. Какие силы у противника на той стороне, еще неизвестно. Что будет? И только сейчас я вдруг с полной ясностью понял, что молодость наша теперь осталась позади.

Время шло. Немцы молчали. Нет ничего хуже вот такого молчания перед началом действий, которых не можешь предугадать.

Снова послышался характерный рев авиационных моторов. Группа самолетов со свастиками на плоскостях прошла на Мурманск. Что сейчас делается там? На душе было муторно. И, словно разгадав мое состояние, политрук Николай Иванцов отошел от амбразуры блиндажа, присел на топчан и принялся перематывать портянки. Вид у него был в эту минуту такой, словно сидел он не в блиндаже, а на крыльце заставы и не спеша собирался «пройтись» по постам, как он делал это всегда по утрам. Он был весь поглощен этим занятием, словно впереди, за полосой ничейной земли, не было немцев. Я успокоился.

Над блиндажом просвистели снаряды. Взрывы загрохотали за нашей спиной — в тылу позиций, на территории заставы.

Загорелись казарма и подсобные постройки. Похоже, немцы брались за заставу всерьез. Я восхищенно посмотрел на лейтенанта Лужина: немцы били по пустому месту, застава-то вся укрылась в окопах.

Зазуммерил телефон. По тону разговора я понял, что на проводе, должно быть, начальство.

Бросив трубку на аппарат, Лужин сказал мне:

— Беги на левый фланг, на свою высотку, и скажи пулеметчикам: экономить патроны и никаких лишних движений. То же передай правому флангу. Да поосторожнее там.

— Слушаюсь, экономить патроны и никаких лишних движений.

Пробе́гал, прошагал и пропо́лзал я, хоронясь за валунами, с фланга на фланг весь день. И, не помню как, заснул на пороге блиндажа: гитлеровцы сидели тихо — потому, должно быть, и вздремнул.

На этом и кончился для меня первый день войны.

ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ

Часа четыре подряд хлестал ливень с грозой. Просветлело лишь к семи утра — восточный ветер разогнал тучи. Солнечные лучи не спеша прогревали воздух, подсушивали намокшие шинели. Теплом задымила влажная земля.

Я сидел, прислонившись к стенке окопа, и думал о своем. Еще неделю назад мечтал попасть домой на побывку. А вместо побывки — окопы, размытые дождем.

Рвануло впереди, шагах в двадцати, тяжело поднялась набухшая влагой земля, рой осколков пронзительно просвистел низко над головой. Еще секунда — и высота наша сплошь заклубилась разрывами.

Под прикрытием минометного огня пошли в атаку на высоту немецкие автоматчики. Их было две группы, и мы сразу поняли их маневр: одна группа прижимает нас огнем, не дает поднять головы, другая под прикрытием огня прорывается на высоту.

...Я израсходовал уже обойму, вторую... Без остановки строчат наши пулеметчики, но повернуть фашистов обратно не удается.

Через час-полтора немецкие автоматы затрещали у нас за спиной, на кромке болота. В этот момент я находился в дзоте, возле Дорошенко. Здесь же были Новоселов, Терьяков, Мутовилин.

Не знаю, как чувствовали себя в эту минуту мои друзья, — у меня настроение было муторное. Мне показался как бы не реальным первый бой пять дней назад. Те, что наступали на нас тогда, словно бы играли с нами в войну: шли вперед с губными гармошками, как в кино. А эти будто переродились: хорошо маскируются, умело пользуются укрытиями и упорно идут вперед, и огонь их автоматов становится все более губительным. Мы тоже ведем по ним прицельный огонь, а гитлеровцам счету нет — вот уже в нашем тылу строчат автоматы...

По цепочке передали приказ — сомкнуться, приготовиться к отходу.

Терьяков, я, Дорошенко выносим станковый пулемет из дзота и тащим его на катках по дну траншеи. Пригнулись, гуськом бежим следом за Дорошенко.

— Стой! — послышалось впереди.

Это Лужин и политрук Иванцов.

— Застава отходит, — объявил Лужин. — Васильев, с ним Новоселов и Бурталов останутся здесь. Прикроете наш отход.

Бурталов посмотрел на меня тоскливыми глазами: мы плохо знали друг друга.

Последним уходил от нас Терьяков. Он положил рядом со мной, на край траншеи, свои гранаты — четыре лимонки.

— Может, сгодятся, Федор, бери.

Застава отходила длинной цепочкой по кустарнику, через заболоченную лощину. Противник, будто не желая мешать отходу, молчал. Так продолжалось минут двадцать-тридцать. Мы уже вроде успокоились, заработали лопатами и тем выдали себя. Вражеские минометчики засекли нас и с поразительной точностью послали сюда мину. Она упала совсем рядом. Новоселов вскрикнул. Осколок ударил его в шею возле ключицы. Гимнастерка Новоселова быстро набухла у горла кровью.

— Кажись, конец мне, Федя, — с трудом выдавил он белыми губами.

Я разорвал индивидуальный пакет, принялся за перевязку. Руки не слушались — были деревянные, будто чужие.

Теперь оставалось нас двое невредимых — я да Бурталов: две винтовки, ручной пулемет и четыре лимонки.

— Неси раненого, — сказал я Бурталову. — Я прикрою, а потом на болоте догоню.

Бурталов не ответил, прижался к прикладу. Застучал пулемет. Я увидел, как впереди снова поспешно падают за валуны поднявшиеся было фашисты.

— За камни загнал их, теперь ты валяй! — передавая мне пулемет, сказал Бурталов.

Давлю на спуск, ору во все горло: «Не отдам!..» То ли от накопившейся злобы ору, то ли слабость минутную прогоняю. Расстреляв диск, хватаю пулемет и бегу вниз в лощину. Ноги вязнут в болотной жиже. За спиной стрекочут автоматы. Пули со всхлипом ложатся все ближе. Падаю с размаху, ползу, не выпуская из рук пулемет. Одежда, сапоги набухают болотной водой, тянут назад; хлещут по лицу, по рукам кусты: отходишь? Получи!.. В отчаянии я готов был уже кинуться навстречу противнику, но тут увидел Бурталова, вспомнил, что с ним еще товарищ мой раненый, оставить которого нельзя.

— Тяжелый он, Новоселов, сам замаялся и его совсем измучил, — сказал Бурталов, когда я подполз к ним.

Передохнули, огляделись. Перед нами болотистая поляна. Ее нужно преодолеть: закрепиться можно только на сухом месте, на той стороне. Двинулись.

— Брось меня, Федор, — стонет Новоселов. — Все равно не выживу. Вот уж спина помертвела, брось меня, Федор.

Он, должно быть, и в самом деле думает, что мы его бросим.

— Не гуди! Выберемся. Потерпи только. Трясину пройдем, легче будет.

— Горит все, пить дай, — просит Новоселов.

Я дал ему глоток воды из своей фляжки, насильно заставил сжевать кусок подмоченного сахара. Новоселов закрыл глаза, притих.

Мы оторвались от автоматчиков — помогло то, что мы знали тут каждую тропку. На опушке леса сделали новый привал. Бурталов, вконец обессиленный, навзничь упал возле пулемета, затих. Из его сапог текла на белый ягель коричневая болотная жижа. Новоселов лежал рядом со мной, глаза его были открыты, и тусклый взгляд остановился на вершинке карликовой березы.

Сзади кто-то кашлянул густо, с хрипотой. Бурталов мигом вскочил.

За валуном, неподалеку от нас, мелькнула стриженая голова. Я щелкнул затвором и уже совсем готов был выстрелить, когда за тем же валуном разглядел нашу зеленую пограничную фуражку. Что есть силы я крикнул:

— Эй, там! Не стреляй, свои!

Из-за дерева выскочили двое: без фуражки Терьяков, второй — Дорошенко.

— Видели, как вы по болоту брели...

— Брели! — ответил я Терьякову. — Не покажись Дорошенкина фуражка, отходил бы ты, Петька, по земле грешной.

Терьяков озадаченно выругался.

— Новоселов-то жив? Давай его в укрытие перенесем... Здесь мы вчетвером оставлены. Засада на случай, если немцы следом пойдут.

Видать, Лужин решил, что мы трое там, на первом рубеже, погибли...

Новоселова устроили меж двух валунов, чтобы в случае боя его еще раз не отыскала пуля.

Нас теперь шестеро боеспособных. Два ручных пулемета. Четыре винтовки. В моей сумке еще четыре гранаты — подарок Терьякова, их можно вернуть, но у меня руки длиннее, я могу бросить гранату дальше. И место здесь для засады очень подходящее: опушка леса, как нарочно, усыпана большими валунами, а впереди, откуда могут появиться фашисты, широкая поляна просматривается насквозь. По кайме, вдоль опушки, вьется речушка. Это еще одно прикрытие наших позиций. А главное, в тылу у нас — наши. От одной этой мысли становится веселей.

— Терьяков, скажи, в политике ты вроде смыслишь, — пробасил лежащий рядом со мной Борисов. — Есть какая-нибудь инструкция насчет того, как воевать? Ну, хотя бы насчет разрывных пуль — можно ими стрелять?

— За гитлеровцами лучше посматривай, а то они такую тебе инструкцию покажут — штанов не удержишь.

— Я смотрю. А насчет правила мне ты все же ответь. Фашисты нас разрывными хлещут, а мы их простой пулей — можно так?.. Я говорю этому черту Дорошенко: «Не положено». А он уперся: «У кого, — говорит, — что есть, тот тем и долбает».

— Так Дорошенко ж у нас... — начал Терьяков и осекся.

Над поляной захлопал крыльями глухарь. И мы увидели, как на дальнем, противоположном краю поляны замелькали в кустарниках зеленые каски. Немцы шли точно по нашему следу. Должно, засекли, что у нас раненый, и теперь налаживались взять «языка». Был слышен лай собак.

— Сюда ползут, сучье отродье. Ну нэхай, — сказал Дорошенко, поудобнее устраиваясь со своим пулеметом. — Того, шо впереди маячит, не замайте. Я его, длинного, сам сниму.

Гитлеровцы цепью шли к опушке. Они, видимо, не думали, что мы так близко сейчас от них.

— Сначала офицеров, братва, — негромко распорядился Терьяков.

Залаяли автоматы: гитлеровцы «прощупывали» опушку. Мы молчали. Гитлеровцы стали посмелей. Подошли ближе. Терьяков еще повременил и потом дал команду:

— Огонь!..

Взмахнув неуклюже руками, завалились в кустарник двое передних. Упал и тот, что качался на моей мушке. Дорошенко косил пулеметом над самой землей — видно было, как летели мох с кочек и срезанная очередями трава. Заскулили собаки. Автоматчики залегли, поползли назад. Если бы нас было побольше — самая пора броситься в контратаку, но нас вместе с Новоселовым всего шесть!

Прикрывая друг друга огнем, мы начали отходить по намеченному маршруту.

...В тот день, оставив передовые позиции, застава отошла на основной оборонительный рубеж. Он располагался в семи километрах от линии государственной границы.

Начиналась серьезная большая война, и никто из нас не знал тогда, что обернется она для нас долгой дорогой в четыре года длиной...

ПОЛСУХАРЯ НЕ ПИЩА...

На одной из высоток располагалась комендатура пограничного участка. Здесь прекратила свое существование застава лейтенанта Лужина: мы стали бойцами 181-го пограничного батальона. Командиром у нас теперь был майор Романычев, заместителем командира по политчасти — батальонный комиссар Зыков.

Получили новое обмундирование; пользуясь передышкой, понемногу отсыпались и отъедались. Написали письма домой. Сколько раз там, на заставе, думал я: вот выдастся время — большущее письмо домой напишу. Про себя расскажу все, домашних о жизни порасспрашиваю, о том, что видел и что понял, напишу. Я ведь за это время так повзрослел... А взялся за письмо — и дальше приветов, да еще «жив, здоров» не двинулось дело...

Началась подготовка групп для выполнения особых заданий. В эти группы подбирали обстрелянных ребят. Меня взяли тоже.

На первых же занятиях по стрелковому делу я увидел сво-

его земляка Николая Москвина, следы которого потерял еще после финских событий.

— Федька, ну ты гляди, встретились все-таки! — обрадовался он, да и я тоже: как ни говори, а здорово, когда черт знает как далеко от дома встретишь вдруг земляка, да если еще он и призывался с одного с тобою завода.

Отошли в сторонку, присели перекурить. Москвин, загорелый, в новенькой гимнастерке, выглядел бодро. Его отозвали сюда с заставы, с перешейка полуострова Рыбачий.

— Ну как там? — спросил я земляка.

— Там-то, на Рыбачьем, у нас хорошо! Как ни лез немец, а дальше пограничного знака не двинулся, завяз... Там-то у нас, Федя, все ладно. Здесь вот, похоже, все наши с границы отходят, и теперь, значит, невестам нашим долго ждать придется...

Нужда в группах специального назначения была, видать, большая — обучение велось по ускоренному курсу, и на занятия уходили целые дни.

Скоро стали поговаривать и о формировании самих групп.

Одну из них возглавил уже знакомый мне младший лейтенант Иванов. Группе предстояла высадка в тылу врага со стороны Мотовского залива, скрытый рейд вдоль фронта до Мишуковской дороги, во время рейда — обстоятельная разведка, определение движения, потом — соединение с группой Богачева и разведчиками Козюберды для совместных диверсий.

Узнав о том, что группа должна соединиться с разведчиками тоже хорошо знакомого мне еще по мирным временам лейтенанта Козюберды, обратился к комиссару батальона с просьбой включить меня именно в эту группу.

— С теми, кого хорошо знаешь, воевать, конечно, легче, — согласился комиссар, выслушав меня. — Возражений не имею.

В нашу группу были зачислены и мой земляк Москвин, и Терьяков. Большего я и желать не мог.

Скоро пришел и приказ выйти на задание.

...Погрузились мы быстро, без лишней сутолоки, и катер отошел от берега.

Стояло полярное лето, и ночью было светло как днем. И трудно — попросту некуда было укрыться катеру на светлой воде. Едва мы вышли в залив, над нами закружил истребитель. Сначала он был один. От него катерники еще кое-как уворачивались. Когда истребители принялись гонять нас четверкой, нам пришлось туго. Вот уж сколько лет прошло с той поры, а до сих пор не пойму, что выручило нас тогда: понимание ли того, что мы не можем вернуться, не выполнив приказа, жажда ли жить, мастерство ли мотористов, командира и пулеметчиков катера или просто солдатское счастье...

Мы высадились на полуострове Рыбачий, близ перешейка, совсем рядом с передовой.

Бойцы укрепрайона полковника Д. Е. Красильникова указали нам на вершину скалистой высотки, и я ощутил, как во мне теплой волной поднимается радость. На высоте не рос даже лишайник, склоны высотки, как частыми язвами, были покрыты воронками от мин и снарядов — видать, огонь такой густоты вели по этой высотке! А на самом ее верху...

— Видал?! — торжествующе крикнул Москвин. — Вон, наверху, видишь? Фрицы из кожи лезли, а он стоит, пограничный знак, ничто его не берет! Ну, раз наш знак цел — и мы, брат, еще повоюем тоже!

Собрав нас в один из блиндажей укрепрайона после того как посоветовался со «старожилами» перешейка, командир нашей группы, младший лейтенант Иванов, объявил нам такое решение:

— Начинается отлив. На несколько часов откроется защищенная обрывами береговая полоса. Под покровом тумана прорвемся по этой полосе берегом моря. И окажемся в тылу у немцев. Ну а дальше будем стараться, чтоб нам повезло.

Мы дождались подходящей погоды: туман упал тяжелый и плотный, как на заказ. А нас не нужно было учить быстрой и бесшумной ходьбе: мы это умели. Гитлеровские наблюдатели прозевали наше движение. К месту соединения с группой капитана Богачева мы пришли без единого выстрела.

Капитан Богачев уже ждал нас. В мокрой, громыхавшей на ветру плащ-палатке, давно небритый, угрюмый от недосыпания, он выглядел вконец усталым.

— Я уж думал — не дождусь...

Командиры склонились над картой, а мы прилегли кто где передохнуть.

Мы лежали, казалось, на дне глубокого и чистого озера — такое светлое было небо над нами, такая стояла тишина. Пограничники, отдыхая, молча курили. Сизый махорочный дымок тонко вился над камнями, растворялся в багряном свете заполярной негаснущей зари. Далекий раскатистый гром качнул тишину. Бойцы забряцали оружием, зашевелились. Кто-то из группы Богачева объяснил:

— Лежите покудова, это не по нас. Это фрицы по переправе на Титовке молотят. У южного моста думают прорваться. Капитально готовятся, давно этак-то бьют, вишь, воздух волной ходит.

— Подъем, пограничники, — оборвал разговоры негромкий приказ капитана.

Пошли, соблюдая все меры предосторожности, часто меняя дозоры. Тундра встречала нас то сонным криком куропатки, то хлюпаньем болотной жижи под ногами. Когда на горизонте появлялся немецкий воздушный разведчик, замирали меж кустарников и камней. Очень нам пригодилось в этот раз отработанное службой на заставах умение маскироваться.

Белокурый, молоденький, почти мальчишка, ефрейтор, связной капитана Богачева, шагал рядом со мной.

— Шаг в шаг норовишь, как будто мой связной, а не капитана...

— Капитан велел поближе к тебе держаться. Потому что ты, говорит, пограничник старый. А я... — он замолчал.

На скалистой сопочке, в двух километрах от Мишуковской дороги, остановив наше движение, раз и два требовательно крикнула куропатка, и мы разглядели тщательно замаскировавшихся в камнях разведчиков лейтенанта Козюберды. Лейтенант Козюберда поздоровался со мной за руку, как со старым знакомым. Все такой же остроглазый, порывистый,

сухопарый, он нисколько не изменился, разве что заметно осунулся да оброс. Рыжая щетина в его бороде вроде начала серебриться.

— Живем, Васильев?

— Живем, товарищ лейтенант.

— Ну, значит, и дальше жить будем... — Он был веселый, лейтенант.

Козюберда повернулся к Богачеву.

— Печальная вышла история, капитан! Фашисты недавно по лощине прошли и, похоже, на том ее краю обосновались. Некстати они сейчас! Придется нам все переигрывать, и к цели выходить не справа, а слева. Там дорога поплоше, но что делать? Справа можем на заслон напороться. Но я и ту, что поплоше, дорогу знаю. Охотник тут один, приятель мой еще с финской войны, объяснил.

Богачев покачал головой.

— Не водит тебя твой охотник за нос? Финн, что ли, охотник?

— Финн, точно. Но вы не сомневайтесь, товарищ капитан. Тут дело чистое. Это свой финн. Брат у него в Финляндии, сейчас при штабе немецкого полка оленеводом устроился. От него-то информацию и получаю...

— Ну раз уверен, что это люди надежные, — веди. Второй час ночи, самый сон...

Ночная роса тускло блестит на мхах. Идем след в след. Где-то совсем рядом чуть слышно пищат птенцы. Богачев осторожно перешагивает гнездо.

— Птенцов не давить!..

Впереди, в тумане, смутно вырисовывается господствующая над округой высота. На ней, как сказали разведчики, расположены наблюдательные пункты и корректировочные посты какого-то крупного авиационного начальника и артиллерийской службы. У подножия высоты, на берегу реки, — блиндажи и землянки штабных офицеров и обслуги. Здесь нам и предстоит поработать.

Перед тем как форсировать речку, остановились, залегли в кустарнике. Младший лейтенант Иванов разбил нас на мелкие группы. Каждая получила задачу. Я попал к Терьякову. Нас четверо.

...Ползу вперед. Все ближе нарастающий шум реки. Пенится на камнях ледяная вода. Кусты на той стороне. Ширина речки метров восемь. Осматриваюсь, ищу место, где бы поудобнее переправиться. И прямо напротив, на той стороне, у самой воды, вижу здоровенного немца. Он увидел меня, мы встретились взглядами, и мне показалось, что он на мгновение оцепенел. Потом рука его медленно потянулась к лежавшему поодаль на земле автомату.

Машинально ловлю его на прицел. Но выстрелить — значит обнаружить себя и всех, сорвать операцию. Эх, чуть бы пораньше мне выйти к реке! Был бы я уже на том берегу — другое дело...

Немец, продолжая пристально смотреть в мою сторону, поднялся. Вот сейчас он поднимет с земли автомат, и тогда... И тут справа, из-за его спины, метнулся на немца кто-то из

наших. Он даже не крикнул. Только фуражка его с высокой тульей, подпрыгивая, покатилась по камням к воде. Пограничник на том берегу поднялся с колен, и я увидел Терьякова. Он мне в эту минуту был дороже родного брата.

— Вперед!..

Это мимо меня ужом скользит к воде младший лейтенант.

У подошвы высотки опять залегли, разглядывая видневшуюся впереди в просветах зелени березняка замаскированную пожелтевшим дерном землянку. Тут у них квартирует караульная служба. Прежде чем мы возьмемся за склады, ради уничтожения которых шли сюда, нужно тихо избавиться от боевого охранения.

С этим делом быстро управились разведчики Козюберды. В землянке не раздалось ни шороха, ни звука.

...На косогоре, в редком вырубленном лесу, — десятка полтора землянок. Неподалеку, в ельнике, по данным разведки, — склады продовольствия и боеприпасов. Мы пришли к цели. Осталось сделать то, зачем мы сюда пришли. «Разобрали» землянки по группам. Пошли.

Перед «своей» землянкой я закинул винтовку за спину и взял в руку лопатку: в тесноте ею удобнее действовать, да и шума меньше.

Дверь землянки по-кошачьи взвизгнула. Показался сонный гитлеровец в нижнем белье: вышел за нуждой. Ничего подозрительного не заметил, сделал свое дело, вернулся. Пока маячил на пороге, в прямоугольнике раскрытой двери, я успел разглядеть: в землянке, за столом, режутся в карты. Слышу дыхание за спиной: подтянулись остальные. Пора.

Одним прыжком к землянке, дверь — на себя, в землянку летит связка гранат. Успеваю отскочить в сторону: падая, слышу, загрохотали гранаты слева и справа. Взрывом в землянке выносит дверь. Ныряем в проем четверо: я, Терьяков, Дорошенко с трофейным автоматом на шее и со своим в руках и связной Богачева, тот мальчишка-ефрейтор.

Похоже, гранаты легли удачно: с жильцами покончено. Взрывом немцев расшвыряло по углам, одного даже уложило под нары.

— Забирай автоматы — и ходу дальше!

Дорошенко и Терьяков выскочили из землянки. Ефрейтор потянул меня за рукав.

— С этого, под нарами, надо бы планшет снять. Может, важные документы в нем. — И наклонился над немцем.

Я стоял у порога, и за ефрейтором не следил — что-то отвлекло меня. И я вздрогнул, услышав за спиной слабый короткий вскрик; обернувшись, увидел: лежит мой ефрейтор на полу, а «убитый» гитлеровец идет с ножом на меня. Теперь землянка показалась мне слишком тесной, а положение — критическим: винтовка у меня за спиной, лопатку успел убрать. Расстегиваю чехол, чтобы достать лопатку. Слежу за глазами врага: они, глаза, должны выдать мне его план.

Я успел выхватить лопатку, но замахнуться как следует, когда он бросился, не успел: лопатка плашмя ударила его по руке. Падаю, стараясь захватить руку с ножом. Немец стремительно поджимает колени к животу. Сейчас он ударит ногами. Ну нет, этот прием я знаю.

Опережая удар, я сам отскакиваю к стенке. Он бьет мимо. Он лежит, теперь беспомощный, на полу, и теперь уж я не промажу...

В землянку заглядывает злой от возбуждения Терьяков.

— Васильев, чего застрял? Уходим, сейчас склады рваться начнут, давай быстрей!

— Да вот, видишь, с ефрейтором незадача вышла. Прозевал я тут недобитого одного...

Мы подняли раненого, вышли из землянки.

Мелкие группы, выполнив задания, собирались на скате высоты.

— Кого ранили? — торопливо осведомился Богачев.

— Связного вашего зацепило, товарищ капитан, недоглядел, виноват...

— Что ж я матери его напишу, если не выживет? — пробормотал капитан. — Обещал я матери приглядеть за ним — мы земляки.

Мы отходили группами, каждая своим путем, в общем направлении на юго-запад, к безымянной сопке, где должен был собраться весь наш диверсионный отряд. Мы отходили с чистой совестью: внезапным налетом рассеяли, почти полностью истребили гарнизон, перестали существовать взорванные нами склады с боеприпасами и продовольствием. И хоть довольно быстро стало известно немецкому командованию о диверсионном налете советских пограничников, обнаружить путь нашего отхода гитлеровцам так и не удалось: охотник, приятель Козюберды, подсказавший отряду пути отхода, свое дело знал...

У безымянной сопки наши пути разошлись. Нам предстояло проделать обратный путь домой. Козюберда получил приказ оставаться в тылу.

— У нас тут еще есть кое-какие дела, — усмехнулся лейтенант, прощаясь со всеми нами. — Так что, как говорится, кланяйтесь дома и не забудьте дождаться.

В той же радиограмме, которая предписывала Козюберде остаться в немецком тылу, был приказ и для нас: обеспечить взвод разведчиков продуктами из имеющихся носимых запасов.

Носимый запас — это наши личные пакеты с галетами и сахаром. Мы передали их разведчикам и крепко обнялись на прощание. Скоро, затерявшись в кустарниках, они пропали из глаз...

Мы шли домой, на юг, без привалов, торопясь скорее выбраться из опасного района. Еще нас подгонял голод: мы отдали разведчикам все.

На исходе шестого часа пути, когда силы наши были уже на исходе, Богачев наконец разрешил сделать короткую передышку.

Я лег на спину. В бок впился какой-то острый камешек, но двинуться не было сил. Свинцово навалившись на плечи, усталость намертво прижала к земле. Я покорился.

Терьяков молча лежал рядом.

— Убирать пора хлеб-то! — вдруг пробормотал он. — Потечь может!..

— Ты чего, Петро? Никак заболел?

— Как закрою глаза, так начинает рожь колоситься. Колосья грузные, земле кланяются. Поле — глазом не окинешь, и все колышется. И даже как будто запах этой ржи слышу. Открою глаза — это ветки качаются над головой. А запах все равно слышу. С голоду, что ли?

К нам подошел младший лейтенант Иванов. Бойцы его любили: он никогда не лез зря под пули, но и никогда им не кланялся, был всегда там, где все, и, как бы трудно ни приходилось, заботился сначала о своих людях, а уже потом о себе. В эту ночь в рукопашной младшему лейтенанту не повезло: фашист попался здоровый и верткий, и теперь голова младшего лейтенанта была туго укутана в посеревшие от пыли и грязи бинты.

— Не могу даже на минуту прилечь — голову мозжит... А вы отдыхайте, скоро подъем...

Он жил сейчас одной мыслью: только бы не свалиться. Я сознался себе: меня на такое могло бы, наверное, не хватить...

На марше мы забрали у него рюкзак, шинель, фляжку, оставив ему только оружие. И снова шли и шли по тундре, уже не считая километров. Все сильнее давал о себе знать голод. Время от времени я вытаскивал из кармана, испытывая при этом сильнейшее искушение, случайно оставшиеся последние полсухаря, но, поглядев на ребят, прятал его обратно. На всех этого бы полсухаря все равно не хватило, а жевать в одиночку я бы тоже не смог.

Когда до передовой оставалось каких-нибудь три-пять километров, силы оставили младшего лейтенанта. Он покачнулся, обхватил руками толстое дерево, чтобы устоять на ногах. Бойцы подхватили его под руки. В лице у него не было ни кровинки. Я протянул ему полсухаря. Младший лейтенант долгим взглядом посмотрел на сухарь, на меня, молча оглядел столпившихся рядом бойцов, отрицательно покачал головой.

— Ничего, пограничники, — проговорил, с усилием разжимая спекшиеся серые губы. — Ничего, пограничники, так дойду. Немного осталось. Вперед!

Он оттолкнулся от дерева, пошел. Его шатало: временами казалось, он вот-вот упадет, но невероятным усилием воли он заставлял себя держаться на ногах. И не разрешал, чтобы его поддерживали под руки. Глядя на него, поднимали головы и старались тверже идти даже самые ослабевшие.

Тогда, конечно, я еще не знал, какого размаха была задумана десантная операция и какую роль играл в ней наш 181-й погранбатальон, рейдировавший по тылам противника. Много позже два попавшихся мне на глаза документа и ответили на мои вопросы, и помогли представить полную картину событий, которую я — малая частица, захваченная водоворотом войны, — представить себе тогда, конечно, не мог.

Вот эти документы:

«181-й батальон пограничников, высаженный в тыл противника, своими боевыми действиями оказал на врага деморализующее действие. Опасаясь за левый фланг и не зная действительных сил десанта, командование горнострелкового корпуса вынуждено было бросить на борьбу с пограничника-

ми три батальона, что не могло не ослабить немецко-фашистские части, наступавшие в то время на рубеже р. Большая Западная Лица».

«181-й отдельный стрелковый резервный батальон с 3 июля действует как резерв 14-й армии на Мурманском направлении и ведет непрерывные бои как на передовой линии фронта, так и в тылу противника. Командованием армии используется на самых ответственных и решающих направлениях, поэтому батальон имеет большие потери личного состава. В боях бойцы и командиры, политработники проявляют исключительное мужество, выносливость. Какие бы трудные задачи ни ставились перед батальоном, он всегда их выполнял с честью.

С 8 сентября... батальон непрерывно ведет бои с прорвавшимся противником на левом фланге обороны 14-й стрелковой дивизии, прикрывая главное направление — выход противника на дорогу Мурманск—Титовка».

(Из донесения военного комиссара пограничных войск НКВД Мурманского округа бригадного комиссара М. И. Хуртина от 24/IX 1941 г.)

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Санитарный катер маневрировал, заваливаясь в боковой качке, мучительно долго. Я лежал в трюме. Люк над головой был открыт, и там, высоко вверху надо мной, раскачивались облака.

Во мне еще жили ощущения и азарт недавнего боя. Еще гремела в ушах стрельба, и все падали, падали подкошенные товарищи мои, с кем еще совсем недавно шел я под лобовым огнем гитлеровцев на штурм сопки, господствовавшей над линией нашей обороны по берегу Лицы.

У самого причала — должно быть, в Ура-Губе — меня опять тряхнуло взрывом бомбы. Очнулся я снова в палате мурманского госпиталя.

— Смотри, братцы, — бархатно гудел в моих ушах басок, — парень, похоже, в себя пришел! А неделю пролежал кукла куклой. Да мычал как телок...

— Фамилия-то его как? Эвон какой, на койке не вмещается.

— В том и дело, никто его фамилии не знает: привезли, а документов при нем нет. Чей, откуда родом, неизвестно. Так и записали на довольствие: «Бесфамильный».

Голоса все явственнее — окончательно прихожу в себя. И вот слышу совсем отчетливо:

— Тихо, ребята! Врачи!

Скрип сапог, отрывистый говор возле самой моей койки.

— У этого великана раны на ноге зарубцуются быстро.

Речь обо мне. Хочу открыть глаза — и не могу: веки будто склеились намертво. Голова шумит пчелиным роем, кружится, как после долгого катания на карусели.

— С головы повязку снимите, на брови и подбородок положите наклейки, — распорядился врач.

— Бесфамильному наклейки? — переспросил мягкий доверчивый женский голосок.

— Теперь у него есть фамилия: сегодня лейтенант документы принес. Исправьте на «Васильев».

Чувствую, как легко и проворно снимают повязку, осторожно отдирая ее от бровей.

— Он! — вскрикивает женщина.

— Кто — он?

Я узнал голос Лены — невесты друга моего Терьякова. Когда-то, еще до рейдов в тылы врага, посылали меня с пакетом в Мурманск, и я привозил ей от Терьякова письмо. Она все расспрашивала меня тогда, как ей попасть к нам, в наш батальон. Я ничем не мог ей помочь, и мне от этого было неловко. Они с Терьяковым пробыли вместе всего несколько дней. «Я все равно добьюсь, чтобы меня на фронт взяли. И к вам тоже добьюсь!» — говорила она тогда. Что ж! Отсюда ей до Терьякова совсем недалеко: может, уже завтра и его на соседнюю койку принесут...

Госпиталь жил обычными своими заботами. Дружно помогая нянечкам и сестрам, мы выхаживали тяжелых. Дружно завидовали тем, кто выписывался. Дружно рвались на волю, в свои части.

— Сестра, харчей прибавь! Ребята в полку заждались, а квелый я им на кой нужен?

— Костыли выдайте! Свежего воздуха вдохнуть пора, а то так до конца войны тут и долежу!..

— Братишки, голову приподнимите, на свет, на улицу глянуть, — последним просил раненый в живот моряк, когда ненадолго приходил в себя, и, закусив губы, поддерживаемый друзьями, подолгу смотрел в окно, на кусок синего неба, и в глазах у него была тоска. Обессиленно откидывался на горячие мокрые подушки, вздыхал. — Мне б до своих, до моря добраться. Там бы я быстренько на ноги стал...

После очередной перевязки он в палату уже не вернулся...

К концу сентября я почувствовал себя лучше. Организм постепенно обретал силы. Меня перевели в палату выздоравливающих.

...Пожалуй, нигде не встретишь такого скопища тактиков и стратегов без высших званий и положений, как в госпитальных палатах выздоравливающих. Сюда стекается самая подробная информация о положении дел на фронтах, начиная от стрелковой ячейки, от окопа боевого охранения до штаба армии и выше. Вся эта информация, поступающая из уст непосредственных участников событий, очевидцев и живых свидетелей, собирается в общий котел доброй сотни умов, обсуждается, и затем следуют заключения и выводы. Каждый рисует в уме или на бумаге карту боевых действий по своему масштабу и, владея множеством полученных сведений, находит место своей роте. Разумеется, его рота приняла на себя главный удар — иначе он, представитель ее, не оказался бы здесь, в госпитале! Но рота могла не выдержать этот удар и погибнуть бесславно, если бы в самый решающий момент он — вот этот самый тактик и стратег в звании рядового — не открыл огонь из пулемета во фланг противника.

Рота выдержала, значит, и батальон выстоял, а от устойчивости обороны батальона зависела судьба полка, дивизии, армии...

Или, скажем, мне стало известно именно здесь, в госпитале, что исход боев на рубеже Большая Западная Лица перечеркнул планы генерала Дитла — захватить Полярное и Мурманск любой ценой. Общими усилиями — вместе с войсками фронта, морской пехотой и кораблями — мы заставили генерала Дитла топтаться на месте больше двадцати дней, а затем вместо наступления на Мурманск он вынужден был просить у Гитлера разрешения перенести сроки выполнения задуманной операции!.. Разве в стороне был при этом наш 181-й? Нет, братцы, мы тоже свою ложку дегтя Дитлу подкинули!

Но сведения с других фронтов поступают нерадостные. И мы, госпитальные тактики и стратеги, озабочены думами, какие, несомненно, не покидают ни генералитет фронтовых штабов, ни стратегов Генерального штаба. Там, над центром России, нависла смертельная угроза. Не миновала опасность и Кольский полуостров. И наша забота — как помочь армии, фронту, Генеральному штабу, Ставке — выливается в конкретные выводы и предположения. Какие? Нет устойчивых позиций без боеспособного солдата, нет успешной атаки и контратаки без опытного и смелого зачинщика в каждом взводе, в каждой роте. Командиры руководят, а солдаты исполняют их команды. Любые, самые гениальные решения без исполнителей ничего не дают. А исполнитель кто?.. Вот и получается, что все концы тактических и стратегических замыслов и решений ведут к солдату. Но вдруг не сегодня-завтра именно твоей роте прикажут выполнять ту самую главную задачу, от решения которой будет зависеть судьба батальона, полка, дивизии, положение дел на всем фронте? А тебя нет в роте — ты прохлаждаешься в палате выздоравливающих! Будут гибнуть товарищи, а тебя, обстрелянного и умеющего действовать, не могут дождаться из госпиталя. Выходит, залеживаться нельзя.

Придя к такому решению, наша выздоравливающая команда наваливается на еду и безропотно переносит самые неприятные госпитальные процедуры: лишь бы поскорее вернуться к своим, лишь бы не вышло так, что в самых главных боях обойдутся без нас!

В первых числах октября выписываюсь из госпиталя.

...Не дожидаясь переправы, иду берегом, обходным путем через реку Кола на Мишуковскую дорогу *. Над сопками в небе тянули с протяжным курлыканьем журавли. Через недельку над Москвой проплывут, подумалось мне. И загрустил, и даже почувствовал усталость.

Впереди — густой лес. За ним, дальше к горизонту, молчаливые каменистые безлесные сопки. Низкие кустарники, серые мхи. Кое-где попадаются карликовые березки, дальше на север сплошная тундра — равнина, и небо над ней на все четыре стороны света. Осенью дожди. Зимой пурга иной раз загудит на неделю. Неяркое лето скупо дарит солнечные чистые дни. Всю жизнь тут прожить я бы, наверное, не смог.

* Дорога, идущая от Мурманска к Титовке и далее на Печенгу (Петсамо).

А вот Липаеву, карелу нашему, лучше, чем его Приполярье, и земли нет. За одну Родину мы с ним теперь воюем, а начало ее видится каждому свое...

Растревожили меня журавли. Присел под елкой, жизнь свою, недлинную еще, вспоминать стал. Вспомнил, как вел меня отец в первый класс. «Учись, Федька, а то вахлаком останешься!» Я уж тогда знал, что «вахлак» у отца самое ругательное слово. И хоть испугала меня эта перспектива — еще страшней оказалось выпустить полу отцовского пиджака, одному остаться. И пустил я тогда слезу... Пятнадцать лет назад это было, а кажется, с того дня лет сорок прошло. Старит, что ли, война людей?

Вспомнил мать — как она лила теплую воду мне на руки, приговаривала: «Устал, рабочий ты мой человек».

Что бы она сказала сейчас, если б увидела меня здесь, под этой елкой?..

На сборном пункте на мысе Мишукова сошлось нас, «стариков», человек тридцать. Двинулись отсюда своим ходом по сопкам и болотам к границе, на Мотовку, куда после сентябрьских боев отвели поредевший больше чем на половину 181-й батальон.

Вот и Мотовка.

— Часовой! Дежурный по батальону у себя?

Боец незнакомый, из новеньких, остановился.

— Наряды проверяет дежурный.

— А ротный мой, капитан Кондрашечкин, жив?

— Вон «нора» его. Иди, капитан как раз у себя.

В землянке — не в землянке даже, а в глубокой траншее, покрытой сверху тонким накатом из прутьев и дерна, — у входа чадила сооруженная из старой жестяной бадьи печка. Керосиновая коптилка пускала черную вихлястую струю дыма. Под керосинкой на патронном ящике, упершись локтями в широко расставленные колени, положив подбородок на сцепленные пальцы рук, сутулился над картой, разостланной на другом ящике, Кондрашечкин. Услышав шаги, обернулся.

— Товарищ капитан! Красноармеец...

— Вижу, что прибыл. Садись, рассказывай.

— А что про госпиталь особенного расскажешь. Лучше вы, товарищ капитан. Что у нас тут нового?

— А что может быть нового у нас? Все то же. Вовремя вернулся. Хотя солдат в свою часть всегда вовремя возвращается.

Голос у Кондрашечкина был усталый, и выглядел он непривычно сосредоточенным и серьезным.

— Намечается что-нибудь, товарищ капитан?

— Война — такая штука, — усмехнулся капитан. — Всегда что-нибудь да намечается для солдата. А ты с чего такие догадки строишь?

— На вас гляжу...

— А-а... Не обращай внимания. Это личное... Ладно, боец. Иди отдохни, своих повидай. «Стариков» наших совсем немного осталось...

Короткий день угасал. Подмораживало. В сумерках нашел землянку своих друзей. На пороге столкнулся с Терьяковым.

— Хо! Глядите, люди добрые! Еще один к нашему шалашу!

Жив, здоров? Рассказывай, Васильевич, чего в тылу хорошего повидал.

— Плясать будешь? — спросил я, и Терьяков насторожился.

— А есть за что?

— Пляши, есть, — и я отдал ему письмо Лены. Терьяков даже руками всплеснул.

— Ну уважил, Васильевич! Ну уважил! Спасибо тебе, друг!

— Вот, значит, какая картина, — разговаривал он сам с собой, быстро пробегая строчки. — Сюда, значит, наметилась. Ну и хорошо. А то, понимаешь, Федька, чертовщина получается. Женились вроде, а друг друга не видим... Ну, это ладно. Ты с дороги голодный небось? Покормить?

— Передремнуть малость — вот от чего бы не отказался.

— Это мы мигом!

Петро бросил на свободные нары свою шинель.

— Давай отдыхай, служивый. Карабин твой в каптерке, так что не волнуйся. Проснешься — получишь. Карабин в полном порядке.

Засыпая, я слышал, как, крепчая к полночному часу, зло свистит в вершинах деревьев ветер, как с сухим шорохом метет по земле поземка снежной крупой. К концу шла короткая осень; холодами, долгой полярной ночью надвигалась первая военная зима...

Разговоры о скором выступлении батальона подтвердились в ту же ночь: нас подняли, выдали белые маскхалаты, сухой паек, и под покровом холодного звездного неба тронулись мы на левый фланг Мурманского участка фронта.

...Сначала слабо, потом все больше светая, на севере, над Титовкой, загорелось небо. Алые сполохи медленно и плавно, словно во сне, качались, гасли и снова вспыхивали над землей; потом, ярусом ниже, небо засветилось ярко-зеленым; потом над тундрой, над невидимым горизонтом возник ослепительно белый свет, и померк, и снова небо начало разгораться холодным огнем. Северное сияние горело над Кольским полуостровом — предвестником близких крепких морозов, предвестником еще неведомых, но близких уже и явственных перемен.

Мы шли, в своих белых маскхалатах сливаясь со снегом. После двух недель боевых действий на левом фланге Мурманского участка фронта немцы нас так и прозвали: «Батальон белых призраков». А воевать нам досталось на этот раз с врагом, который неплохо чувствовал себя в здешних условиях: нашими противниками оказались части из горнострелкового корпуса и бригады СС «Север».

...У них, должно быть, не зря жевала свой хлеб разведка: немцы внезапно зажали нас в кольце огня, когда мы остановились отдохнуть и маленько заправиться на склонах одной из высоток.

Пушки били из-за гребня соседней высотки, скрывавшей расположение немецких батарей. Нараставшая с каждой минутой плотность огня ничего доброго не обещала. Осколки не давали поднять головы. Густо били пулеметы. Рассредоточившись для круговой обороны, мы стали зарываться в снег.

У тех, еще невидимых, там, впереди, на соседней высотке,

должно быть, в избытке боеприпасов — гребень высотки и склоны полыхают частыми вспышками, трассирующие пулеметные очереди ливнем обрушиваются на нас. Никаких передвижений противника мы не заметили. Бил только шквальный огонь. Немцы, должно быть, ждали, что мы его не выдержим и поднимемся, полностью обнаружив себя.

Мы молчали.

— Ну, ребятки, держись! — крикнул кто-то. — Сейчас они пойдут!

С той стороны загудели тяжелые снаряды — немецкие артиллеристы огневым валом расчищали дорогу своей пехоте. И скоро мы разглядели в зыбкой, озаряемой вспышками разрывов полутьме первые цепи. Разворачиваясь, немцы широким полукольцом охватывали нашу высотку, лезли вверх. С каждой минутой атакующих становилось все больше. Они почти бежали теперь, пригнувшись, непрерывно строча из автоматов и ручных пулеметов. Все отчетливей различались их боевые порядки. Вот до них километр. Вот уже полкилометра. Напряжение достигает предела. Только бы не сорваться сейчас.

До них четыреста метров. Испытываем неудержимое желание открыть огонь...

— Прицел двести! — Ставит все на свои места голос нашего ротного. — Прицел двести, и ближе ни под каким видом не подпускать! Стрелять только прицельно!

И вот уже нас разделяют последние двести метров.

— Огонь!

Сухо треснул винтовочный залп. Ударили «максимы».

Гитлеровцы некоторое время еще бежали по инерции вперед, потом самых передних будто смело с земли. Еще залп — и середина атакующей цепи заколебалась; оставляя на снегу убитых, егеря покатились назад.

Но артиллерийский и пулеметный огонь, прикрывавший их наступление, не слабел. И это означало, что, опомнившись, немцы предпримут новую атаку. Мы им тут, видно, здорово мешаем, и они не захотят выпустить нас из рук.

— Прекратить огонь, беречь патроны! — слышится голос Кондрашечкина.

Снаряды крушат камень внизу. Летит выдранный взрывами кустарник.

Линия разрывов медленно и неумолимо поднимается по склону. И вот первые снаряды рвутся в середине наших боевых порядков.

— Не отходить! — слышу слабый в грохоте разрывов крик нашего капитана. — Держись до последнего! Помните, ребята, пограничники не отступают!

Пехота противника вновь поднялась. Они теперь совсем близко.

— Приготовиться... к контратаке! — слышится голос ротного.

Нужно отобрать у них инициативу. Скорость сближения с противником — самая надежная гарантия успеха. Чем скорее проскочишь простреливаемый участок, тем труднее поймать тебя на прицел. Сумеем стремительно подняться, преодолеть полосу «ничейной» земли и с ходу ударить — будет наш верх.

Сейчас все будет зависеть от того, как быстро мы сумеем поворачиваться.

И ротный отдает последнюю команду:

— Шинели долой!

Мы поднялись, как один. Краем глаза успел заметить: справа, слева от нас тоже пошли вперед. В контратаку бросился весь батальон. Бежали вниз молча — берегли силы для удара.

В момент атаки, когда подчас нелегко бывает сохранить самообладание, когда почти физически ощущаешь, что приближается, быть может, последняя минута твоей жизни, важно знать, что рядом с тобой товарищи. Какие силы появляются в тебе, когда их чувствуешь рядом! Страшно погибать одному и забываешь думать о смерти, когда ты не один.

Бежим, стреляя на ходу. Падаем. Поднимаемся снова. Успеваю подумать: такая плотность огня — а пуля меня что-то пока минует...

Мы сбросили их вниз, но оторваться от них не сумели. И вот опять артобстрел, и черные цепи егерей возникают у подножия. Выбираю ближнего, целюсь, нажимаю на спусковой крючок — и не чувствую привычной отдачи. Казенник пуст. Патронов у меня больше нет. И гранат тоже. Только финка на поясе. И я передвигаю чехол на ремне так, чтобы финка была под рукой. И многие, вижу, делают то же самое...

Вдребезги разносит ударом снаряда у меня за спиной огромный валун. Взрывная волна швыряет меня на землю. Падая, слышу крик, и по голосу узнаю: Терьяков. Значит, его все-таки зацепило.

Рывком поднимаюсь. Рукоятка финки намертво зажата в кулаке. Пограничники не сдаются. И я ни за что не дамся живым.

А егеря поспешно бегут. Не могу понять, в чем дело, оглядываюсь — и только тогда различаю в грохоте боя голоса наших орудий. Значит, мы не одни. Значит, успело подойти подкрепление. Теперь черта с два!

Ноги подкашиваются от внезапной слабости, и я падаю вниз лицом в кисло пахнущий порохом снег. И кто-то тормошит меня за плечо, и я слышу странно знакомый голос:

— Живой, нет, пограничник?

Серая новенькая шинель, ушанка, валенки, круглое раскрасневшееся лицо, санитарная сумка: Лена!

— Ты как тут оказалась?

— Добилась, как все! Петра моего не видал?

— Где-то тут, рядышком. Похоже, зацепило его.

Она бледнеет, лихорадочно оглядывается по сторонам, но не уходит.

— Возле меня не стой, я целый.

Лена бросается в сторону по склону. Стряхивая с карабина снег, слежу за ее серой шинелью. Вот остановилась метрах в двухстах. И я различаю на снегу полушубок. Бегу по склону к своим. Еще раз оглядываюсь на бегу. Сверлит уши нарастающий вой мины. Вижу, как за секунду до разрыва Лена падает, накрывая собой лежащего на снегу человека.

Потом мы отходим на прежние позиции, и я отправляюсь

в палатку к санитарам разузнать что-нибудь про Терьякова.

Он лежит на носилках в дальнем углу. Рядом с ним еще кто-то, накрытый одеялом, щупленький, почти подросток.

В палатку шумно вваливается лейтенант-пехотинец, следом за ним — немец с окровавленным лицом, в разорванной от плеча до пояса шинели и боец в полушубке. Все трое облеплены свежим снегом.

— Фельдшер! — Лейтенант поискал глазами. — Замотай пленному голову. Он мне сейчас живой нужен.

— Обождет, свои вон тяжелые лежат...

Немец обессиленно опускается на корточки.

— Гитлер ист швайн... — бормочет он хрипло, хватаясь за голову, пятная кровью ладони.

— Чего он лопочет, товарищ лейтенант? — интересуется боец в полушубке.

— Он говорит: «Гитлер свинья, пригнал немцев в вечные снега умирать».

— П-и-й-ить, — гаснущим шепотом говорит Терьяков. Я подношу к его губам фляжку. А немец все говорит, говорит.

— Он сказал, — переводит лейтенант. — Солдаты их утверждают, что на русских надета пуленепробиваемая броня. Поэтому войска великой Германии и топчутся здесь, на границе. И что даже есть такое место на перешейке Рыбачьего, где им вовсе не удалось перейти границу.

— Насчет брони — это они, конечно, с перепугу, а что касается Рыбачьего, то там действительно есть такое место, — подтвердил фельдшер. — Ну давай, фриц, теперь и тебя перевяжу, раз ты лейтенанту такой нужный. Скажите ему, товарищ лейтенант, что он счастливчик: границу все-таки перешел!

Девушки-санитарки подняли Терьякова.

— А Лена где? — спросил я, вспомнив, как падала она, закрывая собой Терьякова.

— Которая? — переспросила одна из них.

— Жена его, медсестра.

— Вот она, Лена, — хмуро сказал фельдшер, кивнув на укрытые одеялом носилки.

Я осторожно потянул на себя одеяло — и отвернулся. Стало нечем дышать. Тугой ком подкатил к горлу. Терьяков так ее ждал...

Все так же горели вполнеба сполохи северного сияния. Но показалось мне, что к прежним цветам неба добавился новый, и оно стало другим.

Небо окрасилось в горячий цвет человеческой крови. И горело теперь, взывая к отмщению за погибших товарищей, яростным жарким огнем. Огнем, который испепелит врага на нашей земле.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Потом были Подмосковье и Смоленщина — охрана тылов двинувшихся наконец на Запад, к Берлину, армий. Была Минская и Гомельская области — там, обеспечивая порядок

в ближних армейских тылах, мы вылавливали скрывавшихся по лесам полицаев и гитлеровские шпионско-диверсионные группы. Отступая, немцы оставляли их в наших тылах или забрасывали по воздуху. В задачу этих групп входили шпионаж, диверсии на прифронтовых коммуникациях, а также террористические акты. Охотились гитлеровские снайперы, диверсанты в основном на наших крупных военачальников. На моей памяти еще свежи были дни, когда, выловив на Гомельщине одного такого стрелка, мы узнали, что ему было поручено уничтожение Рокоссовского. Генерал в те дни ежедневно выезжал в части, охраны с собою почти не брал — легко представить себе, какой опасности он подвергался. Рокоссовского в армии очень любили, и мы испытывали законную гордость оттого, что именно нам удалось вовремя перехватить руку врага.

Диверсии эти гитлеровскому командованию ничего практически не давали: исход войны был уже очевиден. Шли они на это из звериной бессильной ненависти — хищники, попадая в капкан, всегда огрызаются до конца.

Я завидую тем моим ровесникам, кто дошел до Берлина и расписался на стенах поверженного рейхстага. Но, думаю до сих пор, и они тоже могут завидовать нам. Двигаясь следом за фронтами, мы вернулись на линию довоенной границы, восстановили разрушенные заставы, и как знать? Может, не меньше, чем вести об успехах в наступательных боях, людям требовалась уверенность, что границы снова на замке — а это значило, что мы выстояли!

...В жизни каждого солдата есть дни, память о которых он хранит вечно. Я точно знаю одно: что бы ни лежало на памяти, а никогда не забудет солдат о первом своем и о своем последнем бое.

Последний бой я принял осенью 1944 года в Карпатах.

* * *

Поспешно отступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы бросали на пути все: технику, вооружение, награбленное добро. Бросали они на произвол судьбы и тех, кого до недавних пор считали надежной опорой «нового порядка»: полицаев, доносчиков, карателей, отряды которых формировали из разного отребья. Вся эта мутная накипь войны оказалась как бы меж двух огней: недавние хозяева махнули на своих сторожевых псов рукой, получить прощение у нас они не рассчитывали тоже. Понимая безвыходность положения, в котором оказались, бандиты дрались с отчаянием обреченных. Ночами, а то и среди бела дня нападали они на обозы, на эшелоны с ранеными, на сельсоветы, на одиночных бойцов и командиров; убивали коммунистов, взрывали, жгли, грабили. Очистить землю от негодяев, убрать их из тылов наших армий было поручено пограничникам.

* * *

...Мы гонялись тогда за бандой Болотного Луня — была такая сволочь из гитлеровских прихвостней. И сам главарь, и его люди отличались крайней жестокостью. В штаб нашего

отряда часто поступали в те дни сообщения: там люди Луня сожгли сельсовет, там расстреляли комсомольцев, там патрули нашли зверски замученную семью сельского активиста...

Он был хитрым и опытным, этот Болотный Лунь. Неделями не слезали мы с седел, неделями колесили по лесам и по селам, спали на ходу, экономили время на отдыхе, пытаясь настичь бандита, но он уходил.

Однажды ночью меня вызвали в штаб отряда. Майор Зубко, веселый, добродушный, невозмутимый украинец — таких, как он, невозмутимых и добродушных людей я больше никогда не встречал, — внимательно оглядел меня с ног до головы. Густые угловатые брови его озабоченно сошлись к переносице:

— Как себя чувствуешь, Васильев? Не устал от недосыпа?

— Все в порядке, товарищ майор.

— Тогда седлай своего Снежка — и к капитану Митрофанову. Есть сведения, что Лунь этот чертов появился в районе села Кошув. Митрофанов идет туда как раз со своими людьми, но про Луня ничего не знает. Догонишь его на марше и передашь пакет. По дороге гляди в оба: если на бандитов наткнешься, чтоб ни тебя живого, ни пакета у них в руках не оказалось.

— Понял, товарищ майор.

Я получил пакет. Зубко крепко тряхнул мне на прощание руку.

— Ну, кум цибуля, ни пуха тебе...

Такая была у него присказка веселая: «кум цибуля».

* * *

Снежок шел карьером, разбрасывая крепкими копытами грязь. От Балехова дорога повернула на юго-запад. До Кошува я добрался на рассвете. Село показалось мне неприветливым.

Комендатура Митрофанова — она состояла из трех застав — сделала привал на окраине села, на лугу перед лесом. Солдаты расположились возле копен сена, потемневших от дождя. Осенний, местами красно-желтый, местами коричневый, лес огибал луг и почти упирался в крайнюю, в три окна, хату. В ней я и разыскал капитана.

Митрофанов, высокий, едва не до потолка, широко расставив ноги, стоял у окна, пил из ковша воду. Немолодая хозяйка сидела в углу под иконами за сундуком, который, очевидно, был и столом в этом доме. Она пододвинула ко мне небольшой чугунок с вареной картошкой в мундире.

Пока я занимался картошкой, капитан, вскрыв пакет, читал распоряжение.

— Васильев, останешься при мне. Лишний автомат может здорово пригодиться... Готов? Тогда пошли.

У крыльца, ожидая Митрофанова, стояла какая-то женщина в плисовой кофте.

— Дело у меня спешное до вас, товарищ капитан. Секретное.

Они отошли в сторонку. Женщина о чем-то торопливо заговорила вполголоса. Я слышал только обрывки фраз: «...совсем близко... много людей... в лесу».

Одну из своих застав Митрофанов послал в лес — завязать

встречный бой, сковать действия бандитов; две другие заставы должны были в это время выполнить охват банды с флангов.

Через час после начала боя из леса прискакал посыльный: захвачено несколько пленных, но основные силы банды — по сведениям, она насчитывала до трехсот человек — уходят из окружения в направлении села Липы.

Митрофанов выругался: где-то в районе того села, в глухих лесах, пряталась, по агентурным сведениям, немецкая диверсионная школа. Три сотни бандитов шли, как видно, на соединение со школой. Соединившись, они образуют мощный боевой кулак, а тогда трем нашим заставам придется туго.

Но, с другой стороны, появлялась реальная возможность проверить, действительно ли в районе Липы дислоцируется диверсионная школа, и попытаться уничтожить ее.

Свои соображения капитан доложил по рации начальнику отряда.

— Васильев! — приказал капитан. — Аллюр три креста, напрямик. Предупреди штаб: на пути засада.

Снежок вынес меня на гребень горного перевала. Отсюда тропа вела в долину, по которой вилась дорога. Где-то здесь, недалеко, должен быть мостик. На миг останавливаю коня, прислушиваюсь. Тишина, ни шума машин, ни выстрелов. В чем дело?

Отскакиваю на лысый косогор, чтобы окинуть взглядом дорогу в долине. И про себя размышляю: если увижу машины штаба, брошусь им наперерез. Но машин на дороге не видно. В другой стороне, в километре, разглядел мостик, но и там ни души.

Разгоряченный Снежок не стоит на месте, рвет удила. Решаю проскочить к мостику густым перелеском. Если там есть бандиты, завяжу с ними перестрелку и тем отвлеку их внимание от штабных машин. Штабисты, заслышав перестрелку, должны остановиться, и замысел бандитов будет сорван.

Но вдруг на той стороне дороги, в лесу, послышались выстрелы. Я тронул повод. Снежок, приученный ходить на шумы и выстрелы, одним махом выскочил из кустарника и понес меня вдоль ручья. Вот и мостик.

И тут случилось то, что должно было случиться.

Снежок со всего ходу ткнулся грудью в изгиб берега. Меня выбросило в кусты. Я не заметил, откуда прилетела первая граната, но, когда возле упавшего коня разорвалась вторая, мне стало ясно: попал в самый центр засады. Над головой по кустам защелкали пули. Бандиты стреляли прицельно, боясь зацепить своих, которые находились позади меня. Позиция у меня плохая — кусты от пуль не защита. Надо переползти в какую-нибудь канаву или за камни. Живым в руки не дамся. Чуть правее, на прибрежной полянке, заметил два больших камня. Припал, жду момента, чтобы переползти или проскочить туда. Это по-своему расценили бандиты. Вот уже слышу их голоса:

— Готов... Гранатой разнесло.

— А может, жив. За «языка» хорошо платят...

Ко мне идут двое. Один в форме офицера, другой в широкой плащ-палатке. На голове у «офицера» темная пилотка. Он идет первым, меня не видит. Направляется к коню.

Ствол моего автомата, кажется, сам следит за ними. Даю короткую очередь. «Офицер» рухнул словно подкошенный. Второй, размахивая плащ-палаткой, бросился назад. Я выскочил из кустов, бегу за ним. Это единственный шанс проскочить к камням: стреляя в меня, бандиты рискуют подшибить своего. Он должен прикрыть меня от прицельного выстрела с тыла и фронта. Но я просчитался...

Бандит в плащ-палатке вильнул в сторону, и в ту же секунду левая рука, в которой я держал автомат, повисла плетью. Я даже не мог сообразить, как это, успев послать очередь в спину бандита, вдруг оказался ранен. Бандит замертво упал вниз лицом. Но мне некогда смотреть на него, ноги несут меня по прямой. Там камни, они должны укрыть меня от пуль... Мгновение — и я уже между камней. По ним захлопали разрывные пули. Бандиты стреляли и от моста, и из кустов, и из леса.

— Где же мой автомат?

Оглянувшись, вижу свою левую руку. Пальцы посинели, но не разжались, крепко держат шейку приклада. Пытаюсь приподнять автомат привычным движением, но шевелится только плечо. И лишь тут я почувствовал хруст в предплечье. Ранен в руку выше локтя разрывной пулей. Перебита кость. И острая, обжигающая боль пронзила все тело.

Я окружен со всех сторон. Перевязываться нет времени, надо отбиваться. Правой рукой беру автомат из бесчувственной левой руки. Голова закружилась, будто я только что сел на карусель. Из рукава течет кровь, но автомат уже в правой руке. Есть еще у меня и гранаты.

Смутно вижу, как в мою сторону ползут пять человек. Ползут и стреляют. Зубами выдергиваю кольцо «лимонки», кидаю ее в бандитов. Затем бью из автомата с непривычной правой руки. Бью не спеша, прицельно, короткими очередями...

Теперь надо оглянуться. Разворачиваюсь. На опушке леса за дубом стоит ручной пулеметчик. Он высунулся из-за дерева. Враг на мушке моего автомата, но мне кажется, что и дуб и он кружатся. Нажимаю спуск. Враг отвалился от дерева...

Левую руку жжет так, будто она вся до самого плеча лежит на раскаленных углях. С трудом зубами и уцелевшей рукой перетягиваю бинтом предплечье выше раны.

И опять вижу, как несколько человек подбираются ко мне из кустов ежевики. Снова выдергиваю зубами кольцо «лимонки». Граната летит далеко, прямо в бандитов перед кустами.

Что-то кольнуло меня в спину ниже поясницы. Пощупал. На пальцах кровь. Значит, зацепили еще.

Где подмога?

Хочу крикнуть, но вместо крика — хрип. Бинт ослаб. Кровь из раны бьет толчками. Снова затягиваю бинт.

За ручейком, в лесу вспыхнула стрельба. Слышатся крики:

— Вперед, вперед!..

Это, думаю, наши.

Сейчас бандиты побегут через мой участок.

Раздался взрыв. Возле мостика поднялся черный фонтан земли.

— Окружай!

Я воспринимаю все это смутно и так же смутно вижу, как по лесу бегут люди. Кто они? Мимо меня, согнувшись, пробегают двое. Это бандиты. Пытаюсь поймать переднего на мушку. Он прыгает на мушке то в одну, то в другую сторону. Все равно жму на спуск. Странно, автомат молчит. Зажимаю приклад между колен, ищу второй диск. Вот он, на поясе, почти за спиной, скользкий, весь в крови. Трудно работать одной рукой. Пока заменял диск, стрельба удалилась за дорогу.

Наступила глухая, томящая тишина. Не хочется ни думать, ни двигаться. Неужели это смерть так ласково обходится со мной: заглушила боль и вот так незаметно унесет в небытие? Нет, я солдат, я должен бороться до конца! Где же мои друзья? Может, они пробежали мимо, не заметив меня? Значит, мне надо уходить отсюда.

Мне бы только глоток холодной воды... и тогда я встану, догоню своих.

С трудом выбираюсь к ручейку. В ежевике, недалеко от берега, где упал мой конь, сидит подстреленный мною «офицер», без пилотки, черные волосы взлохмачены.

У меня словно прибавилось силы. Я тверже стал стоять на ногах.

Бандит медленно втянул голову в плечи, затем резко попытался подняться, но не мог: ноги у него перебиты, лицо бледное, почти синее, губы плотно сжаты. Около ног валялся пистолет, очевидно без патронов.

Почуяв, что я ослаб, «офицер» решил защищаться. Быстро выхватил из-за голенища кривой нож.

— Бросай тесак! Пристрелю! — крикнул я ему.

Некоторое время он колебался, кажется, что-то обдумывал. Глаза его на секунду вспыхнули надеждой. Затем он с размаху всадил в землю под самую рукоятку нож, стал просить:

— Не губи меня, парень. Нет у вас закона такого — раненых приканчивать. Отправь в госпиталь. Скажи своим, они рядом, тут...

Весть о том, что где-то рядом мои друзья, успокоила меня. Я сел на кусты ежевики. И опять почувствовал, что слабею. А бандит просит:

— Скажи своим, чтобы отправили меня в госпиталь!

— В госпиталь? — машинально повторяю я. — А кто приказывал резать детям горло? Кто посылал на нас «охотников» с ядовитыми пулями? Кто...

И не успел я всего договорить до конца, как бандит пополз за куст. Только теперь я заметил, что там лежит его автомат. Забыв о перебитых ногах, он попытался достать его, но не вышло. Я нажал на спуск автомата...

Треск автоматной очереди привлек внимание конных разведчиков, которые снова оказались возле мостика. Они бросились ко мне. Как сквозь глухую стену, услышал я знакомые голоса:

— Он здесь...

— Носилки сюда!.. Быстрее...

Обняв меня за шею, кто-то толкал мне в рот размоченные куски сахару, приговаривая:

— Подкрепись, дружок, подкрепись. Здорово ты, Федор, их тут расчесал...

Сознание ко мне вернулось в госпитале.

— Васильев в большой палате. Вот здесь, — донесся однажды голос из коридора.

Открылась дверь. Вошли подполковник Туляков, майор Зубко и капитан Митрофанов. Они пришли навестить нас, раненых, которые уже не возвратятся в строй.

Подполковник Туляков сел на край моей койки.

— Болят раны?

— Болят, товарищ подполковник. Да я не о них думаю. Душа вот болит. Как бы народу нашему завалить то ущелье, из которого ползут предатели. Чтоб места не находили они на нашей земле...

Мы крепко, по-солдатски, обнялись.

Когда я выписался из госпиталя, войска Советской Армии уже завершили разгром гитлеровской Германии. Война кончилась. Возвращался я домой без руки, но с верой, что жизнь наладится. До армии работал я слесарем. Теперь, без левой руки, как я буду держать инструмент? Может, пойти мне в строители? Но и класть кирпичи одной рукой несподручно.

Вот и родное Тушино. Завернул на рынок купить гостинец матери.

— Эй, служивый, — позвал меня бывший артиллерист, стоявший на костылях возле забора. — Ходи сюда, жареных семечек насыплю, со скидкой отдам...

— А ты, видать, другой работы не нашел? — вырвалось у меня.

Потом я задумался. Неужели и мне суждена такая судьба? Вспомнились бойцы и командиры: подполковник Туляков, майор Зубко, капитан Кондрашечкин, старший лейтенант Козюберда, комиссар Зыков, рядовые Терьяков, Новоселов... Они больше не увидят окон родного дома — земля им пухом. А нам, вернувшимся с войны, — работать. Работать не только за себя, но и за тех, кто не пришел с Кольского, с Карпат, с Украины и Белоруссии...

На пороге квартиры меня обняла мать. Сзади на мои плечи легли руки Ани. Она теперь жила у моей матери. Ни мать, ни Аня будто не замечали, что у меня нет одной руки. Мать прятала свои слезы где-то в душе.

Утром следующего дня я отыскал свои довоенные ботинки. И вот первое испытание: не могу одной рукой зашнуровать их. Аня поспешила помочь мне. Я осторожно отстранил ее:

— Не надо, мои пять пальцев должны работать за десять.

Аня поглядела на меня добрыми глазами.

— Но от моей-то помощи не отказывайся.

— Спасибо.

Горком партии помог мне устроиться мастером на тот же завод, где я работал до войны.

Цех выпускал троллейбусы. Рабочие не успевали устанавливать облицовочные профили вдоль окон троллейбусов. Я решил попробовать здесь свои силы. Одной рукой высверлив в стенке отверстие, плечом поджимал ее к обшивке. Но вот опять загвоздка — как установить болтик? Пытаюсь сделать это, а шайбочка выскальзывает из руки. Поджал болт подбородком,

рукой нащупал на тумбочке вторую шайбу. Выскользнула и вторая. Головка болта въелась в подбородок. Нашел третью шайбу. Помочил ее, шайба прилипла к пальцу, нанизал ее на болт, закрепил.

И так болт за болтом... Это была первая победа в слесарном деле!

Так и пошла моя жизнь.

Вскоре в нашей семье наступил праздник: Аня готовилась стать матерью.

В родильном доме теснота. Дежурный врач, пожилая энергичная женщина, разводила руками и твердила:

— Тридцать пять лет работаю, но такого щедрого года не видела, столько рожениц...

Через две недели я прижимал к груди крохотного сына и думал: «Не знаю, кем ты будешь, Колька, но помни: кубышки в наследство тебе не оставлю. Ты будешь богаче. Заводы, фабрики, города, поля, леса, Родина, которую отстояли в боях с фашизмом, — вот твое богатство. За это богатство мы дорого заплатили: кровью. Береги и приумножай его честным и самоотверженным трудом. Ты сын солдата!»





Т. ОГОРОДОВА,
заместитель заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ

ИСКАНИЕМ НАПОЛНЕННЫЕ ДНИ

Выступая на XV съезде комсомола, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев предложил делегатам: «Не следует ли подумать о том, чтобы раз в два-три года комсомол проводил Всесоюзные фестивали — своеобразные смотры трудовых, культурных, спортивных достижений молодежи? Подготовка к ним могла бы широко проводиться по всей стране. Это позволило бы привлечь к активной деятельности комсомола, к самодеятельному творчеству, к физкультуре и спорту многие тысячи молодых людей...»

Год назад принял старт Всесоюзный фестиваль советской молодежи, посвященный 50-летию образования СССР. В эти июньские дни Ленинский комсомол подводит его итоги.

Задуманный и проводившийся как смотр трудовых достижений — ибо человеческую ценность определяет в первую очередь созидательный труд — фестиваль стал настоящим праздником труда для молодежи страны.

Мировыми рекордами скорости проходки скважин отметили год фестиваля комсомольцы нефтяники и газодобытчики Тюмени и Туркменистана. Многие нормативы ныне существующих строительных ГОСТов заставили пересмотреть строители комсомольско-молодежной бригады Героя Социалистического Труда Николая Злобина.

По праву зовет страна комсомольскими два миллиарда пудов алтайского хлеба урожая прошлого трудного года.

Самых добрых слов благодарности заслужила деятельность студенческих строительных отрядов. Направленные комсомолом на важнейшие объекты девятой пятилетки, они приняли участие в сооружении 28 900 объектов различного народнохозяйственного назначения, 14 400 из которых ввели в строй. На счету студенческих строительных отрядов 2670 построенных

жилых домов и общежитий, 7928 километров линий электропередачи и 770 километров железных и шоссейных дорог. А подсчитайте еще, какую неоценимую пользу принесло завтрашним командирам производства участие в работе строительных отрядов, где они прошли настоящую школу трудового и интернационального воспитания!

Практически каждый крупный народнохозяйственный объект девятой пятилетки возводится руками молодых. Подавляющее большинство строек пятилетки объявлено комсомольскими ударными — разве не убедительный это показатель трудовых возможностей Ленинского комсомола?

Фестиваль — праздник труда, проходивший под девизом «Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск молодых!», — выявил много славных имен и замечательных трудовых начинаний. Фестиваль окончательно установил: комсомол шел верным путем, избрав в ходе фестиваля основной формой трудового воспитания молодежи, формой, позволяющей оказывать значительное влияние на интерес к рабочим профессиям, конкурсы профессионального мастерства.

Обстановка творческой соревновательности, при которой последнее и решающее слово принадлежит мастерству, широкая гласность конкурсов, обеспеченная комсомольской печатью, передачами молодежных редакций радио и телевидения, принесли конкурсам огромную популярность, сделав их лучшим агитатором за труд. Массовость конкурсов, рожденная желанием молодых рабочих испытать свои силы, проверить себя в избранном деле, привела к решению не ограничивать конкурсы только рамками фестиваля, а сделать их, что называется, постоянно действующей формой трудового воспитания молодежи. Нужно только от конкурса к конкурсу придавать им все больший размах и все большую гласность, а опыт победителей обязательно делать достоянием школ передового опыта — школ, рожденных в преддверии фестиваля, цель которых как раз и заключается во всемерной помощи молодым рабочим в овладении высотами профессионального мастерства. Все самое ценное, что накоплено опытом лучших, должно быть достоянием всех. Только тогда мы сумеем осуществить одну из главных наших комсомольских заповедей, рожденных соревнованием за досрочное выполнение заданий третьего, решающего года девятой пятилетки: «Сегодня — рубеж передовика, завтра — рубеж всего коллектива». На сегодняшний день анализ распространения передового опыта показывает, что в деле его пропаганды мы используем еще далеко не все те возможности, которыми располагаем. Да и самих школ передового опыта, в особенности отраслевых, пока у нас еще меньше, чем, наверное, было бы нужно.

...Свои неповторимые приметы есть у каждого времени.

Пятидесятые годы вписали в биографию комсомола освоение целины. Годы семидесятые впишут в его историю слова «научно-техническая революция».

Неразрывно связаны между собой два этих понятия. Ведь техническая революция — олицетворение нового, она — устремление в завтрашний день, а кто, как не комсомол, всегда был первым пропагандистом нового, кому, как не молодежи, быть хозяином завтрашнего дня?

В связи с этим особое значение приобрел в ходе фестиваля Всесоюзный смотр технического творчества молодых.

Движение отрядов НТТМ насчитывает сегодня в своих рядах более 8 миллионов молодых рабочих, техников, инженеров, изобретателей и рационализаторов. Сегодня на боевом счету отрядов НТТМ 10 тысяч работ, отмеченных наградами ВДНХ; экономия от рационализаторских предложений, поданных активистами НТТМ, комсомольско-молодежными коллективами, даже по самым скромным подсчетам, превышает 600 миллионов рублей. Работы, отмеченные на ВДНХ, — это в большинстве своем новые типы различного инструмента, приспособлений, оснасток, это станки, контрольно-измерительная и другая аппаратура, в которой народное хозяйство страны испытывает насущную потребность. Они — свидетельство и результат ясного понимания своего места в общем рабочем строю, хозяйского отношения к жизни тех, кто их создавал. И это, конечно же, самое дорогое, что должна была дать Родине и комсомолу деятельность отрядов НТТМ, получившая особенную широту и размах в год фестиваля, отмеченный новым подъемом и дальнейшим совершенствованием всенародного социалистического соревнования за досрочное выполнение производственных заданий решающего года девятой пятилетки.

Результаты человеческих деяний, ценность и значимость создаваемого нами зависят в конечном счете от нашего отношения к труду.

Оно вырабатывается только на основе глубокой и прочной культуры — культуры в самом широком смысле этого слова.

Вот почему культурная революция, как одна из главнейших составляющих общепартийной работы, была записана в гениальном ленинском плане революционного преобразования мира уже в самые первые дни существования нашего государства.

В дни, когда советский народ вступил в период развернутого строительства коммунизма, особую важность, важность программного документа, адресованного молодежи, будущему страны, получила высказанная на III съезде комсомола гениальная ленинская мысль: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

Достижения культурной революции в нашей стране общеизвестны. Нам радостно сознавать, что в этот гигантский воспитательный труд и мы, комсомольцы, смогли внести и вносим свою долю, тепло наших сердец, горячее желание видеть нашу страну еще более процветающей и могучей.

Многие ныне широко известные миру деятели культуры, литературы, искусства получили путевки в большую и славную творческую жизнь из рук Ленинского комсомола.

Настольной книгой многих поколений молодых патриотов стал роман Николая Островского «Как закалялась сталь».

Лучшей Чио-Чио-Сан мира признана народная артистка СССР, депутат Верховного Совета страны Мария Биешу. Свой путь на прославленные сцены земного шара она начала в художественной самодеятельности; найти себя в большом искусстве, проявив самое горячее участие в ее творческой судьбе, помог певице комсомол Молдавии. Воспитанником его является и всемирно известный ансамбль народного танца «Жок».

Заслуженной славой пользуются выступления одного из лучших, пожалуй, в стране молодежных коллективов, лауреата премии Ленинского комсомола 1973 года ансамбля песни и танца «Голос

юности» Дома культуры профтехобразования — его дал большому искусству комсомол Ленинграда.

Ярким, страстным, талантливым пропагандистом лучших достижений советского реалистического искусства, искусства своего народа, стал лауреат республиканской комсомольской премии Узбекистана вокально-инструментальный ансамбль «Ялла».

Выступления такого самобытного, неповторимого в своем творчестве коллектива, как народный ансамбль танца «Мэнго» Корякского национального округа, также во многом обязанного своим рождением комсомолу, — прекрасное свидетельство того, как безграничны творческие силы народа в условиях самого передового, социалистического строя, какого культурного расцвета могут достичь малые народности, при другом строе обреченные, по сути, на вымирание.

Не следует, однако, думать, что только поиск и воспитание безусловных талантов являются главной целью участия комсомола в общегосударственном культурном строительстве, в деле культурного, эстетического воспитания. Это один из участков нашей работы. Главную же свою задачу мы видим в другом. Широкое приобщение молодежи к самодеятельному художественному творчеству, к миру прекрасного — вот наша главная цель, которой мы добиваемся, проводя всю свою культурно-воспитательную работу в тесном сотрудничестве с творческими союзами страны.

Подведением итогов этой работы, смотром наших достижений на фронте культурного строительства стал фестивальный год.

Всесоюзные художественные конкурсы, проводившиеся в рамках Всесоюзного фестиваля советской молодежи, дали десятки новых имен талантливых, самобытных художников, артистов, музыкантов, поэтов, посвятивших лучшие свои работы воспитавшим их Родине, партии, комсомолу. Ленинский комсомол сделал для этих ребят главное: помог раскрыться их дарованиям, дал веру в свои силы, поддержал в сложную пору творческого становления, открыл широкие перспективы перед молодыми творцами.

Кто-то из них, возможно, придет со временем в большое искусство, в литературу, как это случилось, скажем, с певицей Марией Биешу или лауреатами премии Ленинского комсомола прозаиком Владимиром Чивилихиным, поэтом Владимиром Фирсовым, скульптором Александром Чернобровцевым.

Но не менее, а может быть, более важным и значительным результатом явилось все-таки то, что в фестивальном году в стране значительно увеличилось число молодых людей, посвятивших себя, свой досуг самодеятельному искусству, художественному творчеству. К уже существующим во всех уголках страны тысячам молодежных самодеятельных коллективов и студий в году фестивальном прибавились еще десятки и сотни, и общее число молодых пропагандистов культуры, искусства составляет сегодня половину от 24-миллионной армии активных бойцов культурного фронта в стране. И если каждый из них, открывших для себя облагораживающий сердце и мысли мир прекрасного, сумеет приобщить к нему еще хотя бы одного человека, тогда можно будет с уверенностью сказать, что, развернув большую работу по художественно-эстетическому воспитанию молодежи, комсомол главной своей цели добился.

...Они уже очень скоро соберутся в Москву, на заключительный

этап Всесоюзного фестиваля советской молодежи. Соберутся, чтобы критически оценить проделанную работу, подвести итоги.

Москва встретит победителей республиканских, областных, краевых конкурсов профессионального мастерства — лучших представителей молодого пополнения рабочего класса, и победителей Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы отцов.

Соберутся в столице — обменяться творческим опытом, продемонстрировать друг другу и молодежи столицы свое искусство — молодые самодеятельные и профессиональные артисты, хоровые, танцевальные коллективы, молодые музыканты, художники, кинематографисты, писатели и поэты — лауреаты и дипломанты областных, республиканских и всесоюзных фестивальных творческих конкурсов.

Лучшие из лучших войдут в состав советской делегации, которая отправится затем в Берлин, на X Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Это высокая честь — быть полпредом своей страны. Мы ясно осознаем свою причастность к судьбе взрастившего нас народа, меру своей ответственности за будущее земли наших отцов — творцов революции, указавших миру дорогу к свету и справедливости, спасших мир от фашистской чумы, первыми на земном шаре строящих коммунистическое общество — вековую мечту человечества. Мечту, сделать которую явью выпало нам — внукам бойцов революции, наследникам их высокой и чистой славы.

■

Молодежи, которой всегда присуще чувство нового, открывается самое широкое поприще для приложения энтузиазма, энергии, знаний, и она должна быть в первых рядах в борьбе за создание новой, совершенной техники, за настойчивое внедрение ее во все отрасли народного хозяйства и повышение производительности и культуры труда, за утверждение в повседневной жизни новых, подлинно коммунистических общественных отношений и высоких принципов коммунистической морали.

Из Директив XXIV съезда КПСС

Анатолий ЗЯБРЕВ

ПОЕЗДКА НА УСТЬ-ИЛИМСКУЮ

Телефон звонил длинно, вызывая ответный звон во всех углах комнаты, и я не сразу понял, что это не во сне.

— Река вышла из берегов. Ведутся спасательные работы. Если можешь, приезжай.

— Что?! Где?! — закричал я в трубку.

— Острова, на которых берем гравий, затоплены. По улицам поселка вода... Вызваны вертолеты, они людей снимают... Если можешь... — голос прервался.

Какая река? Какой поселок? Какие острова? Откуда и кто звонил? По голосу... будто Комков Валентин с Усть-Илимской ГЭС. Значит, Ангара вышла из берегов.

Междугородная телефонная станция ответила, что «абонент на повреждении».

Остаток ночи и весь день я через каждый час заказывал Усть-Илимск, ответ был один: «Абонент на повреждении».

Ну конечно, какая может быть телефонная связь, если по улицам ветер волны ангарские гоняет!

В поезде я заговаривал то с одним, то с другим о том, что в Усть-Илимске беда. Надеялся, еще кто-то знает про это, но все слышали о той беде только от меня.

Пассажиры были из Новосибирска, Омска, Киева, они приняли случившееся близко к сердцу и, когда на станциях кто-либо входил, тотчас его спрашивали:

— Ну что там в Усть-Илимске?

В Братске я сошел с поезда, чтобы пересесть на вертолет. На вокзале спрашивал:

— Из Усть-Илимска никого нет?

— Есть, — отозвался мужик в черной дубленой шубе с белым мехом на отворотах. — На курорт, в Нилову Пустынь, еду.

— Как же ты на курорт?.. — Я с недоумением смотрел в спокойные глаза мужика, на его тугие щеки. — Как же на курорт, если у вас там беда?

— Фи-и! — присвистнул мужик. — Три дня назад это было. А сегодня все уже нормально. В ритм вошли.

— Что, укротили реку?

— В ритм, говорю, вошли. И река, значит, вошла. Куда ж ей, реке, супротив людей-то? Хоть так, хоть эдак — никуда!

В киоске я купил газету и сразу на первой странице увидел: «Устьилимцы поборoли стихию». Напряжение у меня спадало. Теперь можно не торопиться. Поглядеть город. Я вышел из вокзала.

Серые сгустки, похожие на облака, ползли от земли к черному небу. Это реки дыхание. Шелестела шуга, в темноте невидимая. В тумане текли, плавились огни, внизу и вверху. Мигали. Туман двигался, и город будто плясал. На момент очерчивался тускло бок многоэтажного дома, потом пропадал. Зеленые, в оранжевых обводах буквы рекламы, пробиваясь откуда-то с высоты, текли лентой навстречу прохожим, проезжим.

Где тут пригорбленные избы с маленькими оконцами, которые глядели тогда на мир из тайги полуиспуганно, полускрытно? Их куда-то сюда перенесли. Они дали начало городу.

Вспоминалось то, давнее...

Здесь, на этом месте, тайга стелилась плотная, на холмах хвоя просветлялась, а в болотистых низинах лес темнел, набухший влагой. Из открытого окна дощатого барака, прилепившегося у края насыпи, на весь двор разносилось:

— Четвертое прорабство, вы меня слышите? На каком километре кладете рельсы?

— На сто восемьдесят восьмом, у Мшистого лога.

— Почему на сто восемьдесят восьмом? Почему не перешли Мшистый лог?

— Насыпь не подготовлена.

— Второй прорабский, в чем дело? Что у вас там с насыпью? Вчера докладывали...

— Размыло водоотводные канавы. Укрепляем.

— Как так размыло! Вы что, не предвидели? Разучились работать? Слышите?

— Грунт ползет. Рабочих не хватает. Нормы составлены не по этому грунту...

Из окна высовывается бритая, утолщенная в затылке голова — старший диспетчер Сиваков.

— Нормировщик, разберись-ка, что там с нормами...

Парень в солдатской гимнастерке, сидевший на пеньке с чертежом на коленях, поднимается, складывает чертеж. Шагает он ровно, норовит ставить ногу так, чтобы она угадывала на шпалу каблуком, и глядит на облупившиеся носы сапог. Старшина выдал ему новые кирзовки перед тем, как демобилизоваться, это было около месяца назад, и они, кирзовки, уж вот-вот прохудятся от ходьбы по гравийным кучам.

По бокам полотна, за рыжими водосточными кюветами, вразброс лежали вывернутые пни. Гигантские «крабы». Хвойное море отступило в одну и другую стороны, откатилось зелеными валами, а в промежье, на дне его, остались «крабы».

Вырубка вдали сужается, она будто щель, по которой бежит насыпь с еще не осевшими шпалами и не обкатанными рельсами. Плывет грозовая туча, густая и тяжелая. Просвистел в кочкарниках

турухтан. И снова тишина — до звона в ушах. Шум бульдозеров, лопат, топоров, пил, экскаваторов, людей остался далеко позади.

Идущий по шпалам парень меньше думает о грунте в Мшистом логу, больше о том, что здесь будет через пять лет, через десять; сажает на полянах меж сосен красные дома с белыми крышами... Ох, фантазия!

Тем парнем был я.

В логу деревья поредели. Среди мхов росли серые кусты жимолости. Под содранной дерниной бурели широкие камни.

Все верно. Нормы даны в соответствии с этим: твердая порода под тонким черноземом. Но почему водоотводы «ползут»?

Прораб лет тридцати, обутый в охотничьи чуни из невыделанной лосиной кожи, с пунцово-фиолетовым лицом, начисто изъеденным мошкой, а потому казавшимся рябым, указывал рукой в сторону:

— Гляди, гляди, вон там!.. Сваями вынуждены укрепляться!

Камни лежали на глине, потому ползли. Вода скапливалась, размывала насыпь. В бригадных нарядах я пересчитал затраты на те работы, какие сделаны, и на те, какие надо сделать, учел и камни, и глину, и чернозем, но как я мог учесть воду, что прибывала и кружилась?

Прораб не дождался от меня ни слова, сердитый, пошел собирать бригадиров, он двигался как-то боком, ремешки на левой ноге ослабли, ичиг хлюпал.

А через неделю в конторе опять шло совещание по селектору, и опять старший диспетчер Сиваков спрашивал:

— Четвертое прорабство, вы меня слышите? На каком километре кладете рельсы?

— На сто девяносто шестом.

«Ага, значит, Мшистый лог взят», — подумал я обрадованно. Тогда новичок в строительно-железнодорожном деле, я еще не знал, что на этой трассе «мшистые» лога будут через каждые десять-пятнадцать километров.

В октябре, сразу после дождей, навалились морозы. Они, морозы, будто выжидали там, за дождевыми облаками, и как только последняя дождинка вытряхнулась, так и навалились на голую землю двадцатиградусные, с каждым днем набирая силу, и уж к концу второй декады ноября инспектор по технике безопасности полез в стол и достал бланки для актирования смен. Актировать смены полагается при минус сорока.

Удивительно чутка тайга зимой в Восточной Сибири. Ни ветринки. Проткнули синеву воздуха закуржавелые, белые ели, будто встыли в нее. Белка уронит из лап шишку — шорох катится через три лога. А уж если дятел стукнет в напряженный ствол кедра, то весь лес ответит эхом. Ночь распишет снега миллионом узоров — всяк, кто живет в тайге, оставит автограф. Мышка-полевка, заяц, рябчик, горностай, тетерев, соболь, лось... Утром солнца из-за тумана долго не видать, оно где-то плавает. Потом туман поосядет, снег золотом заискрится, и на вершинах белых сосен увидишь черные шапки. Глухари! Ни дать ни взять как на гравюрах Володи Мешкова, художника из Красноярска. Сидят глухари не шелохнувшись, демонстрируют презрение к пятидесятиградусному холоду.

Кто-то уж перед весной подсчитал: если бы, говорит, мы слушались доброго нашего инспектора-безопасника, то треть зимы лежали бы в общежитиях и не дотянули бы рельсы до Братска, одного из самых древних российских поселений в Восточной Сибири.

Здесь тайга сходила на подлесок, и среди просторной чистины стайкой жались одна к другой избы. Вдоль бревенчатых заплотов тротуары из горбыля. На тротуарах лежали коровы. Под каменистым яром река с быстрым изворотливым течением. Каждый камешек на дне выписан. Строители бросали в воду пятаки, гривенники — и они все видны. Такой прозрачной воды не сыскать. Одним словом, Ангара.

За полчаса обошли мы весь Братск. Улицы и дома пусты — все население с ребятишками и стариками ушло глядеть паровоз, приближающийся в клубах дыма и пара из глубины тайги.

На воде у берега качались долбленки. Зеленый холм венчала башня с бойницами, сложенная из лиственничных бревен. Семнадцатый век! Острожки садились на главных промысловых и торговых путях. А через это место пролегала дорога на Лену, в южное и западное Прибайкалье.

Казаки поставили в 1593 году на Оби опорный пункт Березов, потом одни пошли вверх по Оби, другие вниз, где основали Обдорск, а, миновав Обскую губу, на реке Таз — Мангазею.

На Енисее, в устье Турухана, казаки появились в 1607 году, основали город Туруханск, затем несколько выше — Енисейск. Отсюда Ангарой прошли в места обитания коренных жителей икинатов и ордынцев, разоряемых бурятскими князьками, выбрали высокое чистое поле и поставили острог Братский. Под защитой русских роды икинатов и ордынцев учились выращивать ячмень, ядрицу...

В тайгу дальше мы тогда уходили задумчивые и освещенные светом далекой истории.

В гостинице «Тайга», куда пришел я прямо к дежурному администратору, стояла очередь. Места только по броне.

— Куда же нам теперь? Давайте хоть раскладушки, — волновались приезжие.

— Ничего не будет. Ступайте в другие гостиницы. У нас их тут несколько. В «Турист» ступайте, — отвечала дежурная.

— Да уж были. Везде были. Нам хоть бы раскладушки.

На автобусной остановке одиноко подпрыгивал человек в коротенькой меховой куртке, она была стянута ниже пояса резинкой, и фигура человека казалась долговязо-уродливой.

— Что, не устроился? — человек приблизил сочувственно круглое лицо, кивнул на оранжевый витраж гостиницы. — Не беда. Идем ко мне. Переночуешь.

— Да нет, что вы!

— Идем, идем, — человек подтолкнул меня к автобусу.

Я тут сообразил: побываю в одной из квартир нового города. В автобусе внимательно разглядел незнакомца. Светлые, со смешинкой глаза, широкие густые брови, плотный пучок усов.

Познакомились. Твердохлеб Николай. Машинист плавкрана. Словом, крановщик.

— Вот что я тебе скажу. Кто жил в палатке, тот никогда не откажет человеку... Запомни это, — уверял Николай.

Сибирская, номер 5, квартира 19. Дверь открыла девочка лет девяти, с косичками. Прошли в просторную комнату. Справа диван, прямо — буфет, по бокам зеленые мягкие кресла, у противоположной стены книжный шкаф. По телевизору показывали: демобилизованные солдаты ехали в Красноярский край строить крупнейший в Союзе вагоностроительный завод.

Из смежной комнаты вышла молодая женщина в ситцевом цветастом платье. Жена Николая — Лида.

— Покорми-ка нас. Что там у тебя есть? — обратился Николай к жене, открыл на плите одну кастрюлю, другую, потянул носом, сел за стол, принялся нарезать хлеб. Делал он это по-крестьянски ловко: прижав булку к груди, осторожно прилаживался к ней ножом, примериваясь, потом одним махом снимал тонкий ломоть. Ломоть соскальзывал в тарелку.

Николай кивнул на телевизор:

— Когда-то я после армии вот так же, как они, по комсомольской путевке приехал сюда. И вот... судьба моя определилась. Как надо.

В соседней комнате, посапывая, спал шестилетний сын Андрюшка. У него режим: в девять ложится и в половине седьмого встает, чтобы с мамой в садик идти. Дочка Искра выключила телевизор, закрыла ладонями страничку «Хрестоматии», принялась учить стихотворение.

Я поинтересовался, откуда сам Николай. Оказалось, из Запорожья. Служил на востоке. Строить Братскую ГЭС приехал из части, погоны снял уже здесь.

Комплексная бригада, в которой начал работать Николай, готовила блоки под бетон.

— Работа нелегкая. Вылущи бухтящие камни, ощупай, оботри ладонями каждый сантиметр скального монолита. У тебя лом, кувалда и отбойный молоток, которым, кстати, пользуйся с осторожностью и не всегда, потому как попортишь скалу. Да еще ведро и тряпка у тебя. Да, да, ведро и тряпка. Мыть как в казарме. Только проверяет качество мытья не старшина, а старший инженер. Так же, как старшина, белым своим платочком. Потрет, потрет — и посмотрит.

Однажды Николай увидел, как Димка, занимающий в общежитии койку слева, у окна, собирает какие-то брошюрки, тетрадки чистые.

— Куда это ты? — спросил.

— На курсы опалубщиков. Скальным работам обучился, а теперь кто ж за нас опалубку станет делать?

Пошел на курсы и Николай. Опалубщиком стал отменным: с детства руки приучены к топору. Отец-то, Григорий Никифорович, — столяр и плотник, вот и приучил сына.

Гидростроителю нельзя с одной, с двумя профессиями. Скоро другие курсы открылись — электросварщиков. На участке начинались большие арматурные работы (плотине нужна арматура, без арматуры бетон не положишь), а сварщиков не хватало. Вот и согласился.

А тут август кончался. На воротах школы, что за ложком, красное полотно с белыми буквами: «Добро пожаловать». По разметенным дорожкам детвора спешила на перекличку. Парни и девчата в общежитиях заволновались:

— Ты сколько классов окончил?

— А ты?

— Шесть. Понимаешь, как-то так получилось, что и условия были, и все такое, а поленился...

— Ну как? Запишемся? — спросил Николая Репейкин, знакомый парень из общежития.

— Окончить нам десятилетку обязательно надо, — ответил Николай.

Когда Николай женился и родилась дочь, товарищи подумали: не потянет теперь в прежнем темпе, оставит школу. Ничего, только осунулся да меньше разговаривать стал — время экономил.

Но школа школой, а стройка стройкой. У стройки свои требования. Практические. Зачастую сиюминутные. Нужен крановщик на участке. От бригады нужен. Бригада-то комплексная, и если на подъемном кране будет свой человек, простои сократятся. Сейчас же, чтобы передвинуть груз, надо сперва согласовать с мастером, а потом уж мастер отдаст распоряжение крановщику, и то не сам, а через механика. Выбор бригадир остановил на Николае: ему идти на курсы крановщиков. И без освобождения от основной работы на плотине. Где время взять? Ну, это уж дело твое — выкраивай.

Позднее, работая на кране, Николай узнал, что при управлении организуются шестимесячные курсы электромехаников. Это же то, что надо! Пока кран на ходу — работаешь, а ну как ремонтировать придется? Посоветовался с бригадиром, с бригадой.

— Свой бригадный электромеханик? И не раздумывай! — поддержали ребята.

Четыре профессии теперь у Николая Твердохлеба: опалубщик, электросварщик, крановщик, электромеханик. Это только официально, так сказать, то, что подтверждено дипломами. Сюда не входит умение делать скальные работы, умение чувствовать реку, понимать людей и видеть мир всеохватно — этому он тоже научился. Я говорю ему об этом, он смущенно отмахивается:

— Я-то что! Вон ребята из нашей бригады действительно преуспели. Дима Левин... Он тоже по комсомольской путевке. На плавкране машинистом... Несколько профессий он освоил. Вечернюю школу окончил. Скоро диплом техника по эксплуатации строительных машин получит. Ведущие места в соревновании всегда за ним. Библиотека дома какая! Если быть точным, то у нас несколькими профессиями овладели одиннадцать тысяч человек.

Да, если быть точным, то на БратскГЭСстрое овладели смежными профессиями 11 785 строителей; всего за годы строительства здесь было подготовлено, прошло профессиональную и жизненную школу 55 013 молодых рабочих.

Николай склонился над кроваткой сына. Что снится ребенку? Утренний город, полный добрых, веселых лиц?

Мальчик, выкинув ножонки поверх одеяла, спит спокойно, в неосознанной, естественной уверенности, что утро его встретит ласковой улыбкой. А у отца-то было детство иное — военное, и самая яркая (до ужаса, до кошмара) картина той поры: он и другие ребятишки перебегают осеннюю разжиженную улицу, а из-за угла дедова соломенного куреня выползают черные фашистские танки...

Не надсадилась душа парня, потому живет он теперь широко, ясно.

Мы сидим с Николаем, ужинаем в кухне. Он рассказывает:

— Построили мы плотину, построили город. Турбогенераторы дали электричество. Четыре с половиной миллиона киловатт. Ток пошел на промышленные объекты соседних городов, на железную дорогу, в таежные хозяйства.

— А теперь где работаешь?

— Недавно проводил крупный плавучий кран с большой осадкой по Ангаре через пороги (это было впервые в практике ангар-

ского судоходства). Гружу и разгружаю песок и гравий для Усть-Илимской ГЭС. Кстати, многие братчане помогали устьилимцам в их беде; узнав о стихии, сразу же уменьшили сброс воды со своего гидроузла.

Утром туман оторвался от земли, поплыл слоями вверх, на уровне последних этажей высотных домов остановился, люди и транспорт сновали под белым пологом; потом туман снова упал на землю, уплотнился и, свиваясь в жгуты, потянулся к водохранилищу. Я шел на автобусную остановку, чтобы поехать на аэродром, а там — до Усть-Илимска, как вдруг услышал позади свое имя. Оглянулся. У зеленой дощатой будочки на крыльце человек в свитере, шапке махал рукой.

Да это же Валентин Комков!

— А я гляжу в окошко, вижу, мужик с рюкзаком... Пригляделся... Фу! Мог бы и не заметить. Ну, идем ко мне.

Будочка внутри поделена дощатой перегородкой, в той и другой половине по два маленьких стола с бумагами, арифмометрами, карандашами, линейками. Одна из женщин, разбирающих бумаги, высокая, белолицая — жена Комкова, Лариса.

После строительства Красноярской гидроэлектростанции, где Валентин работал мастером по монтажу гидроагрегатов, его направили на Нурекскую ГЭС, в Таджикистан, оттуда в Грузию на Ингури. Южный климат не по сибиряку, особенно болели жена и ребятишки — попросился он в Усть-Илимск, на участок, руководимый знаменитым специалистом по монтажу лауреатом Государственной премии Николаем Васильевичем Затовским. Валентин влюблен в Затовского, считает, что работать рядом с ним равнозначно учебе в академии.

— И вот я здесь, — Валентин снял шапку, повесил на гвоздь, взялся за стул, чтобы сесть, но передумал, снова надел шапку. — Пойдем-ка лучше на объект, там интереснее.

— Но ты же у Затовского, а Затовский на Усть-Илимской, — сказал я, недоумевая.

— Все верно. Николай Васильевич на Усть-Илимской. Я у него на участке. А одно прорабство от участка здесь, в Братске, вот я и заправляю этим прорабством. — Валентин, легкий, стремительный, брюки стрелочкой, меховые ботинки на толстой белой подошве, шагал впереди, я за ним.

По дороге в оба конца беспрерывно шли грузовые автомашины, мы то и дело отбегали на обочину, чтобы не быть зацепленными широкими кузовами; отбегать нам надоело, и мы пошли по снежному целику. Слева на сотни метров тянулись серые промышленные корпуса, соединенные галереей, оттуда наносило сложным запахом вареного дерева, хлорной извести и еще чего-то; справа высоко поднимались металлические конструкции. На них, прихватившись цепями, висели люди в желтых касках — электросварщики.

— Вторая очередь лесопромышленного комплекса. Монтируем галерею. — Валентин задрал голову. — Виктор Александрович! Этот пролет мы сегодня закончим?

— Будто бы должны, — ответил сверху рабочий.

Валентин улыбнулся, пояснил: такой человек это, Усов Виктор Александрович, скажет «будто бы», вроде бы неопределенно скажет, а понимай так, что все будет в порядке. Когда-то был шофером, перешел в монтажники и уж сколько лет на этом деле!

Дальше мы шли медленно; Валентин часто останавливался, рассказывал о своих рабочих:

— Юрий Прудников. Тридцать два года. Что успел сделать за свою жизнь? Немало. Братскую ГЭС построил. Капчагайскую в Казахстане. Хантайскую на крайнем енисейском севере. Заочно учится в Иркутском политехническом институте...

Валентин вдруг отпрыгивает в сторону, за ним и я, — с ферм разноцветным букетом падает огонь сварки.

— Это Толя Голубев. Увлечется — ничего не видит. Электросварщик отличный... А вон Тимур Исламгулов. Из-под Уфы родом. В его судьбе, можно сказать, вся главная политика наша выражена. В чем она главная? В том, чтобы один народ помогал другому. Так вот, Тимур Исламгулов — татарин. Поработал он у себя в Татарии, поехал в Якутию как специалист монтажа и бензорезчик высокого класса, помог смонтировать там Вилюйскую ГЭС. Работал в Казахстане на монтаже турбогенераторов крупной гидроэлектростанции. В Грузию его пригласили — и там сделал сложные монтажные работы. Потом — Дагестан, гидросооружение на реке Сулаке. Оттуда позвали строить ГЭС на земле самых северных советских жителей — долганов и ненцев. Не обошлись без Исламгулова и на сооружении канала Иртыш — Караганда. Вдумайся только! А между прочим, ни отец, ни дед Исламгулова не знали ничего, кроме телеги да лошади, интересы их не шли дальше степи, которая за деревней. У Тимура кругозор вон какой — на весь Союз. А у его дочек, которых он возит со стройки на стройку, кругозор еще шире будет.

Когда Валентин рассказывал о рабочих, он светился вдохновением.

Комков когда-то был кочегаром, помощником машиниста на паровозе. Учился в Омском институте железнодорожного транспорта, практику проходил на монтажном участке сибирской гидростройки. О том времени у меня в блокноте записано так:

«Бригада зачищала стержни. Серебро лишнее снималось. Напильником личневым. Шир, шир, шир... А больше наждачной шкуркой.

— А так ли мы делаем? — спросил Валентин у бывалого генераторщика.

— Э-э, парень! — удивился генераторщик. — Тут все проверено. До тебя-то сколько мы станций на реках наставили, и все так делали. Наше дело монтажное, всегда кропотливое. Не сани ладим — генератор. Так-то. Что, трудно? Терпи.

Бригада ушла с работы, а Валентин остался на ночь. Приладил на шкив проволочного ерша. Подсоединил к электричеству. И этим-то ершом по серебряной наплавке — р-р-раз! Р-р-раз!

Ночь прошла. Утром его напарник-генераторщик ахнул, когда присмотрелся.

— Да ты никак хорошее дело придумал!

Практиканта так и подмывало сказать: «Э-эх, ребятки, ведь такие стройки по Сибири кругом! Как тут не прийти хорошим мыслям!»

Через неделю бригаде дали другую работу: фаску на шинах снимать. Вставят в отбойный молоток зубило, нацелятся — трык-трык-трык... Еще нацелятся, еще приставят — трык-трык-трык... И так долго-долго.

Сообразил практикант, что и здесь тот же шкив выручит, только вместо ерша фрезу приладить.

И опять получилось: включил машинку, подвел фрезу — рр-рык, рр-рык!.. Готово! С другого конца так же — рр-рык, рр-рык...

— Вот тебе и молодо-зелено! — порадовались монтажники. — Сколько лет делаем по старинке, по-дедовски; казалось, чего же тут мараковать, все испытано, знай рубай, лишь зубила покрепче подбирай, а оно вот и гляди ты!..

Успех, казалось бы, должен придать уверенности. Ан нет, получилось наоборот: понял Валентин Комков — ухватить и разрешить ему удалось только то, что с краю, наверху лежало, а дальше, в глубь технических вопросов без основательных знаний и соваться нечего.

Николай Васильевич Затовский — он был тогда старшим инженером участка — сказал практиканту в напутствие:

— Как закончишь учебу — к нам. Место мастера тебе будет обеспечено.

— Конечно, Николай Васильевич, я бы так... Но вот отец не хочет, чтобы я нарушал семейную традицию. Железнодорожники у нас все. И отец, и мать, и братья, и сестры. Возражать будут.

— Отца я беру на себя. Уговорим, — пообещал Затовский. — Мы ведь и для той же железной дороги электричество производим. Они сейчас в Сибири все электрифицированы. Следовательно, железнодорожники наполовину электрики, а мы, энергетики, наполовину железнодорожники. Как! Ло-овко! Вот с этих позиций и обработаем твоего старика.

Верно, отца, Льва Кузьмича, известного в Восточной Сибири водителя и механика железнодорожных машин, обработали, а вот заместителя министра путей сообщения не смогли. Тот разгадал хитрость и натяжку. Приехал он в Омский институт, когда студенты защищали дипломные проекты, сам стал распределять выпускников: того в Хабаровский край, того в Абалаково, на новую, только что отстроенную ветку, того на север Урала, в тундровую местность, где открыты залежи металлов и где надо осваивать тепловозы. Дошла очередь до него, Валентина Комкова. Ректор сказал:

— Вот тут вызов на него есть. На сибирскую гидроэнергостройку.

— Ну что ж, можно и на стройку, если там нужны люди, — согласился заместитель министра, откладывая дипломную карточку выпускника. — Железные дороги теперь везде и всюду основа.

— Не по отрасли его просят-то, — пояснил ректор. — Не по тепловозам, а в Спецгидроэнергомонтаж.

— Что-о! — не понял заместитель министра. — Как так!

— В тепловозах генераторы, и на гидростанциях тоже генераторы. Много общего в схеме... На этом основании и просят...

— Вот что! — нетерпеливо сказал заместитель министра. — Пошлем-ка мы этого парня в научно-исследовательский институт. В Свердловск... И никуда больше. Перспектива: кандидат наук...

В кабинетной тиши научно-исследовательского института Валентин оставался недолго. Не по нему это. И сны-то стали видеться такие, что утром проснется, а в сердце тоска. Затовский все-таки добился перевода его на монтажную работу, на Енисей, — как-то хитро хлопотал через само министерство. И Валентин приехал на Красноярскую ГЭС».

Сейчас я, шагая за Валентином между железных конструкций, обдумываю: живет в этом парне изобретатель, живет. Был он в Нуре-

ке, где руководит стройкой Юрий Константинович Севенард. Бетонщики там жаловались на арматурщиков: не обеспечивают фронт работ. Севенард на всех планерках спрашивал прораба, ведавшего арматурными работами:

— До каких пор это будет продолжаться? Ту арматуру, что ваши люди делают за смену, бетонщики успевают забетонировать за два часа, а остальное время вынуждены простаивать.

— Арматуру-то надо еще сварить, а сварка, сами понимаете, требует от рабочего большой сосредоточенности, — оправдывался прораб. — Спешка, боюсь, только повредит нам.

— Отдайте арматурные работы мне... то есть коллективу моему, — попросил Комков.

Начальник строительства переглянулся с главным инженером и проговорил медленно:

— У меня, собственно, возражений нет. Но есть вопрос: уверены ли вы, что у вас дело пойдет успешнее?

— Если бы не был уверен, не брался, — твердо ответил Валентин.

Через три дня на планерке у начальника строительства разговор был уже другой.

— Вы не успеваете за арматурщиками. Подтянитесь! — обращался начальник строительства к руководителю бетонных работ. А потом, улыбнувшись, спросил Комкова: — Все-таки, как вам удалось наладить дело?

— Мы укрупнили секции, стало меньше стыков, а значит, и сварки меньше. Арматура, понятно, от этого выиграла в прочности, — сказал Валентин.

Объяснение простое. И на деле несложно. Но, к сожалению, на строительстве многое делается так, а не иначе только в силу привычки, потому, дескать, что и до нас ведь делали этим, а не иным способом, пусть даже менее выгодным, зато испытанным. И надо прийти ясному исследовательскому уму, чтобы за ужившейся привычностью увидеть новую возможность и осуществить ее.

На арматуре выработка бригад редко когда поднималась выше восьмидесяти процентов. При Комкове она перешагнула за триста.

Еще факт. Это уж в Братске. Крышу надо было ставить на промкорпусе. А как? Ну ясно как — лезть на стены да и монтировать. Исстари так ведется. Эксплуатационники торопили: зима вон из-за гор глядит, скорее бы надо укрыться от нее, иначе технологическая линия не будет пущена. Строители отвечали: нет, до начала зимы, хоть душа из тела, не управимся.

Валентин присутствовал при том разговоре. Примерился взглядом к зданию, с одного бока, с другого, с торца зашел, задал два-три вопроса машинисту башенного крана, вечером закрылся в кухне, попросил жену и ребятишек не отвлекать его. Утром пришел в управление.

— Давайте я со своими монтажниками попробую поставить крышу до наступления холодов.

— До наступления холодов?!

— Да. До холодов.

Крышу собрали на земле, очень быстро собрали. Потому что не надо ни леса строить, ни на монтажных ремнях висеть. Потом подвели мощный кран, на несколько градусов склонили стрелу, и краном поставили собранную крышу туда, где и полагается ей быть. Что? Наклонять стрелу — риск? Нарушение техники безопасности?

Да, многие инженеры в этом видели риск. Комков же все рассчитал точно.

Валентин показывает мне действующую часть лесопромышленного комплекса. Начинаем с бревнотаска, куда бревна попадают из водохранилища. Длинными красновато-бурыми тушами ползут обезглавленные сосны, лиственницы... С поперечных линий соскальзывают на продольные и снова ползут.

— Здесь когда-то такой грохот был. Мы пригляделись, отчего он. От недостатка в самой конструкции. И вон гляди... Амортизационные пружины поставили, — говорил Комков. Я уверен, что эта идея с пружинами, принесшими тишину, лично его, Валентина, но он повторял: «Мы, монтажники, пригляделись и решили...» Он всегда так — и про крышу, и про арматуру: «Мы, монтажники, посоветовались, прикинули...»

На пути бревен круглые пилы, этакие стальные диски метра полтора-два в диаметре, расставленные рядком. Железный транспортер, несущий на себе лес, не задерживается, движется и движется... Пилы разрезают бревна на чурки. И транспортер сбрасывает их в гигантские вращающиеся бочки. Они лежат на боку, без дна и без покрышек, с ребристыми боками. Бочки эти зовутся окорочными барабанами. Изготовлены шведской фирмой. Когда-то не выдерживали удара чурок — пластины внутри отскакивали. Валентин опять:

— Мы, монтажники, прикинули, посоветовались и способ крепления пластин-ребер изменили. Видишь, вон ребра идут парами, с небольшими промежутками...

Я издали заглядываю в бочку и вижу только гору вращающихся чурок, уже раздетых, телесно-белых, обмытых водой.

— Лучше бы эти барабаны с ребрами делать цельными. Рано или поздно наша промышленность дойдет до этого, — говорит Комков.

Чурки превращаются в щепу, щепа попадает на сита — их целая система, и тут отсеянная и мелкая идет в одном направлении, крупная в другом — ее снова измельчают.

Невольно вспоминаешь огромные стволы сосен и лиственниц, которые видел в бревноотсеке, и не хочешь верить, что это их искромсали в эту щепу величиной с перышко. И хочется закричать: остановитесь, зачем гнать сюда из тайги и губить крупные стройные деревья, разве мало разного мелкого кривляка? Говорю об этом Валентину, он отворачивается, достает карандаш, что-то подсчитывает на бумажке, ничего не отвечает.

В закупоренных котлах — высотища — у-ух какая! — варится щепа, разбавленная особым раствором. Потом жидкий отвар уходит вправо, чтобы стать окончательной продукцией: десяток названий у нее, в том числе канифоль, скипидар, каустическая сода, крахмал. А густой отвар уходит влево и там перерабатывается в картон и целлюлозу.

Волокнистая изжульканная древесина после варки уже не пахнет лесом. Снова приходит на ум: обязательно ли гнать на волокнистую массу настоящий лес? Житель Тувы, знаток тайги, Филиппов Трофим Артемьевич — с ним я недавно беседовал, — говорил мне, что в тайге очень много бросового леса, буреломника — миллионы кубометров. Напоминаю об этом Валентину.

— Ты Анатолия Борисовича Жукова знаешь? — спрашивает он.

— Какого Жукова?

— Академика. Главного защитника леса сибирского. Напишу ему. Что он ответит? Знаю: ответит, что хороший лес на щепу перерабатывать нельзя. И тогда, заручившись поддержкой академика, напишем министру.

Забегу вперед и скажу, что через месяц с группой писателей побываю я у директора Института леса и древесины Сибирского отделения Академии наук СССР академика Жукова, он обратится к нам с просьбой:

— Помогите вы нам, товарищи, научить всех без исключения людей смотреть на лес не как на древесину, а как на главную жизненную среду. Пока мы этого не сделаем, не будет лесозаготовитель в лесу мудрым хозяином, каким является сейчас хлебороб в поле.

А вот разделочная. Скатываются с потока белые рулоны. Отрезаю кусок — на память. Целлюлоза! Еще недавно наш Красноярский шинный завод получал корд, сделанный из целлюлозы, купленной за границей. Теперь вот своя, сибирская! Пачки-кубы приготовлены для отправки. Наклеены листки: «Целлюлоза сульфатная кордная предгидролизная, ГОСТ 16762—71».

— Ну, сколько видел людей? — в конце потока, перед выходом на улицу, вдруг спросил Валентин.

— Людей?

Прошли мы с километр по цехам, и я не обратил внимания, что людей-то почти не встретил.

— Автоматизация, — сказал Валентин. — Автоматизация на электричестве.

И тут я вспомнил, с каким уважением люди относились к нам, монтажникам участка «Спецгидроэнергомонтаж», когда мы собирали в Дивногорске турбины и генераторы. Не от наших ли тех енисейских гидроэнергоблоков пришел сюда через общесибирскую энергосистему ток, не он ли питает и эту вот автоматику?

Мороз усилился. Скрипит затвердевший снег. С водохранилища дует ветер. Валентин опять рассказывает мне о людях, работающих высоко на фермах.

— Михайленко Борис, местный, братчанин. А вот Василий Прокопьев, ты помнишь его по Красноярской...

Я киваю, осматриваюсь, далеко ли теплушка бригадная. Мороз пролез в перчатки и прихватывает под пальто спину. Однако Валентин, кажется, не ощущает острого ветра.

— Никифоров Виктор, — называет он еще одного строителя. — Очень серьезный человек. Воспитатель кадров. Председатель местного комитета. Слесарь с заглавной, так сказать, буквы... Посылаем агрегаты модернизировать, с 225 на 250 тысяч... А это вот Сборщик Михаил. Сборщик — фамилия. Лучший наш такелажник. Напомнишь после, я тебе подробнее о нем расскажу, о преемственности...

В бригадной теплушке длинный серый стол, не новый, исшорканный, скамейки с четырех сторон, в углу, слева от двери, электрообогреватель. Обеденный перерыв. Кто не пошел в столовую, сидит развязывает узелок. Бутерброды, молоко, пирожки. Разговор известно какой: подтрунивание друг над дружкой. Стучат костяшки домино — кто-то высыпает из коробочки.

Я наблюдаю за плечистым, среднего роста парнем, сидящим у двери, Геннадием Кузнецовым. Лицо тугое, красное, нажженное

морозом, глаза улыбчивы. Валентин сказал, чтобы я пригляделся к этому парню.

Едва покончив с бутербродами, Геннадий надевает шапку-ушанку, смахивает с брезентовой куртки хлебные крошки, озорно поддает под бок кулаком одному соседу, другому, выбегает на улицу, на ходу натягивая рукавицы.

— Отдохнул бы, Гена! — кричат ему в открытую дверь.

Геннадий не оборачивается. Я иду следом и застаю его за работой: сидит на заледенелом снегу на корточках, щиток на лице, тычет электродом в стык широких пластин.

— Давно монтажничаешь? — выждав, когда ослепляющая пляска огня прервалась, спрашиваю я.

— Не совсем, — парень сдвигает щиток до половины щеки. Тотчас склоняется, огонь снова бьется под электродом.

— Первая твоя стройка? — спрашиваю опять, устав стоять за его спиной. Спина и голова у него почти не двигаются. Двигаются руки. Красиво, уверенно. Так варить новичок, конечно, не мог, разве только с талантом. — А до этого где-нибудь бывал?

— Куда приглашали, там и бывал.

— Куда же приглашали?

— В Казахстан на Капчагай, в Грузию на Ингури, в Дагестан на Черкейскую ГЭС, а еще — на Вилюйскую, Хантайскую, Нахичеван-Аракскую. Последнюю мы монтировали вместе с афганцами. Да ладно, долго все перечислять. Некогда.

Вот тебе новичок!

Видя, что парень намеревается снова закрыться щитком, я поторопился:

— А вы, — мне стало неудобно называть его на «ты», — не в бригадной системе?

— Как это?

— Выработка-то не в общий котел? Вы отдельно от бригады?

— Это почему же?

— У всех обеденный перерыв, а вы вот...

Парень больше не сдвигал с головы щитка. И я больше не стал ни о чем спрашивать. Тянулась поземка, завихривалась на сквозняках между железным лесом, именуемым второй очередью ЛПК.

Тайга, из которой мы тут когда-то выбирались, уже не та вокруг, поредела под пилами, — и вот, значит, поземка, ветер.

Вечером за ужином я сказал Валентину Комкову, что ничего особенного не разглядел в Кузнецове, разве только то, что совсем еще молод, а уже хороший мастер. Валентин сидел в низком кресле в белой рубашке с отложным воротником, черные волосы, зачесанные назад, пружинно топорщились, рука с папиросой была вытянута на столе. В пепельнице горка окурков. Много курит Валентин, папиросу держит щепотью, так держат профессиональные охотники и очень занятые люди. Лариса поставила на стол в глубоких тарелках тушенную с картошкой курятину, ломтики холодного свиного мяса, брусок сливочного масла и стала следить, с достаточной ли старательностью мы едим.

— Гена Кузнецов — это характер, — начал Валентин. — Определенный, сложившийся характер. Это человек, для которого работа — праздник. Понимаешь?

— Не отвлекайтесь, ешьте, — вмешалась Лариса.

Валентин ненадолго замолчал, а потом опять продолжал:

— У нас не один он такой. Взять Мишу Сборщика. Он перенял

опыт знаменитого такелажника Палатина, заслуженного строителя республики Российской. Перенял и дальше шагнул... Ну, может, и не в мастерстве, ведь очень не просто дальше старика Палатина шагнуть, но в человечности, в кругозоре — точно. И другим бы вот так! Тем, кто заготавливает древесину для нашего ЛПК, и тем, кто контролирует автоматы, и тем, кто строит, — всем бы чуточку глядеть так это, знаешь... не только из сегодня в завтра, а из завтра в сегодня. Да... а в Усть-Илимск ты съезди. Не наводнение же само тебя интересовало — торопился-то, а народ, одолевший наводнение. Так? Ну и вот. Ложись вон отдыхай, а утром на вертолет.

Вертолет летел низко над сопками, покрытыми тайгой. Тайга зимой сверху не зрелище. Ни величественности, ни пугающей тайны. Торчат стылые деревья, этакая щетинка. Квадраты белые, почти симметричные — след лесозаготовителей.

Вывертывалась из-за сопок Ангара, она гнала плотную шугу, вздувшуюся шубой. Все сибирские реки уже стали, покорились зиме, а вот Ангара еще бьется. Ни люди, ни звери, ни рыба не рады, что она так долго бьется. Людям нужна ледовая дорога — грузы возить. Зверям, в первую очередь соболю и белке, тоже без ледостава беда — кедровые орехи и еловые шишки уродились хорошо по левому берегу вдоль притоков Бадарма и Тушама. А рыбе покой нужен, устала она.

Где-то вон там, на западе, около деревни Стрелки, вливается Ангара в Енисей. Оттого Енисей велик, что впадает в него такая многоводная река, питаемая самим легендарным Байкалом.

Слышал я как-то в аэропорту, один морячок с пушком вместо усов, красуясь перед девчатами, неуважительно отозвался об Енисее: дескать, ручеек какой-то. Паренек, должно быть, сравнил реку с океаном. Знать бы ему, что длина Енисея без малого 6 тысяч километров, на 1700 километров больше великой Лены, но и по объему воды занимает в стране первое место, а Волга только пятое. Даже на карте Енисей — как ствол сверхгигантского узловатого, суковатого дерева. Разметались его притоки по заоблачным вершинам десятков сибирских горных хребтов, пьет он их целительную незамутненную воду.

Кстати, у многих есть тревога: останется ли в сибирских реках вода незамутненной и целительной после того, как на их берегах вырастет новая промышленность? Вопрос этот сложный. Скажу лишь, что очистные сооружения ладятся везде и санитарным врачам права даны очень большие. Слышал я о конфликте на кожкомбинате, где санитарный врач увидел плохо очищенные стоки и потребовал закрыть основной цех на две недели. «Но ведь мы недодадим кожи на десять тысяч пар обуви!» — горячился директор. «И не надо, недодавайте», — спокойно отвечал врач. «Но ведь десять тысяч людей без обуви останутся!» — вскипел директор. «Ну и пусть останутся. Вода в реке дороже обуви». В райкоме партии, куда побежал директор с жалобой, не возникло другого мнения: вода, безусловно, дороже!

Режет горы и тайгу Ангара, в петли сама закручивается. Когда-то, говорят, рассерженный старик Байкал бросал в свою дочь Ангару, убегающую к Енисею, камни, но чайки, летящие тоже к Енисею, предупреждали ее, и Ангара успевала увернуться. Оттого-то и проложила она себе такое извилистое русло и несется с сокрушающей решительностью.

Вертолет приземлился на поляне, покрытой снежными буграми. Все побежали, побежал и я. Отчего прыть такая, стало понятно в автобусе. Вскочил я на подножку, и дверные створки сдвинулись, а снаружи колотили ногами, но уже некуда — автобус набит битком.

В Усть-Илимске, в телефонной будке у дороги набрал я номер участка «Спецгидроэнергомонтаж».

Мягкий, очень спокойный голос. Он. Николай Васильевич Затовский.

— Николай Васильевич, это я...

— Откуда?.. Вот и хорошо. Давайте приходите. Можете сейчас, можете с утра завтра.

— Лучше сейчас, Николай Васильевич.

— Вот и хорошо. Мы находимся... Не знаете где? Находимся мы возле бетонного завода. Налево от магазина «Рябинка» по дороге пройдете и вниз. Бетонный... его будет видно сразу за поворотом. На взгорке столовая...

Тропа вьется вдоль транспортной дороги. На ней завывают бетоновозы. На бугре, разбитом оврагами и впадинами, сплошь деревянные одноэтажные дома, справа, в низине, дома пяти- и девятиэтажные. По оврагам лес тянется узкими лентами с плотным подлеском. Клочки тайги, отступившей на склоны дальних бугров.

Затовского я не видел с 67-го года. Стараюсь припомнить ту осень... Нет, не стараюсь, она сама оживает во мне, та осень, когда во что бы то ни стало с Енисея надо было взять первое электричество и направить на Красноярский алюминиевый.

В блокноте у меня о том времени есть запись:

«С лестницы, ведущей в машинный зал, ладно прослушивался монотонный гул первого агрегата, вновь запущенного после аварии. Авария произошла два дня назад — подплавились подпятники. Вот уж эти подпятники — везде они подводят, то же и на Братской было. Металл все-таки еще не приучен к тысячетонным нагрузкам. Люди — ничего. Люди выдерживают, а металл плавится.

В дальнем проходе появился начальник участка Затовский... Всего десяток-другой наберется в стране, а может, и того не наберется таких вот утонченных мастеров генераторно-турбинного дела, основы современной индустрии. А вот он не бережет себя — в такой час не спит. Лауреат Государственной премии! Ответственность!

— Ищу я вас уже сколько! Для большей надежности, чтобы не повторился урок первой машины, протрем на подпятнике зеркало молибденчиком, — сказал Затовский виновато.

Предложеньице принес начальник! И это тогда, когда уже сегменты подпятника покрыты салом, а салом они покрываются в самый последний момент. Когда все заслоны опущены и подогнаны. Когда поднята и закреплена выгородка и в ванне наведена идеальная чистота! И вот теперь все это к чертовой матери из-за, казалось бы, невинного предложеньица: давайте молибденчиком...

— Где же вы раньше были? Где? Хотя бы на полдня раньше, когда выгородку не поднимали... А теперь среди ночи...

— Дорогие все вы мои, сейчас только решили с конструкторами в бюро. Полдня назад еще никто ничего не знал. Всей группой думали, анализировали, и вот решились. Перебрали весь опыт, наш и зарубежный. И решились. Надо испробовать.

— А время... Где взять время для ваших этих... экспериментов.

Вы будете на дню пять раз придумывать, то салом мажь, то маслом, а то еще и медом придумаете! Снова опускать выгородку! А! Хватит, мы и так ее уже дважды опускали!

Уже вторая половина ночи, а монтажники еще и не вздремнули, и когда еще вздремнут. То же самое и Затовский. И другие. И вчера так. И позавчера. И полмесяца назад, и месяц...

Я висел на монтажном поясе. Сверху были видны десятки ссутуленных спин. Потом пошло сивое облако газа и все скрыло. Пробивались оттуда лишь вздохи домкратов.

Промолибденили. Теперь уж будет порядок!»

Но порядка тогда не наступило. Зря я так записал в блокноте.

Через какое-то время, не то через два дня, не то через три, контролер донес, что на зеркало садится буроватый налет. Ржавчина! Смысл этого доходил до нас как-то чересчур медленно, пробиваясь сквозь недоумения и сомнения. Сперва решили, что подвел ацетон, в котором растворяли молибден. Но выяснилось: ацетон ни при чем — подвели енисейские условия. От холода металл вспотел. И тогда все, конечно, пошло сначала: домкраты, суета — опять поднимали и опускали ту злополучную выгородку.

И вот прошло пять лет.

Что в Сибири, в восточной части страны, произошло с тех пор? От Иртыша в Среднюю Азию прорыт и оборудован канал. В Заполярье, в тундре, на реке Хантайке, построена гидроэлектростанция. Вошла в действие первая очередь Братского лесопромышленного комплекса...

В тусклом, с низким потолком коридоре все двери одинаково скучные: деревянная крестовина с тонкой филенкой в бедненькой белесовато-серой краске. На дверях надписи: «Плановая группа», «Техническая группа», «Бухгалтерия»... Только одна без надписи. В нее я и вошел.

Николай Васильевич Затовский поднялся из-за стола, протянул узкую ладонь.

Седины прибавилось, а лицо свежее, розоватое. Очки все те же — в тонкой металлической оправе. Взгляд мягкий, улыбчивый.

— По какой нужде? Или просто в гости? Хоть так, хоть эдак — хорошо. А вот и дядя Петя наш, — Затовский кивнул на вошедшего высокого мужчину с крупным, сильно заветренным лицом.— Вы, кажется, знакомы. Руководитель прорабства.

Это Петр Ершов. На Красноярской он был монтажником, очень хорошим монтажником, там же учился в вечернем техникуме, стал мастером и вот уже руководитель прорабства.

Повесив полушубок на гвоздь, Петр Ершов сел за маленький квадратный стол, что в углу комнаты справа от входа, подпер щеку ладонью, углубился в чтение ведомостей. Эта небольшая комната — кабинет не только Затовского, но и Ершова.

Немного погодя вошли прорабы Горев, Федосенко, Ковалев. Первый — грузный, полнеющий, вяловатый, глаза под черными бровями крупные, спокойные.

— Гложут меня вот какие мысли, — начал он. — Техническая вооруженность наша растет из года в год, а отдача поднимается медленно. Когда-нибудь снабжение материалами будет толково-научно обосновано или не будет? Ритм бы создать. Не на день, не на неделю и месяц, а на весь период стройки, от начала до конца. На несколько лет. Тогда бы отдача!

На Красноярской Горев был мастером после института; встречал-

ся я с ним чаще в автобусе, везущем нас на работу и с работы, да в полутемных мокрых лабиринтах турбинной шахты, в генераторном отделении, где он, новичок, пробегал неуверенно, больше придерживаясь стенок, как бы стараясь быть незаметным. Тогда кое-кто поторопился определить: мол, не приживется парень у монтажников, расторопности маловато, да и робок. Однако время показало, что у мастера светлая голова, острая мысль, и уж если надо какой технический вопрос решить быстро, то оперативнее Горева решит разве только сам Затовский.

В Василии Федосенко, парне спортивного вида, все подчеркнуто щеголевато: и белая рубашка с тугим воротником, облегающим длинную шею, и галстук, и пиджак с разрезами по бокам, и ботинки с меховой кромкой и рубчатым толстым рантом. Бывший тракторист, он работал в колхозе в поселке Пановница Черниговской области. Потом товарищи сманили на Киевскую ГЭС, научили монтажным тонкостям, поступил в институт...

Ожидал я, что заговорят они о том, что пережили недавно, — о волнах Ангары на улицах. А они — совсем о другом. Какие ставить уголки между продольным и поперечным швеллерами? Какие распорки? Как их наваривать? Так ли, как в технических условиях, или еще как? Случай был в Братске: корпус промышленный монтировали, перекрытие ладили, все в соответствии с проектом. Тютелька в тютельку. А тут взял и лопнул металл под нагрузкой. Отчего? Никто не мог понять. Оказалось, что и на других стройках в аналогичных ситуациях были аварии. Проектировщик прав — у него все рассчитано точно. Монтажники тоже правы — конструкцию состыковали верно. Причина в том, что сварочные швы, накладываемые близко один от другого, каким-то образом уменьшали прочность детали в той части, которая удалена от швов.

Ясно: монтажникам надо быть и металловедами.

Пятнадцать лет назад — было это в Дивногорске — тех, кто первыми пришел строить Красноярскую ГЭС, назвали потомками Ермака. Наверно, оттого, что добирались первые строители до места небольшими отрядами, кто по воде, кто таежными тропами, днями и ночами. Кличка прижилась. Теперь на моей книжной полке лежат четыре томика, на каждом написано: «Потомки Ермака». Это биографии «потомков». Точнее, автобиографии, потому что писали эти книжки сами строители.

Во всю обложку первого тома стоит Ермак в ратных доспехах, железный шлем заострен, с толстым налобником, взгляд напряжен и суров, устремлен вдаль, за неведомые леса, горы. А по ту сторону гор башенные краны, автомашины, рабочие в синих комбинезонах... Между Ермаком и рабочими белые штрихи, символизирующие время — четыре столетия.

На внутренней стороне обложки мелким шрифтом телеграммы. От тех, кто желал приобщиться к великому.

«Согласны жить под открытым небом. Не думайте, что мы просто мечтатели. На практике постараемся доказать, на что способны, если примете. По поручению класса И. Керн, Сталинградская область...»

«Через два месяца демобилизуюсь из рядов Военно-Морского Флота. По специальности — моторист, могу работать слесарем, немного знаю электросварку, если будет надо, готов учиться любому другому делу. Антон Синявский».

И дальше эпиграфом: «Человек особенно хорош, когда он понимает, что, кроме него самого, никаких чудес на земле нет и что все хорошее на ней создается его волею, его воображением, его разумом... Максим Горький».

В книге рассказано о том, как начиналась стройка, — от первой вешки до первого кубометра бетона, уложенного в плотину. 10 августа 1961 года «Правда» писала: «Волнующее событие произошло сегодня на Енисее, у Дивногорска. Оно, может быть, и не идет в сравнение с выдающимися полетами в космос, но оно из общей цепи событий, которые возвеличивают нашу страну, приближают нас к коммунизму. Это замечательная победа творческого труда строителей самой крупной в мире Красноярской ГЭС. Два года назад в Енисей был сброшен первый камень с символической надписью: «Покорись, Енисей!» А теперь в отвоеванном у могучей реки котловане гидроузла началось новое сражение, к которому коллектив гидростроителей готовился два года...»

Вторая и третья книги «Потомков Ермака» вышли в 1964 и 1968 годах. В них рассказывается о том, как жили строители накануне перекрытия Енисея, во время перекрытия и после. Как завозили северной морской дорогой колеса турбин и как строился уже не палаточный, не барачный, а каменный девятиэтажный Дивногорск.

Четвертый том «Потомков Ермака» охватывает события с 1967 по 1971 год.

Потомки Ермака...

Разъехались они по разным стройкам. Побывал я недавно в верховьях Енисея, где в узком Карловом створе ставится Саяно-Шушенская ГЭС. Встретил там Бориса Фадина, с которым мы когда-то в Дивногорске пробивали ломиками и пешнями лед, майну делали для отсыпки перемычек. Тогда я заметил, что лед в пасмурную погоду темно-голубой, в солнечную — светло-голубой, цвета оконного стекла, и такой же прозрачный, а в пургу грязно-синий.

Потом мы с Борисом плотничали: склады ладили под взрывчатку в правобережном тесном распадке. И много думали о ритме работы. Тогда к нам на участок стройматериалы подвозили с опозданием, мы нередко сидели без дела. Я даже записал в блокноте:

«Компания «Зингер» строила завод в Подмосковье в начале нашего века. Заключался контракт на поставку, скажем, песка или леса, указывалась стоимость работ, и тут же оговорка: в случае задержки с поставкой на полдня поставщик выплачивает неустойку, превышающую сумму, какую он до этого заработал за все время найма. Вот! И мы думали, думали и так ничего не решили, с кого могли бы сейчас взять неустойку, если бригада вынуждена ждать день, два, три какую-то железную балку. С прораба! Так при чем он! С начальника стройки! С завода-изготовителя! Но он не сделал к сроку потому, что ему литье не подали вовремя... И так ниточка тянется... Куда! В литейку, в рудник! Куда-то туда и еще дальше. В бумаги!.. А ведь, наверно, можно сыскать, черт возьми!

Скажут: тогда, в начале века, еще не была усложнена структура строительства и снабжения, и потому проще было находить концы. Ну уж нет, вряд ли менее усложнено и проще все было, когда на небольшом участке земли работали десятки тысяч телег, лошадей, людей, когда ту работу, какую теперь один кран башенный делает, надо было сотне мужиков делать...

Не проще была и структура управления: генеральный подрядчик,

у генерального подрядчика еще подрядчик, у того — еще подрядчик...

На строительстве железной дороги Тайшет — Братск, помню, нам две недели не подвозили шпалы. Мы отсыпали насыпь, подготовили для укладки рельсы, а шпал нет. Стучали в дверь своего ближнего начальника, тот — дальше, а тот — еще дальше».

То было... Ох, уж давно было! И семилетка прошла, и еще годы канули. А что изменилось в порядках на стройках?

Борис Фадин теперь работает на Саяно-Шушенской ГЭС главным инженером управления основных сооружений, сам создает порядки. Талантливый специалист, он находит способы, чтобы ритм рабочий в коллективе не терялся.

Отвлекусь и скажу, что на Саяно-Шушенской, где я недавно побывал, я встретил и Олеся Грека, который приехал когда-то в Дивногорск по направлению на газетную работу, а устроился прорабом.

Пока мы разговаривали с Олесем Греком в его маленьком кабинетике на нижнем этаже двухэтажного брусчатого дома, пришел парень из комитета комсомола, попросил отредактировать текст обращения к молодежи по случаю начала бетонных работ, пришла учительница из средней школы, попросила его выступить перед старшеклассниками о десятилетии независимости какого-то африканского государства, заглянул милиционер посоветоваться насчет подростков, и еще звонили из Абакана — нужна корреспонденция для областной газеты о работе автотранспорта на перевозке сыпучих грузов.

Рабочий день у Олеся кончился в семь, он сразу побежал в школу к старшеклассникам, потом обращение правил — на стройке его считают лучшим стилистом. А перед утром разбудил длинный телефонный звонок: в карьере экскаватор сломался, поступление гравия на бетонный завод прекратилось. Это уж основная его работа, одевайся и беги по темным улочкам поселка, лови попутную машину...

Я отвлекся от Усть-Илимской, от Ангары. Но Ангара впадает в Енисей, вместе они составляют одну водную систему, и по сибирским понятиям до Карлова створа от Ангары рукой подать. И еще: сибиряки мечтают, чтобы в будущем на всем сибирском тысячеверстном пространстве был единый рычаг, чтоб от того рычага действовали одновременно завод где-нибудь в Забайкалье и газовая скважина на Таймыре...

Повстречал я на Саяно-Шушенской и еще одного бывшего дивногорца — Юрия Юрова. Окончил он в Одессе политехнический институт, при распределении попросился в Сибирь. Сперва мастером работал по ремонту строительной техники. Потом избрали его секретарем Дивногорского горкома комсомола. Затем снова мастером работал, но уже не на ремзаводе, а на монтаже гидроэнергоагрегатов.

На Саяно-Шушенской Юрову поручили руководить прорабством, а прорабству — монтировать бетонный завод. С Юровым я разговаривал в момент, очень для него важный. На конторе, на столбах, на стальных фермах висели листки «молнии»:

«Управлением и партийным комитетом стройки рассмотрено сообщение штаба по пуску первоочередного бетонного завода. Принято решение: произвести комплексное опробование узлов и оборудования завода по пусковой схеме, затем, через четыре дня,

управление основных сооружений должно подготовить блок для укладки первого бетона в водосливную часть плотины... Каждая минута, каждый час должны стать боевыми, ударными! Как никогда раньше, коллективам строителей, монтажников, наладчиков, проектировщиков работать в особо тесном и четком взаимодействии!..»

Конечно, уверенность в том, что при опробовании будет все ладно, у Юрова была, но волновался он сильно. Подходили монтажники, здоровались кивком головы и лезли на этажи, чтобы еще раз проверить готовность завода. Вчера были состыкованы последние узлы.

После того как пошел бетон и в адрес монтажного прорабства были сказаны хорошие слова, я опять встретился с Юрием Юровым. Он за эти дни осунулся, в прищуренных глазах не играла обычная хитринка.

— Волнуешься? — спросил я. — Переживаешь?

— А как же?

— Но ведь бетон-то вон идет, хорошо идет!

— Ты сам отец, знаешь, когда ребенок начинает ходить, сердце отца спокойнее не становится. А это разве не мой ребенок? — Юров развернулся так, что река у него осталась за спиной, а слева на фоне буро-зеленой горы поднималось огромное серое строение, загораживающее часть горных скал, из-под строения бежали самосвалы с дымящимся бетоном. Глядел я на этот завод и думал: «Из бетона сложат плотину, плотина задержит воду, падающая вода закрутит турбинные колеса, движение передастся в генераторы и... пойдет электричество на предприятия, в колхозы, совхозы, на новые стройки. А куда оно, что из него?..»

Вспомнил, как в Хакасском обкоме партии заведующий строительным отделом Петунин Анатолий Сергеевич говорил мне:

— Дешевая энергия Саяно-Шушенской ГЭС даст возможность в южных районах Хакасии и правобережной Минусинской котловине организовать энергоемкие производства, полнее освоить запасы минерального сырья, получить алюминий... Часть энергии будет передаваться в Кузбасс и Тувинскую автономную республику. С расчетом на дешевое электричество сооружаем на окраине Абакана вагоностроительный комбинат. Что это за комбинат? Каковы его масштабы? А вот... Сейчас все существующие заводы страны дают 56 тысяч вагонов в год, а наш Абаканский один будет выпускать почти столько же вагонов. Строится камнеобрабатывающий комплекс, который мрамора разных расцветок будет выдавать вдвое больше, чем предприятия этой отрасли во всей стране.

В тот же день, помню, отправился я на камнеобрабатывающий комбинат, или «на мрамор», как записано у меня в блокноте. Ехал я сто с лишним километров на автобусе до старинного села Означенного. Все степью, степью. Ветры выдули снега, и вокруг черно. Летом здесь коршуны охотятся за сусликами, ходят дрофы, висят в небе жаворонки, а сейчас не на чем остановить глаз. Между увалами, прячась от ветра, то там, то там мелькнет деревенька с черными избами. Рассказывают, — было это в семнадцатом веке, основали переселенцы из какой-то западной губернии одну такую деревеньку, земли приглянулись, и напала на мужиков боязнь: а вдруг да наедут новые переселенцы и потеснят их? Когда через деревню шли ходоки с котомками, горбунками их называли (с палочкой, с котомкой, ссутуленный), встречали их мужики, угощали,

расспрашивали, из каких мест. Горбунок радовался гостеприимству, говорил, что теперь он, вернувшись домой, расскажет, какие тут добрые люди и какая земля плодородная, вольная. Мужики провожали его на край деревни, а потом, под вечер, посылали двоих-троих на лошадях, чтобы догнали горбунка и... чтобы никто не узнал, куда он пропал...

Село Означенное примостилось у подножия Саян, одним краем вышло к Енисею. Горы в этом месте перебрели реку и так под углом градусов в шестьдесят ровной колонной шли в глубину степи, и, сколько ни вглядывайся, все равно не увидишь края — сливается с небом горная полоска.

Кибик-Кардонское месторождение мрамора известно людям очень давно, об этом говорят ямы-печи, в них крестьяне в прошлом и позапрошлом веках обжигали мрамор на известь.

Геологи получили золотые, серебряные и бронзовые медали ВДНХ, конечно, не за открытие, а за глубокую, детальную разведку месторождения. Подсчитали, что запасы мрамора неисчерпаемы. Цвет? Самый разнообразный, на одном квадратном сантиметре один переходит в другой, другой — в третий, третий — в четвертый. Ориентировочно подсчитали: 18 цветов. От чисто белого до темно-серого, почти черного. Мрамор очень плотный. В этом и его плюсы, в этом и трудности его разработки.

Прежде чем начать брать мраморный монолит, надо снять верхний выветренный пласт. Чем и как снимать? Понятно: способом, давно испытанным — пилением. Но тогда работы растянутся на многие годы, и заявки строителей на мрамор еще долго останутся неудовлетворенными.

С величайшей осторожностью, с оглядками, оговорками принимается решение... взрывать. Но как взрывать? Этим занималась группа рабочего проектирования института «Гидроспецпроект», находящаяся при Саяно-Шушенской ГЭС. Выбрали участок, пробили шурфы, точнейшими, необычайно чуткими приборами определили состояние монолита. Затем взяли несколько зарядов, разместили один над другим на рейке. Рейку — в шурф на полглубины вскрышного слоя, и так, чтобы заряды не касались стенки. После взрыва опять проверили состояние монолита. Без изменения. Взрыв повторили, только теперь рейку опустили глубже. Снова приборы показали, что на монолите трещин нет. Еще взрыв, на этот раз рейка не дошла до монолита лишь на метр. Приборы сигнализировали: трещины! Значит, взрывные заряды можно размещать только на расстоянии двух метров от основного мрамора. Но геологи не согласились; а вдруг да и при этом пойдут трещины? Опять пошли эксперименты, исследования.

Декоративный мрамор — богатство государства. Мощность пласта — полкилометра, а эти полкилометра должны быть порезаны на плиточки при наименьших отходах. Колоссальная работа.

— Пуск камнеобрабатывающего комбината намечен на четвертый квартал 1973 года, — рассказал мне директор Николай Петрович Чванов. — Получили вот итальянские канатные пилы. Конструкция их стара, но пока никто в мире не может предложить лучшего. Итальянцы этими пилами пользуются двести лет. А у нас в стране ими пока почти никто не пользовался. Как пойдут, посмотрим. Десять метров высота, двадцать метров длина, три метра ширина — такие бруски будет резать пила. Италия добывает и обрабатывает в год двадцать миллионов квадратных метров мрамо-

ра. В ФРГ — тоже миллионы. У нас же — семьсот тысяч. И себестоимость высокая, тогда как в той же Италии себестоимость мрамора ниже обычной древесины. Нам предстоит нагонять... Хорошо бы второй мраморообрабатывающий завод рядом поставить и вести добычу мрамора не только на левом берегу, но и на правом, где, к слову сказать, основные его залежи.

— А из-за рубежа есть заявки на покупку нашего саянского мрамора? — спросил я.

— Очень много. Нашему мрамору и по прочности, и по декоративности на мировом рынке не будет соперников.

Утром я проснулся рано. Часы на столе показывали начало седьмого, я поднялся и стал собираться.

До восьми ходил по низинной части поселка. Снег, выпавший накануне, скрыл следы наводнения; вокруг деревянных домов, поставленных у подножий холмов, люди успели наторить новые тропы; и если бы не темные, пустые окна покинутых хозяевами домов — людей переселили в многоэтажные дома на возвышенность, — ничто бы не напоминало, что три дня назад грозная Ангара несла тут свою шелестящую шугу.

Николая Васильевича Затовского я застал на работе. С ним поехали на основные сооружения.

Прораб Василий Федосенко, несмотря на мороз, ходил по объекту в ботинках, без перчаток, шапка на одно ухо — форс!

Затовский и Федосенко укрылись для разговора за бетонным стояком, а я полез по стальным фермам.

У Ангары отобрали часть русла, и вода охватывает котлован с трех сторон. Скорость реки двадцать с лишним километров в час. Вот она, силища! Среднемноголетний расход воды в этом створе равен 3200 кубическим метрам в секунду. А максимальный — вчетверо больше. Это колебание, по мнению ученых, и отличает выгодно Ангару от других рек. Сказывается регулирующее влияние Байкала, самого глубокого озера в мире, равного по объему воды Балтийскому морю.

Ангара может дать в год энергии 86 миллиардов киловатт-часов, что ставит ее на третье место в Союзе после Енисея и Лены.

На реке действуют уже Братская и Иркутская гидроэлектростанции. Но это в верхнем течении. Схема энергетического использования среднего течения Ангары составлена двадцать лет назад. В ней обоснован двухступенчатый вариант. Первая ступень — Усть-Илимская ГЭС, вторая ступень — Богучанская ГЭС.

По Усть-Илимской из пяти рассмотренных вариантов четыре створа — Крест, Толстый Мыс, Тонкий Мыс, Невон — лежат ниже устья реки Илим и один створ — Каменный — выше. Принимались меры, чтобы исключить затопление долины Илима с ее древними пахотными землями, разработанными первыми переселенцами еще в семнадцатом веке. Наиболее желательно с этой целью было застолбиться на створе Каменном, но русло в этом месте не годилось для возведения плотины. Приезжала комиссия из министерства. Решили: быть гидроузлу у Толстого Мыса, где русло из крепких пород. Иркутский облисполком одобрил это решение: хоть и жалко пускать земли под воду, а ничего другого не придумаешь.

Проектная мощность Усть-Илимской — 4320 тысяч киловатт, это меньше Красноярской. Но режим ее работы будет таким, что вы-

давать в год электроэнергии она станет больше Красноярской. Красноярская — 20 миллиардов 400 миллионов киловатт-часов, Усть-Илимская — 21 миллиард 900 миллионов. Вся она пойдет в энергообъединение Центральной Сибири, охватывающее территорию от Байкала до Барнаула. На этой обширнейшей территории сегодня действуют шесть энергосистем: Иркутская, Красноярская, Кузбасская, Новосибирская, Томская, Алтайская. Общую их мощность планируют поднять к 1975 году до двадцати восьми миллионов киловатт.

На земле Красноярской по берегам енисейским появятся новые заводы, города, села, скотофермы, курорты на особо целебных высокогорных Саянских озерах.

Появятся... Их построят настоящие люди, умеющие работать на морозе, на ветру... Такие, к примеру, как вон тот плотный коренастый рабочий, который, согнувшись, делает распорку конструкций. Рабочий одну ногу подвернул под себя, другую выставил вперед, навалившись на колено, как на упор, и свободной рукой время от времени, не поднимая головы, делает знаки сварщику, занятому у соседней фермы. Когда рабочий смахнул с лица иней, сильно мешавший ему, смахнул, будто умылся, — я узнал в нем Калинкина Илью, бригадира монтажников, а в сварщике — Мирохина Александра. Время будто не трогает их. А сколько уже лет прошумело — были и пятилетки, и семилетка — с той поры, как Илья Калинкин из Тулы, а Александр Мирохин из деревеньки на берегу Свири Ленинградской области пошли с решимостью, еще необычной и удивительной для того времени, добывать «из воды» электрическую энергию!

Глаза у Мирохина веселые, бесшабашные, вид ухарский. У Калинкина же в фигуре все стянуто и обтекаемо, как в новом футбольном мяче, а в глазах хитринка, скрытый юморок, цепкость. Про Калинкина у себя в блокноте пять лет назад — еще на Красноярской, — я записал:

«Тульский он, а в Туле прежде были только ружейники да самоварники. Его-то предки, говорят, шли по самоварной части, и потому-то зовут его у нас самоварником. Будто он еще не имел паспорта, когда стриганул из города, на ближней речной энергостройке объявился. Там Бочкин спросил его:

— Изменил, значит, делу предков! Порвал с самоварным производством!

— Зачем! Самовары-то в наш век больше электрические. Вот я и стану вместе с вами добывать электричество для своих тульских самоваров, — ответил Калинкин шустро.

— Ло-овок! От самоваров к электростанциям. И наоборот: от электростанций к самоварам! Махну-ул! — восхитился Бочкин. — И-ишь ты!

С той поры, куда бы Бочкин ни уехал, Калинкин непременно его находит. Только Бочкин все больше едет перваком, потому как дело его такое — с нуля начинать, а Калинкин приезжает уж после — монтажничать. И все разговаривают между собой, как встретятся, былое вспоминают, на будущее планы набрасывают...»

И про Мирохина в том же блокноте:

«Строительство ГЭС на Свири, возглавляемое академиком Графтио, закружило всю деревню, и семью Мирохиных в первую очередь. Отец, Константин Дмитриевич, пошел к академику просить,

чтобы назначил на слесарные курсы. Сюда же приковылял со своим ревматизмом дед, бывший плотогон. Сашка, мальчонка еще, стал носить строителям обеды, а подросши малость, пошел в помощники к отцу — слесарить по турбинам. Ну сперва, конечно, не слесарить, а так это — кому что подать: молоток, зубило, где ключом болт подвернуть... В войну эвакуировался на Урал, потом строил Камскую ГЭС, Челябинскую ТЭЦ, Нарвскую ГЭС... По количеству энергоагрегатов, в монтаже которых Александр Мирохин участвовал в разных местах страны, с ним могут соперничать разве только Николай Михайлович Волков да Илья Матвеевич Калинкин. Несколько лет назад перебрался Мирохин с семьей в Восточную Сибирь и ахнул, как и многие с ним приехавшие, увидев здешние таежные нетронутые просторы и незамутненные могучие реки...

Мирохину давно бы зваться по отчеству, то есть Константиновичем, а его все кличут Сашей; из сердечного уважения это, должно, и за его нестареющую лихость».

С тех пор как записывалось это в блокнот, пробежали годы. Знаменитый Бочкин отошел от строек, по состоянию здоровья отошел, живет где-то в Москве, и теперь Калинкин разговаривает с ним по телефону. У Мирохина сын Юрий отслужил в армии, работает на одном участке с отцом, дочь в Дивногорске, замуж там за рабочего парня вышла, 7 ноября Мирохин к ней на свадьбу летал на вертолете.

Изменения в жизни произошли всякие. А вот гляжу: все такие же они, Калинкин и Мирохин, юношеское бьет что-то из них, щеки будто даже глаже стали.

Смотрел я, как они работают, и думал о том, о чем говорил в Братске Валентин Комков: о празднике в работе и вообще о праздниках.

«В праздники люди не стареют, не болеют. После праздников болеют. А в праздники молодеют. Если в работе ты видишь повинность — это горе. Если же работа так, как Гене Кузнецову, — от дела, порученного тебе, как от любви, свет в душу, — тогда удивительно долгой душевной молодостью наградила тебя жизнь».

Я приложил это к Калинкину, к Мирохину. Все верно, все подходит. Потом приложил к Затовскому, к самому Комкову. Тоже подходит. Потом, с кем бы ни разговаривал, на кого бы ни глядел, лазая по гигантскому котловану, вместившему в себя сотни людей, механизмов, обогревательных будок, тысячи тонн конструкций, невольно прикидывал: а в тебе, друг, праздник от работы или тоска зеленая?

— Зайди в звено Володи Жильцова. Старательные ребята у него, — сказал Калинкин и тут же ухватил за руку высокого стройного парня в легком пиджачке и сдвинутой на макушку шапке, пробегавшего мимо. — Вот как раз он сам. — И уже не мне, а парню: — Покажи человеку, что делаете.

Я понял: Калинкин спровадил меня, чтобы на глазах не крутился. Ох, как меняется он в лице, когда видит, если кто без дела крутится. И неважно, член его бригады или вовсе посторонний. Раз даже на какую-то комиссию, плотной кучечкой стоявшую с портфеликами, нашумел: «Коптить бы в другое место шли! Чего раздражать рабочих!»

Володя Жильцов прыгал, прыгал — это он от холода — и провалился вдруг. Разом как-то исчез среди балок. Я оторопело оста-

новился у темного, с желтеющим в глубине пятном света провала. Нет, Володя не провалился. Он быстро сбежал вниз по отвесной лестнице.

— Вот... здесь мы, — сказал Володя, встретив меня у нижней ступеньки. — Берегись, берегись!

Сверху просовывались длинные, гибкие стальные прутья. Букетами вспыхивала электросварка. Букеты ярко расцветали и мгновенно вяли. Расцветали и вяли они не сразу все, а по очереди, то в одном углу, то в другом, поэтому свет и тени по скальным стенам перебегали тревожно, скрещиваясь по пути. Люди подхватывали стальные прутья. Вязали арматуру. Звон, треск, шипение расплавляемого металла.

Звеньевой Володя Жильцов что-то говорит мне. Я не сразу это улавливаю, глядя на его шевелящиеся губы. Подставляю ухо. Точно, он рассказывает:

— Пятерка! Ниже и не может быть ему оценки ни за качество, ни за скорость. Работает — все равно что масло сливочное режет. Бензорезчик что надо. Даже сам Мирохин о нем говорит и языком прицокивает...

— О ком?

— Да все о нем же, о Шушурихине Лёне. В Дивногорске, помнишь, Борю Балахнина? Так вот, у Шушурихина почерк балахнинский. Я из Дивногорска недавно, двенадцатый агрегат мы там пускали. Вот и Вася Разумов был там же. Старательные ребята и Мурман Керикашвили, Коля Наврузов...

У Жильцова интеллигентное лицо. Он совсем молод. Корреспонденты ему еще не портили настроение, как, например, знаменитому Калинкину.

Кстати, о взаимоотношениях Калинкина с корреспондентами. В Дивногорске, помню, мы ставили турбинный подшипник на втором агрегате. В шахтном проходе появились мужчины в теплых беретах с фотоаппаратами. Спросили про бригадира. Я оглянулся, чтобы указать на Калинкина, — он только что стучал кувалдой у меня за спиной, подтягивая радиальные болты на сегменте. Но его не было. Заглянул за подшипник, туда, сюда — нет. Потом, гляжу, сидит за турбинным валом и показывает мне очень выразительно кулак. Корреспонденты потоптались, ушли в другую бригаду. Калинкин вылез, принялся опять за радиальные болты.

— С опережением графика идем, чего бояться? Ругать не за что. Хвалить, как всегда, будут, — сказал я.

— То-то и оно, что хвалить. А похвалят так, что хоть на божничку... И самому стыдно, и соседи неделю после того не здороваются, — пробурчал Калинкин.

Теперь я вот пишу очерк и думаю: я ведь тоже хвалю и как бы соседи не перестали здороваться с хвалеными мною.

От плотины я возвращался уже затемно.

По дороге присоединился к компании ребят, вышедших из подъезда девичьего общежития; не то чтобы присоединился, а так, шел следом. Один рассказывал, что у них в бригаде есть бетонщица, которая с Борисом Гайнулиным в Братске работала. У нее книга про Гайнулина «Земные братья» и что ту книгу они читают все в бригаде по очереди. Еще говорили ребята, что Лену Квасову обязательно изберут в комсорги, и тогда на плотине будет больше порядка.

Но о том, как вспучивалась Ангара, как окатывала волнами ули-

цы, как люди среди ночи лезли на крыши — никто не вспомнил. Это, должно быть, свойство великих наших строек: больше жить сегодняшним и завтрашним днем, а меньше оборачиваться назад.

Рабочие, жгущие костер на берегу, рассказали мне:

— А что вспоминать? Ну, поднялась вода. Подошли машины. Всех, кому угрожало затопление, вывезли сразу же. Кого по земле не успели, того вертолетами. Народ у нас бывалый, привычный к рекам. Ну конечно, при управлении стройки, при парткоме, при комитете комсомола штаб специальный был создан, откуда команды шли, где как действовать. Дисциплина!

Гудели самосвалы, сотрясая землю. Проявлялся на фоне неба большой бетонный завод, к нему стекались машины с гравием, от него разбегались с бетоном, с тем самым, из которого лепится смирительная опояска реке.

Почти у самой гостиницы встретил прораба Василия Федосенко.

— Куда это ты? — ухватил он меня за рукав. — В гостиницу? Да ну ее. Пойдем-ка лучше ко мне. У меня и переночуешь.

Василий, сутулясь, зашагал вперед. Я пошел за ним. Под ноги ползли тени от домов и сугробов. Окна, обращенные к луне, вспыхивали багрово, а стены серебрились, казалось, что в домах еще не спят, и вообще поселок весь не спит, но через несколько шагов окна вдруг становились серыми, а стены почти черными.

...От незамазанного, незашпаклеванного окна, у которого я спал на диване, сквозило. Василий бормотал что-то во сне. Я встал, оделся. На цыпочках прошел к двери. До бетонного завода недалеко. Оттуда в кабине семитонного самосвала поехал на плотину.

Мороз минус 39,5. В бетоновозе нет электропечи — это только в новых машинах есть, и водитель сообразил: щель в кожухе прорезал — тепло идет. Говорит, что так все делают, чтобы смотровое стекло льдом не покрывалось.

Водитель гнал машину, на поворотах налегал грудью на руль, не сбавляя скорости.

— Как тридцать рейсов дашь за смену, так пятьдесят рублей премии, — объяснил он. — Вчера двадцать девять... Простоял лишнее время под разгрузкой. Обидно. Сегодня, если все в порядке будет, пожалуй, успею сделать тридцать рейсов.

— Тревожно было, когда Ангара вздыбилась? — спросил я.

Шофер улыбнулся и тут же посуровел:

— Мне-то ничего. А вот моему дружку Алексею Вязьмину досталось. Или вон слесарю Срытникову Петру Васильевичу.

Дорога все берегом, а реки не видно — плотный туман. Вынырнула эстакада, обложенная прожекторами, как кедр шишками. Небо стало черным, и луна на этой черноте походила на отверстие в пылающую печь.

К факту разгула Ангары во второй половине декабря строители отнеслись, как к явлению рядовому, потому что и на Енисее было не раз, когда вода, буйствуя, выходила из берегов, и на Абакане, и на Вилюе, и на Иртыше. И может, по причине того, что факт рядовой, о нем вообще забудут; на фоне крупных дел происшествие будет видеться как небольшая помеха, а помехи прошлые никто в голове долго не держит, тем более строители, народ очень занятой. Однако я расскажу, как все было...

С осени над средним течением Ангары следом за дождем прошли большие снегопады, по берегам деревья отяжелели, опусти-

лись ветви до земли шатрами. Вышло так, что на прогалинах снег лосю по брюхо, а под деревьями бурая трава и осыпавшаяся хвоя остались неприкрытыми, радуя соболей, прибегающих сюда мышковать.

Ветры разгулялись перед ноябрем, сглаживая сугробы, срывая настывший снег с веток, наметая его под стволы, укрывая норки полевок. В метельную крутоверть много снегу слетело под берег, отчего шуговавшая Ангара, вспучившись, взялась шубой.

За ветрами крутые морозы сползли с гор. Тайга сразу притихла, оделась в куржак. До полудня удерживались плотные туманы, отчего глухари, рябчики летели кормиться в кедровник, растущий по возвышенкам.

Слесарь гаража Срытников Петр Васильевич ждал ледостава с нетерпением, как всякий рыбак. Утром до работы он, кряжисто сутулясь, выходил на ледяной припай, что справа от скальной косы, приглядывался к густому, костяно хрустящему месиву, голубовато-серому, проносящемуся широким валом мимо, топал ногой по припаю, определяя, какой звук идет изо льда. Звук шел в два тона: звонкий и глухой. Значит, вот-вот река станет. Об этом говорили и звериные тропы, ведущие из тайги к берегу: звери готовились к переходу на ту сторону.

Но проходили недели, ночами мороз опускался до сорока, а река все шуговала; образовавшийся поверх шуги тонкий ледок никак не мог зацепиться за околобережный припай. Вроде уж совсем брался он крепко в излучинах, все текучее сразу притормаживалось, взгорбливалось, потом опять разрежалось.

Выбили иные рыбаки в припае лунки да и подергивали всякую мелочишку. Срытников же снисходительно посмеивался над уловом своих товарищей, выжидал, когда можно будет выйти к самой середине реки и выхватывать там из стрежи крохотным крючочком хариусов — рыбьих королей, этаких черных, упруго вертлявых.

Угомонилась река ночью со вторника на среду. Люди, подходя к берегу, обратили в первую очередь внимание на необычную тишину, разлитую в пахнущем тайгой воздухе — ни скрежета, ни хлюпанья, — потом уж заметили неподвижно-ощетиненное торосами белое пространство: да ведь угомонилась!

Сказал Срытников сыну Сереге, двенадцатилетнему краснощекому крепышу:

— Ну, с недельку еще выждем, и тогда можно будет... Лед поокрепнет.

Признаться, ради Сереги-то и тянулся слесарь на рыбалку. В Усть-Илимск Срытников приехал два года назад, без семьи — семья не хотела оставлять квартиру в Орле, где и балкон на солнечную сторону и универмаг рядом. Писал Петр Васильевич о хвойном воздухе, о грибах, которых полно по косогорам с конца июля и до заморозков, и о малиновых зарослях в логах, и о бруснике, от нее лесные поляны пунцовы, и о квартире, обещанной месткомом, — не ехала жена. Потом сыну о хариусах стал писать, как их подсекать на быстрине да в какое время суток лучше ходить на реку и что это за рыба — хариус-то. Серега загорелся, сказал матери, что один уедет на Ангару, она же пусть сидит и караулит свою квартиру. Приехала семья вот перед осенью; успели сходить за брусникой, за груздями.

Накануне того дня, когда рыбаки, навострив пешни, уже собирались выйти в намеченные места, подул юго-западный ветер, то-

росы на реке, прежде белые, посерели, потом приняли подозрительный синевато-грязный оттенок.

А на другие сутки лед взломался, и скорое течение понесло его. Шугование реки возобновилось. Среди декабря-то?!

Направляясь вечером на один из гравийных карьеров, чтобы провести профилактический осмотр работающих там экскаваторов, Петр Васильевич Срытников захватил с собой сына. Карьеры находятся на Таловых островах, соединенных с берегом дорогой. Там работала смена мастера Марии Юдаковой.

Пробыл среди механизаторов карьера Срытников часа два, поговорил с экскаваторщиками, отшутился на вопрос парней, зачем сына с собой водит: «Да вот, чтобы опыт у вас перенять». А на обратном пути стал объяснять Сереже:

— Гравий при строительстве всех гидростанций — это, считай, главный материал. Тут как бы начало конвейера. Отсюда машины везут гравий на сортировочный завод, оттуда — на бетонный, а с бетонного уж в плотину. До конца года люди обязались нарастить плотину на полмиллиона кубометров. Если, значит, тут что застопорится, то встанет дело и на всей стройке.

Сказал это Срытников и обернулся. Туманом подернулись острова. Прожектора еле пробивались сквозь туман и темноту.

Ангара по-прежнему хрустела, шелестела шугой. По-прежнему? Нет, шум реки будто усилился. И вон шуга проносится не так стремительно, почему-то кружится.

Да ведь вода прибывает! Где-то затор получился.

— Беги, сынок, в поселок, скажи там, что беда на реке, с попутной машиной доедешь, а я побегу назад, в карьер, может, успею... предупрежу там людей...

На островах уже поняли, что творится с рекой.

— Поднимать надо технику на возвышенность, — подсказал один из экскаваторщиков.

— Да, да, надо спасать все машины. В гору! — распорядилась мастер Мария Юдакова.

Не приспособленные к крутым подъемам медленно двигались тяжелые экскаваторы по откосу; в тумане, все сгущающемся, свет прожекторов с трудом пробивал мрак, потому откос проглядывался впереди всего на два-три метра от гусениц.

С боков же и сзади, откуда наползала река, вообще ничего не было видно. А то, что река наползала, что она уж рядом, угадывалось по седым завихрениям в воздухе, по плюханью камней, скатывающихся из-под гусениц.

Николай Аникин вел экскаватор по осыпающемуся гребню и не знал, что с машинами, которые где-то слева, где Иван Морозов, Алексей Тютюнников; не знал и что с машинами, которые справа, где Финоген Бережных, Анатолий Лаужин, Леонид Киселев. Так же и никто из них через туман и мрак не мог разглядеть, как там, в каком положении сам он, Аникин Николай.

Нужно ли кому в чем помочь? Крикнуть, спросить! Голос тонет в вязком речном шуме, как в вате.

Алексея Вязьмина беда застала в пути. До дамбы оставалось не больше двухсот метров, когда через дорогу хлестнула вода, изрыхлила колею, но сильная машина с ходу проскочила промоину.

Вот она и дамба. Но вдруг Алексея кинуло вперед, БелАЗ затрясся всеми своими мускулами в надсаде. Еще промоина.

— Ничего, ничего... — успокаивал не то себя, не то машину шофер. — Мы вот сейчас сюда, потом этак... — Дал задний ход. И вперед. Ага, подвинулась! Еще назад. И вперед.

Открыл Алексей дверцу кабины. Колеса наполовину в воде. Парню бы выпрыгнуть из машины да вброд. Добежал бы. Дамба спасительно светится ожерельем огней. А он: «Ничего, ничего, мы вот еще этак, помаленьку...»

Сбоку трещал, вздымаясь, прибрежный лед — этакий бугор. Бугор нарастал, запрокидывался. Вода вошла в кабину. Алексей влез на козырек. Широкая белесая льдина, ныряя то одним боком, то другим в темную воду, проплыла впереди, скрежетнув краем по радиатору. Другая льдина задела кузов...

В это время Сережа, добравшийся до поселка, остановил идущих навстречу рабочих:

— Дяденьки, в Ангаре вода!..

— Вот удивил-то! — хохотнул один из весельчаков. — В Ангаре и вдруг вода.

— Да, вода... — Мальчик от обиды закашлялся. — На берег выходит! Острова топит!

Кто-то кинулся по тропке вниз, к берегу — это рядом, за автобазой — глядеть, так ли; а кто-то из телефонной будки позвонил в управление строительства дежурному диспетчеру.

Оказалось, в управлении уже все знают: гидрологи доложили — они последние дни ни на минуту не спускали глаз с Ангары, ожидая, что она вот-вот что-нибудь да преподнесет. Уже вызваны вертолеты. По тревоге поднята милиция всего района. Посланы отряды комсомольцев известить о беде нижнюю часть поселка, туда же следом пошли автомашины для эвакуации населения. Для переселяемых готовились комнаты в административных зданиях, в новых, накануне подготовленных к сдаче многоэтажных домах.

На рассвете вертолет навис над островком, а точнее, над вершинкой холма, где сдвинутые почти вплотную друг к другу стояли экскаваторы и тракторы.

Но люди, сбившись кучкой у самой воды, почему-то не спешили к скинутой лестнице, раскачиваемой ветром. Они указывали руками куда-то в сторону, где продолжал клубиться низом туман.

— В чем дело? Давайте быстрее! Некогда мне! — торопил пилот.

— Нас после... Летите... сперва вон его, Алешу Вязьмина... — объяснила Мария Юдакова.

Алексей Вязьмин провел ночь на барже, которую из какой-то бухточки сорвало, пригнало, посадило на мель рядом с БелАЗом. А недалеко от него на подмытой и сваленной телеграфной опоре пилот заметил еще человека — это был Срытников. Не поспел он вечером до карьера-то добежать.

Вертолеты обшаривали каждый квадрат. За утро они спасли более трехсот человек.

Ангара сама себя запрудила, сама же и прорвала ту запруду. На второй день вода начала спадать.

Плотина дымилась. Кран поднял бадью с бетоном, пронес, описав широкий полукруг, опустил в блок. Есть очередная порция! А сколько таких порций надо! Плотина-то будет длиной полтора километра и высотой сто пять метров!

■



Л. ЕМЕЛЬЯНОВ

ЕДИНСТВО НРАВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ

Существует изречение: писатель — это биография. Конечно, это лишь нечто вроде литературной поговорки. Но если не вкладывать в этот афоризм педантически-исчерпывающего смысла, биография писателя порой оказывается тем экраном, на который можно спроецировать его творчество.

Сергей Алексеевич Воронин родился 13 июля 1913 года в старинном ярославском городке Любиме. Прожил он там недолго. Но важно здесь другое: Любим, этот захолустный русский городок, раскинувший свои сады на берегах светлой речки Обноры, навсегда остался в сознании Сергея Воронина. Сорок лет спустя он, пожилой уже человек, известный советский писатель, вновь придет сюда, и эта нерасторжимая связь с местами, откуда вышел его род, эта кровная причастность к земле и традициям предков отзовется глубоким и поэтическим переживанием. «На всю жизнь, — напишет он в одном из лучших своих рассказов,— этот маленький городок стал моей родиной... Здесь земля моих дедов и пращуров, мое праотечество. Отсюда я иду. И все равно — где бы я ни родился, хоть на Камчатке, по крови я — ярославец. Исконный русак! И горжусь этим!»

Но это потом, через сорок лет...

А тогда, в 20-е годы, будущему писателю выпало много ездить. Петроград, Предуралье, Сибирь... Отцу его, уполномоченному Петрокоммуны по хлебозаготовкам, часто приходилось бывать в дальних командировках, и маленького Сергея он нередко брал с собой.

Хорошо известно, что это было за время и каково было это дело — хлебозаготовки в деревне, где после гражданской войны пролегла одна из самых горячих линий фронта классовой борьбы. В рассказе «У начала начал» Воронин повествует о многом из того,

что ему довелось увидеть и пережить в те годы. О Косте Дорофееве, молодом коммунисте, зверски убитом кулаками. О бегстве в ночную, озаренную пожаром степь от наступающей кулацкой банды. О трагической смерти Володи Полуяркова. «Хоронили его в ясный морозный день. Красный, словно окрашенный кровью, гроб несли на плечах. Впереди с непокрытой головой шел отец. Ветер забивал ему в волосы снег. На медных трубах играли бог знает какой судьбой занесенные в Полтавку два музыканта. Почерневшие от холода, они согревали руками медные наконечники труб. Непередаваемо-грустные звуки разносились по всей Полтавке, и, казалось, от них еще сильнее мороз и глубже скорбь».

Конечно, десятилетний мальчик, каким был тогда Воронин, способен был понять лишь немногое. Но впечатления, подобные вот этому, врезались в память. Воочию наблюдая борьбу нового со старым, на сотнях примеров убеждаясь, как трудна эта борьба и бескомпромиссна, он получал прочную духовную закалку, проникался тем чувством социальной правды, воспитать которое по-настоящему может лишь Революция — живая и зримая. В будущем это чувство, окрепшее и осознанное, станет нравственной основой его творчества, придаст художественному зрению его особую точность и остроту.

Окончив в 1928 году ФЗУ, Воронин работает некоторое время на Адмиралтейском заводе, а потом поступает в Горный институт. Инженером-геологом он, правда, не стал, ибо институт вскоре пришлось оставить, но в изыскательскую экспедицию все же попал — в 1937 году одна из геологических партий, отправлявшихся на Дальний Восток, взяла его с собой.

В изыскательских экспедициях, почти непрерывных, Воронин провел в общей сложности восемь лет. И все эти годы он писал. Написал несколько рассказов, вошедших впоследствии в сборник «Встречи» (1947), большой роман «Изыскатели».

Рассказы, в общем-то, были рядовые, а роман не получился и вовсе (он так и не был напечатан). Пожалуй, лучшее, что написал Воронин в те годы, это дневник, который он вел во время Амгуньской экспедиции. Не стесненный никакими узколитературными заданиями, молодой писатель здесь просто положился на свой художнический инстинкт и потому оказался способен отразить, зафиксировать многое из того, мимо чего прошел в своих собственно «беллетристических» произведениях той поры. Здесь, в дневнике, была «жизнь как она есть», со всею ее прозой, со всеми теми подробностями быта, которые только и могут выразить ее неповторимый облик. «Писать было о чем, — вспоминает Воронин, — но удивительное дело, то, что мне было известно, казалось мне уже неинтересным, и я продолжал выдумывать, хотя и добросовестно день за днем вел дневник».

Выдумка есть выдумка. И писателя менее самобытного она неизбежно привела бы в тупик. Воронину же она не только не принесла ощутимого вреда, но, напротив, помогла ему, как это ни странно, стать на ноги. Право же, удивляться нужно не тому, что Воронин столь убежденно грешил «сочинительством», а тому прежде всего, что и в самых «выдуманных» из его рассказов выдумка не только не заслоняет правду жизни, но, пожалуй, сама отступает перед ней на второй план. Как это

и бывало в настоящей литературе, придуманные формы отразили непридуманную жизнь.

Лев Толстой говорил когда-то, что «цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство нравственного отношения автора к предмету».

Сергею Воронину «единство нравственного отношения» свойственно было всегда. Только до поры более «надежными», что ли, казались ему другие «единства» — внешние, формальные. Однако пришла настоящая зрелость, и это все чисто внешнее отошло на второй план. Собственно, осознание того, что искусство есть именно отношение художника к действительности, и знаменует наступление настоящей зрелости.

Каждый писатель подходит к этому рубежу (разумеется, если вообще подходит) по-своему. Сергей Воронин подошел к нему сравнительно быстро потому главным образом, что за всем, о чем бы ни писал он, была живая жизнь. Она-то и сказала свое решающее слово. По природе своего дарования С. Воронин — прирожденный лирик. В каждом из его произведений, даже в тех, что кажутся на первый взгляд сугубо «фабульными», главное содержание составляет нравственный вывод, авторский подход к изображаемому. Больше того. Как это ни парадоксально, можно сказать даже, что и всевозможные сюжетные излишества, к которым Воронин имел определенное пристрастие, идут скорее всего от стремления как можно резче, отчетливее выделить именно этот нравственно-эмоциональный вывод. И полуводевильная история Бобика с Чаволой («Звенят ручьи»), и анекдотический случай, приключившийся с хвастунишкой Мелеховым («Холостой выстрел»), не говоря уже о глубоком душевном перевороте, происшедшем в Илье («Таежник»), — в сущности, за всем этим стоит не одна только склонность к сюжетной изысканности, к внешней «интересности», но — и в гораздо большей степени — стремление выявить, обнажить именно нравственную основу, нравственный смысл человеческих поступков.

«Я люблю ходить по дорогам, — признается Воронин в одном из рассказов. — Они всегда разные и всегда одинаковые, не имеющие ни конца, ни начала. Тянутся по бескрайним степям, огибают глубокие овраги, теряются в тенистых лесах, то мощенные камнем, то плотно утрамбованные колесами машин и подковами лошадей, то в выбоинах с водой и грязью. Сливаются одна с другой, расходятся во все стороны, и всегда, неизменно выводят к людям, к их домам, к их жизни».

Эти строки написаны в 1950 году. В жизни Воронина много было дорог и прежде. Однако теперь, в зрелые свои годы, сам он уже совсем не тот путник, который когда-то принужден был чаще всего откладывать свои впечатления «про запас», ждать, пока для него подыщется подходящая литературная форма. Сейчас как раз и наступила та пора, когда «запас» этот ожил.

Произведения Воронина тех лет отличает доверие к живому, непосредственному впечатлению. Отсюда простота и мягкая непринужденность художественной формы. Ощутив это, Воронин вскоре достигает большой широты лирического диапазона —

от тонкого рисунка настроения до открытой и острой публицистичности.

Активность и откровенность — эти черты всегда были свойственны Воронину. Он всегда там, где «жарче», где пульс современности бьется настойчиво и отчетливо. Повесть «Ненужная слава», рассказы «Без земли», «Второй цвет», «Ночные страхи», «Пути-перепутья» — в каждом из этих произведений отразились именно такие события общественной жизни, которые мы привыкли называть «приметами времени». Это были уже 50-е годы.

Они вошли в историю нашей страны как период борьбы за крутой подъем сельского хозяйства, за коренную перестройку методов хозяйствования и руководства в деревне. Подвергнув глубокому и смелому анализу прошлый опыт, партия наметила широкую программу мер, призванных в кратчайшие сроки радикально поднять уровень сельского хозяйства, резко активизировать огромные его потенциальные возможности. С одной стороны, это была борьба, рассчитанная на коренные, основополагающие преимущества социалистического хозяйства, на размах народной инициативы, обусловленной самой природой советской демократии. С другой стороны, это была борьба за дальнейшее упрочение коренных, исконных устоев социалистического мировоззрения, морали, этики.

В разработку этих проблем, поставленных партией на сентябрьском Пленуме 1953 года, Воронин включился одним из первых.

Такие, например, его рассказы, как «Без земли» и «Братья», «Дядя Коля» и «Чудной», весьма характерны; в них особенно проявилось умение писателя схватывать самую суть совершающихся процессов.

Пристально вглядываясь в послевоенную деревенскую жизнь, Воронин видит, что она полна противоречий, подчас трудно объяснимых.

В самом деле, партия и народ предпринимают колоссальные усилия, чтобы поднять сельское хозяйство, и в то же время результаты этой работы сказываются гораздо медленнее, чем хотелось бы и как будто можно было ожидать. Принимается много постановлений, своевременных и правильных, а проводятся в жизнь они не всегда умело и последовательно. Народ выдвигает из своей среды многих и многих великолепных руководителей, таких, как Березин («Братья»), Караваев («Второй цвет»), Меркулов («Пути-перепутья»), горячих энтузиастов, таких, как Силантьев («Без земли»), Кочурин («Чудной»), а рядом с ними буйным чертополохом рвутся к жизни «куркули» вроде Доценки («Пути-перепутья»). Хозяева земли теряют веру в нее. Люди, которым протягивают руку помощи, жестоко и своекорыстно этим злоупотребляют. Внимание и забота неожиданно порождают плебейское чванство и капризное самодурство...

Сейчас, по прошествии стольких лет, когда явления эти не только глубоко проанализированы, но и преодолены, ясно, что они не были ни случайными, ни взаимоизолированными. В каждом из них закономерно проявлялась диалектика сложного и противоречивого процесса, отразившего некоторые характерные особенности нашего развития в послевоенный период. Это, повторяем, ясно сейчас, поскольку процесс исторически завершен. В пятидесятые же годы разобраться во всем этом было далеко

не просто. Но нужно, чтобы преодолеть вредные в нашей жизни явления, одно из которых составило содержание повести С. Воронина «Ненужная слава».

Можно, наверно, не слишком задумываться над тем, насколько характерен или, как говорится, типичен конфликт, отраженный в повести, равно как и образ главной героини — Катюши Лукониной. Дело, в конце концов, не в этом. Гораздо важнее то, в какую связь и с чем ставит писатель этот образ, какой материал «приводит в движение» для его раскрытия. Как раз здесь проявляется истинный масштаб, истинная значимость того, что было достигнуто Ворониным в его повести. Прослеживая шаг за шагом становление характера Катюши, Воронин представил его в пересечении столь важных и сложных линий нашего общественного развития, что объективная значимость повести в силу широты вызванных ассоциаций и глубины подтекста далеко вышла за пределы отраженного в ней конфликта.

В 1961 году появился роман «Две жизни». Роман этот сложен и многогранен. Остановимся лишь на отдельных его сторонах, на наш взгляд, наиболее примечательных и существенных.

Роман «Две жизни» написан в форме путевого дневника Алеши Коренкова, совсем еще молодого техника-изыскателя, поехавшего в первую в своей жизни изыскательскую экспедицию. Повествование ведется неторопливо, плавно. Вместе с Алешей мы входим в жизнь далекого таежного края. Как и для него, она полна для нас суровой и величавой романтики. Буйная красота природы, выразительность характеров, живописность таежного быта — все захватывает. Поначалу может показаться даже, что, собственно, в этом и состоит основное содержание романа и что сюжет его в точности повторит все изгибы Алешиного пути. Действительно, сюжета в привычном смысле здесь не ощущается довольно долго.

Однако мы начинаем замечать, что в характере и в самой последовательности всех этих описаний, зарисовок, наблюдений присутствует какой-то глубокий внутренний план, определенный художественным замыслом. Еще задолго до того как начал вырисовываться главный конфликт, мы ощущаем, что люди в романе вначале едва уловимо, а затем все более явственно тяготеют к двум противоположным полюсам и что поляризации этой Воронин отводит важную роль. Он как бы заранее ориентирует нас в людях, которым предстоит принять участие в основном конфликте, заранее заботится о том, чтобы поведение каждого из них в дальнейшем выглядело в наших глазах естественным и художественно оправданным. «Единство нравственного отношения» оказывает формирующее воздействие и тут.

Главное сюжетное ядро романа образуют события, связанные с борьбой вокруг проекта инженера Костомарова.

Суть их в следующем. Изыскательская партия, которой руководит Костомаров, отправляется в амурскую тайгу, с тем чтобы произвести конкретные расчеты, связанные с реализацией проекта Градова, так называемого «правобережного варианта». Однако на месте изысканий Костомаров приходит к выводу, что проект Градова не учитывает многих особенностей местности и приведет к совершенно неоправданным затратам. Взамен градовского проекта он предлагает свой, на первый взгляд весьма рискованный, а на самом деле чрезвычайно смелый и ориги-

нальный проект, так называемый «скальный вариант», который даст сорок миллионов рублей экономии. «Скальный вариант» получает одобрение начальника экспедиции Лаврова, и Костомаров энергично берется за его разработку.

Справедливости ради следует, вероятно, заметить, что о преимуществах нового варианта мы не очень-то способны судить и вместе с Мозгалевским сказали бы: «Меня может привлечь только трезвый инженерный расчет... Чтобы поверить, нужны варианты. Материалы для сравнения вариантов». И все-таки мы сразу же верим Костомарову. Потому что ему нельзя не поверить. Потому что мы так же, как и Алеша Коренков, можем сказать: «Я слабо разбираюсь в инженерном деле, но я много раз слушал Кирилла Владимировича, когда он говорил про скальный вариант, и верю: он не ошибался...»

Действительно, к моменту, когда была предложена идея скального варианта, Кирилл Владимирович Костомаров уже прочно утвердился в нашем восприятии как человек ярко талантливый и оригинальный, человек исключительного благородства, мужества и доброты.

Он суров, строг и требователен. Но в то же время он чрезвычайно чуток, по-человечески отзывчив и терпим. Неудивительно, что и люди, заслужившие его уважение, платят ему тем же и с готовностью подчиняются ему, так как «в нем есть та сила, которая заставляет человека подчиняться, не унижая собственного достоинства».

Но вернемся к фабуле романа.

После того как скальный вариант был принят, внешне вроде бы ничего не изменилось. Люди продолжали работать. В невероятно трудных условиях, на каждом шагу сталкиваясь с непредвиденными препятствиями, упорно шли к намеченной цели. Поляризация, о которой мы говорили выше, к этому времени полностью обнажилась. Не выдержали испытаний люди вроде инженера Зацепчика и рабочего Якова Сторублевого, как и большинство заключенных, приданных экспедиции, в полной мере раскрылась трусливая и мелкая натура Лыкова. Зато тем ярче засветились характеры Мозгалевского, Первакова, Ирины, самого Алеши Коренкова. События, набирая темп, все резче обозначают две разные сферы, «две жизни», из которых одна — это жизнь людей, беззаветно преданных делу, людей благородных и самоотверженных, и вторая — бескрылое, но чрезвычайно цепкое существование мелких людишек, для которых жизнь — постоянное и беспринципное приспособление к обстоятельствам во имя личного благополучия.

Исход противостояния и противоборства этих «двух жизней» как будто не оставляет никаких сомнений. «Вторая» жизнь обречена. Она терпит безусловное поражение всякий раз, когда спор решается самой практикой, когда дела человека подвергаются немедленной и непосредственной проверке их результатами. Зацепчики и Лыковы могут продержаться на своем лишь очень непродолжительное время.

Да, так. И все же корни двоедушия еще сильны. Временами, когда для этого выпадут подходящие условия, оно, оказывается, может еще напомнить о себе — и жестоко напомнить. Оно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ибо, кроме Зацепчика, Лы-

кова, Сторублевого и прочей мелкоты, его сторону держит такая крупная и влиятельная фигура, как Градов.

Вообще говоря, как личность, как характер Градов не представляет ни особой загадки, ни особого интереса. Как человек он ничуть не крупнее, скажем, того же Лыкова. Так же заносчив и труслив. Так же хищно-эгоистичен и коварен. Правда, он более властен и тверд, и масштаб его поступков гораздо внушительнее, но это оттого, что он избалован собственной неуязвимостью, сознание которой в нем породило весьма высокое служебное положение. Нравственное же его ничтожество подтверждается на каждом шагу. Например, отмену своего проекта он воспринимает внешне безропотно, понимая, что в открытом споре с Костомаровым он будет непременно побежден, тем более что на стороне Костомарова начальник экспедиции Лавров, а уж с ним-то Градову никак не тягаться.

Однако, подчинившись, он ждет лишь удобного момента, чтобы нанести Костомарову решающий удар.

И такой момент наступает. Когда изыскательские работы по скальному варианту близятся к успешному завершению, внезапно заболевает Лавров, и начальником экспедиции назначают Градова.

Правда, для Градова это еще не победа. Хоть возможности его в борьбе с Костомаровым теперь значительно расширились, выступить, что называется, с открытым забралом он все же не решается. Для того чтобы скомпрометировать проект Костомарова, рассуждает Градов, надо скомпрометировать любыми средствами самого Костомарова. И он это делает, воспользовавшись гнусным доносом Лыкова. На основании этого доноса он отстраняет Костомарова от работы и, почувствовав, что теперь уже ничто не связывает ему руки, объявляет скальный вариант «бросовым ходом».

По своей привычке всегда и во всем исходить лишь из своих собственных интересов, Градов полагает, что достаточно приказать рабочим, и все решится само собой. Но первая же встреча с ними опровергает такие расчеты.

Особенно принципиальное, можно сказать, «программное» объяснение происходит с рабочими.

«— Это что же, выходит, мы зря работали? Зря голодовали, мерзли? — наступая на Мозгалевского, говорил Перваков. — Зря Ирина Николаевна померла? Как же выходит такое дело?

За спиной Первакова стояли рабочие, и вольные, и заключенные, и все хмуро и требовательно смотрели на Олега Александровича.

— А, собственно, в чем дело? — спросил Градов. Он стоял тут же, с удовольствием покуривая толстую папиросу. — Вы получали зарплату за свою работу, и не ваше дело вмешиваться в инженерные соображения.

— Как это не наше дело? — зло сказал Перваков. — Год жизни нашей здесь! Я тут околевал. У меня кости мозжат от земли да от воды. Что мне деньги? Деньги я везде заработаю. Но я не хочу работать зря. Я работал как надо, а, выходит, все полетело как псу под хвост? Кто ж виноват в этом браке?

— Виноватых нет, — с горечью отметил Мозгалевский. — Никто до нас не шел этим путем. Никто не прокладывал нам готовой трассы.

Градов посмотрел на Первакова и округлил ноздри:

— Да-да, мы первооткрыватели, и у нас могут быть ошибки. Не исключены и жертвы. Но в чем я могу вас всех заверить, — твердо сказал он, — это в том, что мы, несмотря на ошибки, промахи, жертвы, все равно придем к намеченной цели. Это неизбежные потери в большом новом деле...

— А кто же вам дал право идти с жертвами да ошибками? — подступая к Градову, гневно спросил Перваков. — Нету такого права. Никто вам его не давал! Если не можешь руководить как надо, так другому место уступай. С жертвами! А ты сам пожертвуйся! А то больно прыткий на чужой-то счет!»

Этот диалог отвечает на многие вопросы. И прежде всего на вопрос о том, в чем состоит его, Градова, сила. Да, сила. Ибо хотя он и остается в моральном одиночестве, хотя он и идет фактически на преступление, объявляя скальный вариант «бросовым ходом», но ему удалось свалить Костомарова, удалось настоять на своем проекте и, можно не сомневаться, ему удастся в конце концов заставить людей работать.

Сила его, как ни странно, в демагогии. Не в демагогии как таковой, не в виртуозной способности черное представить белым, а в том, что в демагогии этой преломились некоторые теневые тенденции прошлого времени. «Лес рубят — щепки летят» — эта и подобные ей фразы недаром были тогда в частом употреблении. Законченнейший выразитель этого рода философии и есть Градов.

Философия жертв в его трактовке является, по сути дела, оправданием субъективизма, так сказать, теоретическим обоснованием права на произвол. Эта философия выглядит тем чудовищнее, что она спекулирует на действительной самоотверженности, на действительной готовности советских людей идти на любые жертвы во имя высокой цели. Она прекрасно учитывает, что люди подвига всегда рыцарственно-великодушны. Чужих ошибок, от которых страдают только сами люди, они склонны попросту не замечать. Больше того, в смысле жертвенности они иной раз придерживаются весьма крайних взглядов. Наивный романтизм у них в крови.

Вот в этом и состоит сила философии Градова — в мимикрии ее под лучшие устремления времени и, отсюда, в легкой возможности злоупотребить ими.

Финал романа трагичен. Погибло большое дело. Людям, верившим в него и выдержавшим ради его торжества труднейшие испытания, была нанесена тяжелая нравственная травма. Многие из них так и ушли с горьким сознанием градовской победы. Погибли на войне Костомаров и Соснин, умер в блокадном Ленинграде Мозгалевский, бесследно затерялся где-то Перваков. Да и самому Алеше Коренкову было нелегко все эти годы носить в душе «бросовый ход».

Правда, в эпилоге Воронин сообщает, что дорога на Элгуни строится по скальному варианту. И все же это не избавляет нас от грустных размышлений. Размышлений о «двух жизнях», о том, что двадцать лет, которые понадобились для восстановления справедливости, — это очень большой срок... Конечно, радость, хотя и запоздалая, что в конце концов все устроилось так, как должно было быть с самого начала. Отрадно, что в тайге один из разъездов на железной дороге носит название Ручей Кирилла.

И все же так ли уж бесповоротно решена проблема «двух жизней»? Можем ли мы сказать, что «вторая» жизнь отошла в прошлое?

Можем. В том качестве, в тех формах это не повторится никогда. Опыт учит. Да и ничто на свете не повторяется в одних и тех же формах. Новая жизнь — новые проблемы. И новая борьба.

В конце романа, буквально на последних его страницах, мы вновь встречаемся с Колей Николаевичем, с тем самым, который тогда, двадцать лет назад, одним из первых пошел в услужение к Градову.

Так вот, этот самый Коля тоже, оказывается, сделал свои выводы из всего происшедшего, тоже обогатился определенным опытом. «Главное — не унывать! — говорит он теперь. — Даже если разочарование, не унывать. Да и какая разница: правобережный или скальный? Правобережный дороже, скальный дешевле. Какая разница!

— Но это же цинизм, — перебил я его.

Он иронически посмотрел на меня:

— Почему же цинизм? Есть более точное определение: практицизм. После разоблачения культа мы многое поняли и теперь уже не те доверчивые ребята, какими были тогда...»

Знакомое сочетание, не правда ли? Откровенный эгоизм и модная фразеология... Демагогия, кощунственно мимикрирующая под лучшие устремления эпохи...

Да, Градов. Градов, обогащенный опытом, Градов, приспособившийся к новым условиям, Градов, даже свою собственную смерть обративший себе на пользу. Одним словом, Градов новейшей формации.

У того, прежнего Градова беспринципность была беспринципностью практика. Коля же Николаевич из самой беспринципности сделал своего рода принцип. «После разоблачения культа мы многое поняли...» Коля Николаевич понял одно: то, что порождением культа можно объявить принципиальность и идейность вообще.

Да, современная градовщина гораздо опаснее той, «довоенной». Демагогия ее тоньше и искуснее и распространяется на сферы более широкие и существенные. А потому и проблема «двух жизней» приобретает новое звучание и новую остроту...

После романа «Две жизни» Сергей Воронин вернулся к рассказам. Правда, пишет он в эти пять-шесть лет не так уж много.

Начало нового подъема следует, думается, связать с выходом в свет сборника «Роман без любви» (1968).

Первое, что сразу же бросилось в глаза: все, в том числе как будто даже и привычные для Воронина проблемы и события осмысляются им в каком-то новом, подчеркнуто философском аспекте. Самые простые, самые обычные поступки и мысли людей светятся для него каким-то глубинным, хочется сказать, абсолютным смыслом.

Герой рассказа «Только бы не было ветра...», уставший от городской жизни, приезжает на пустынный ладожский остров. В озерную глушь его влечет не мечта об охоте и рыбалке, не желание полюбоваться красотой природы. «Я устал, — признается герой. — Устал от людей, от города, от жизни. По-моему, человек себя может уважать до тех пор, пока сознает свою силу

в обществе. С некоторых пор я за собой этой силы не чувствую. И тем острее вижу, как живет общество».

Вода, небо, камни, огонь — на эти простейшие элементы он только и хочет разложить свое восприятие жизни. Это исконно, первозданно-человеческие представления о жизни, и ему не хочется выходить за их пределы.

Но героя ждет одно весьма неожиданное открытие: в ряду «первородных» ощущений появляется еще одно, столь же «сущностное», но возникшее, несомненно, уже из человеческих взаимоотношений.

Дело в том, что вдали на острове ему видится Белый город, и разгорается желание непременно добраться туда. «Белый город! Может, я ничего не найду на этом острове, и все равно открою то, что там ничего нет, чтобы другой, неопытный, не пошел зря».

Вот это и есть то новое ощущение, напомнившее герою, что человек не в состоянии освободиться от сознания своей принадлежности к человеческому роду, от жажды знания, которое может оказаться полезным для других людей. Оно и придало определенное направление некоему нравственному процессу, в ходе которого воронинский персонаж все более стал утверждаться в осознании истинных, абсолютных начал человеческого бытия. В нем началась борьба двух «я», и сильный «я» победил трусливого. Он поплыл к Белому городу, заставив себя пренебречь опасностью, которой грозила коварная Ладога, и когда опасность эта пришла, он испытал одно из самых утверждающих человека ощущений — ощущение борьбы.

Эта ситуация как будто знакома нам по рассказу «Наедине» (1963). Там герой тоже борется с разбушевавшейся стихией, и борьба эта для него — вопрос нравственного самоутверждения. «Главное, не испугаться, не унизить себя страхом... Человек не должен бояться ни природы, ни людей» — вот главная задача, которую он решал для себя. И лишь в пределах этой, в общем-то несложной, задачи Воронин и раскрыл нравственные возможности своего героя.

Здесь в рассказе «Только бы не было ветра...» Воронин идет гораздо дальше. Герою предстоит утвердиться не просто в самоуважении, не просто в сознании того, что страх унизителен, а в определенном отношении к жизни. Поэтому победа сильного «я» над трусливым для него лишь эпизод, лишь прелюдия к главным нравственно-психологическим открытиям.

Воронин смело вступает в область «тайная тайных», ставя своего героя перед лицом смерти.

И тут оказывается, что страх существует! Что он так же в природе человека, как необходимость дышать, двигаться, жить. Что он является формой жажды жизни...

Борясь за жизнь, герой, сам того поначалу не сознавая, утверждался в новом ее понимании, и теперь, когда он победил, он понял и то, к чему обязывает его эта победа. «Я все же выбрался на берег. Упал и долго лежал. И плакал, не стыдясь своих слез. Потому что это были слезы очищения и надежды. Было обидно, что не так жил до сих пор, поэтому и устал, и что теперь начну совсем другую жизнь. Плакал оттого, что до этого дня не уважал себя, не умел этого делать, а теперь ничего уже бояться не буду».

Да, нелегко дался герою этот нравственно-философский урок:

для того чтобы вновь обрести вкус к жизни, надо было испытать смертельный страх за нее. Истинное же понимание жизни приходит лишь тогда, когда человек по-настоящему любит жизнь.

Герой не нашел на острове Белого города. Но он не испытал разочарования. Потому что Белый город для него — не мираж, не таинственная фата-моргана, вселяющая в путника исступленное стремление к несбыточному, а призыв к дерзанию, символ веры человека в возможность всегда и во всем оставаться человеком. Важен не столько сам Белый город, как путь к нему, решимость человека невзирая ни на что пуститься в этот путь.

«И тем острее вижу, как живет общество...» Сказано это задумчиво, пожалуй, даже немного грустно. Есть в этом что-то от настроения того человека из сказки, которому волшебник подарил очки, позволяющие увидеть скрытое от простого глаза...

Сергей Воронин действительно видит очень многое. То, мимо чего мы подчас проходим, чему не придаем значения, привыкли считать «мелочами жизни».

Для Воронина нет мелочей. В будничном случае, в любой ситуации он умеет различить черты общезначимого, важного для человека.

...Сергей Николаевич, герой рассказа «Пять домов», приехав на дачу, навещает нескольких соседей. В каждом доме свои горькие заботы, свои беды. Нелегко живется Александру Александровичу. Пенсия маленькая, кормильцев нет, а тут еще палец отрубил себе по нечаянности...

Настоящее большое горе в доме Кургановых — недавно они похоронили взрослого сына. И в доме Тобольцевых плохо: «сам» пьет, «спутался с молодой бабой», бьет жену.

Угнетенный всем увиденным, Сергей Николаевич заходит к Паловым. За столом ему хочется поделиться с ними своими горькими раздумьями. Однако оказывается, что на все то, что повергло доброго Сергея Николаевича в такую печаль, можно посмотреть совсем другими глазами. Александр Александрович? «— Сам виноват, — безапелляционно утверждает Палов. — Сидел дома, шил туфельки на заказ, а теперь хочет, чтоб государство ему платило большую пенсию». Тобольцева? «— Нашли кого жалеть, — добродушно потешается жена Палова. — Кого она-то пожалела, Сергей Николаевич?» И даже горе старика Курганова кажется Паловым не таким уж, что ли, оправданным: «— Жалко, конечно, мужика, да ведь все равно от Васьки проку бы не было».

«Как для них все просто и легко!» — грустно замечает Сергей Николаевич. Он-то знает, что Александр Александрович, который «в первую мировую в плену чуть на рудниках не умер, в эту досталось, вырастил четверых детей», сапожным делом промышлял, должно быть, не от хорошей жизни. Он-то знает, что хотя и непутевым человеком был Васька Курганов, но отцовское горе от этого не меньше. И что даже если Тобольцева не вызывает особых симпатий, то постигшая ее теперь беда никак не может рассматриваться в качестве «наказания за грехи». Все не «просто» и не «легко». И доброе отношение, простое человеческое сочувствие — первое условие, чтобы в этой сложности разобраться. А может, и сложности никакой не будет, если люди внимательнее станут друг к другу...

Сергей Николаевич в своих ощущениях, эмоциональных реакциях, пожалуй, несколько аморфен. Его доброте, его «всепониманию» не хватает каких-то еще не вполне ясных, но весьма важных граней. Сама собой напрашивается какая-то поправка, какое-то уточнение. Но не антитеза, не философия супругов Паловых — это также ясно. Ибо если душевная отзывчивость, доброта — верный залог тому, что люди все лучше будут понимать друг друга, то черствый рационализм, каким бы «объективным» он подчас ни казался, нравственно бесплоден.

Гуманистическую направленность рассказа «Пять домов» своеобразно продолжает и дополняет рассказ «Белевич». Центральный образ здесь подчеркнуто резок, закончен, хочется сказать, наступателен.

...Учетчик базы Белевич, похоронив жену, остался один. Живет он скромно, незаметно, можно сказать, даже аскетично. С виду это замкнутый, сухой человек. Но это лишь с виду. На самом же деле он с огромной душевной болью воспринимает несчастья и беды живущих рядом с ним людей, и сама его суровость и замкнутость есть выражение силы его переживаний. Он видит, как немолодая уже грузчица Клавка надрывается на работе, как она пьет с парнями и как те часто издеваются над ней — просто так, по грубости душевной, по хамской привычке унижать слабого. А у Клавки две совсем еще маленькие дочери.

И вот Белевич, этот одинокий и сам много переживший человек, не рассуждая и не колеблясь, движимый единственно желанием помочь Клавке, предлагает ей вступить с ним в брак.

«— Пропадешь ты, если будешь так жить, — сказал он.

— А тебе чего? — грубо ответила она, потому что и стыдно было, и разбирало зло, когда лезли в ее дела.

— Девчонок жалко.

— А что им в твоей жалости!

— Давай будем жить вместе.

— Чего? — Клавка засмеялась. — Ты с ума сошел, Белевич!»

Но, видимо, велика убеждающая сила истинного добра. И Клавка ее почувствовала. Став женой Белевича, она постепенно начала понимать, что не только корысть движет людьми.

Чтобы понять глубину, пронзительную силу этого рассказа, надо его прочесть. Ибо сила эта не в сюжете и даже не в том мастерстве, с каким выписан образ Белевича, а в самой интонации рассказа. В том ли дело, что рассказ предельно лаконичен, что поступки Белевича, даже самые как будто неожиданные, никак не мотивируются, только сразу же возникает ощущение какой-то совершенно непререкаемой убежденности писателя в необходимости делать добро. Он потому и не мотивирует поступков Белевича, что правота их как бы сама собой разумеется, что иначе и быть не может. Вот эта безусловность нравственного отношения к предмету и составляет существо авторской интонации в рассказе.

Говоря о Сергее Воронине, часто употребляют выражение «добрый талант». Это справедливо. Справедливо в том смысле, что в сокровенных своих художнических побуждениях, в осознании целей, с которыми он обращается к творчеству, Воронин действительно добр, как-то по-особому сердечен и дружелюбен. Но это не созерцательная, не пассивная доброта, не бесхарак-

терное всепрощение. Писатель понимает и готов к тому, что в борьбе за высшие нравственные начала приходится сталкиваться с многочисленными врагами. С «суровой черствостью», о которой говорил Алеша Коренков. С душевной глухотой и нравственной ленью. С мещанским эгоизмом, который ставит под сомнение любую добрую мысль или чувство. В целом ряде рассказов Воронин обращается к этому «вечному» типу самодовольного мещанина, то снисходительно щуря глаза при виде истинного человеческого горя («Пять домов»), то паразитически своекорыстного и алчного («Лошадь убили», «За второй скобкой»), то мстительно-злобного, когда он сталкивается с чем-нибудь нравственно непонятным ему («Саша», «Буденновская шашка»). Лики антидобра, антисправедливости, античеловечности многообразны. И Сергей Воронин умеет их различать, потому что чуток к добру, справедливости, человечности...

После выхода сборника «Роман без любви» были все основания считать, что период, наступивший в творчестве Воронина, будет не только плодотворным, но и длительным. Очень уж устойчивым, хочется сказать, итоговым казалось все это — и глубокая нравственная сосредоточенность, и спокойная уравновешенность, и завершенность художественной формы, и философско-лирическая тональность, в которой писатель обычно утверждается в пору своей высшей творческой зрелости.

Плодотворным этот период для Воронина действительно стал. Две повести, пьеса, десятки рассказов. А еще литературно-критическая и общественно-литературная деятельность. А еще работа над новым большим романом...

Вместе с тем не будет, вероятно, слишком поспешным утверждать, что в творческих устремлениях писателя, в самом, если можно так выразиться, темпе его художественной мысли произошли определенные изменения.

Лучшие рассказы сборника «Роман без любви» были, пожалуй, несколько созерцательны, что, вполне возможно, определялось самим их предметом. В новых же своих вещах Воронин гораздо деятельнее, энергичнее, жестче. Вновь, как и во времена «Ненужной славы», он обращается к острейшим проблемам современной жизни и говорит о них с публицистической открытостью.

Говорят, главная книга для писателя — та, что впереди. Это не просто красивая фраза, призванная поддерживать в писателе надежду. Это опыт. Опыт, имеющий в виду те случаи, когда творчество — постоянное движение, когда талант открывается все новыми и новыми гранями. Творчество Сергея Воронина последних лет — как раз такой случай. Автор многих рассказов, продолжающих тот, хочется сказать, щедрый ливень, который пролился в «Романе без любви», писатель, открывающий для себя и новые жанры (пьеса «Желтый закат», киносценарии), художник, для которого девизом является поиск и поиск, Сергей Воронин действительно вправе сказать, что главная его книга — впереди...

Борис СОЛОВЬЕВ

«ОСОБОГО ВЕЛИЧЬЯ ПРОСТОТА»

«Врéмена и дороги», книга стихов Николая Тихонова, вышедшая почти полвека спустя после первых его сборников «Орда» и «Брага», во многом перекликается с ними и существенным образом от них отличается.

Книга — органическое продолжение лирики целых десятилетий творческой деятельности, а вместе с тем она несет в себе и какие-то новые, весьма знаменательные для поэта черты.

Н. Тихонов постоянно избегал творческой инерции, гладкого, покрывшегося «академическим жирком» (говоря его словами), уже привычного стиха. Поэт стремится придать стиху предельную выразительность, изначальную свежесть, подвижность — все то, что отвечает стремлению

Каждое желание простое
Освятить неповторимым днем...

(так говорится в очень ранних стихах поэта, опубликованных в его книге «Орда»).

Поэт неизменно возражал против «получения однообразных копий с одного утвержденного и избранного оригинала» (как говорил он в докладе на I Всесоюзном съезде советских писателей) и отвергал такие «избранные оригиналы» как предмет для копирования и подражания даже в тех случаях, когда эти оригиналы принадлежали ему самому. А если поэт и предчувствовал опасность самоповторения, то заранее избегал ее, — или, утверждал он в том же докладе, — «когда я чувствую, что мои стихи начинают жить размеренной жизнью... я бросаю перо поэта. Проза тогда честнее и лучше служит мне».

Мы читаем у него в цикле «Чудесная тревога» (1937—1940):

Мир молодой, как небо на заре,
Встречал меня на той полугоре,
И книжным словом не оскорблена
Чернела леса дальняя стена...

И ему в высшей степени присуще опасение оскорбить «книжным» (понимай — привычным, заранее готовым, уже стершимся) словом неиссякаемую молодость мира, живое чувство подлинности вечно юных и страстно напряженных переживаний, новизну взятого и заново исследованного жизненного материала.

«Времена и дороги» — неповторимая глава в творчестве Тихонова, хотя, может быть, не всем ее читателям эта новизна бросится в глаза, ибо зачастую она предстает в том простом и неброском выражении, какое далеко не всегда поразит с первого взгляда. Если некогда, в начале своего творческого пути, поэт представал перед нами

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить... —

как сказано в стихах, открывающих сборник «Орда», то теперь, десятилетия спустя, настало время оглянуться на весь пройденный путь, сопоставить первоначальные, такие безудержные замыслы и стремления с тем, что осуществилось в реальной действительности, стало основой жизни и творчества. Вот почему новая глава тихоновской лирики носит характер как бы итоговый, что и сказалось на всем существе книги — начиная от ее тем и мотивов вплоть до средств образной выразительности.

Неотъемлемой особенностью новой книги Н. Тихонова является то, что в ней над всем временным и преходящим решительно преобладает стремление к широким обобщениям, жажда увидеть и осмыслить все «времена и дороги» своей большой и многообразной жизни в целостности, связанности со всей эпохой, что и влечет поэта к тому, чтобы сосредоточиться на самом значительном, главном, основном, что составляет смысл и пафос его жизни. В этих стихах чувствуется и особого рода зрелость художника, а вместе со зрелостью приходит и какая-то особая умудренность, сдержанность, внутренняя широта, жажда охватить памятью и тем самым повторить весь свой жизненный путь, так тесно переплетающийся с путями всей страны, историей своего народа. Одной из героинь его книги является Память — и память особого рода, когда неповторимо личное органически сочетается с общим и историческим, а своя судьба — с судьбой всего народа, с его деяниями, свершениями, борьбой, с его помыслами и устремлениями. Воссоздаваемое великое время предстает в неповторимых чертах и приметах «памяти отдельной» (говоря словами Александра Твардовского). А эта «отдельная память» всегда несет с собою нечто особое, не совпадающее хотя бы и с родственным.

Сама память — в согласии с жизненным опытом поэта как неутомимого путешественника — обнаруживает сходство с теми горными вершинами, откуда открываются огромные просторы, и эти вершины обретают не только прямой, но и переносный смысл, глубинное значение, отозвавшееся и во всем внутреннем мире поэта.

Поэт говорит о горных перевалах и высотах:

Я слушаю их выдумки и были,
Говоруны, вы так же хороши,
Как и тогда, когда глаза открыли
Впервые вас, как тайники души.

И эти тайники составляют неоценимые духовные сокровища, живые истоки, к каким с такою жадностью и поныне припадает поэт!

А какою силой и широтою отличается память поэта, неотъемлемая от тех горных высот, откуда видно далеко во все стороны света, как решительно и властно входит она в его стихи, словно подытоживая все то, что довелось изведать и испытать:

Опять стою на мартовской поляне,
Опять весна — уж им потерян счет,
И в памяти, в лесу воспоминаний,
Снег оседает, тает старый лед.

И рушатся, как ледяные горы,
Громады лет, вдруг превращаясь в сны,
Но прошлого весенние просторы
Необозримо мне возвращены.

А если ему снится тот костер, который горел перед ним в горах Сванетии, вся жизнь словно бы озаряется этим костром, и пусть он, разрушаемый камнепадом, «тих и мал, мои зато уж годы выше сосен встали надо мной...», и кажется, именно с этих высот и вершин предстала перед поэтом его жизнь в ее сути и во всем значении, о котором не всегда успеваешь задуматься в повседневной сутолоке.

Пафос этой книги определен уже в первом открывающем ее стихотворении «Солнечный дозор»:

Тем, что уже неповторимо,
Мы заново живем!

Здесь словно бы в свете неугасимых лучей преломляются, воскресают те события, какие являются достоянием личной памяти поэта, — а вместе с тем стали уже незабываемыми страницами и целыми главами нашей истории, и в этих лучах предстает внутренняя жизнь поэта:

...что было злым и ломким,
Или сродни громам,
Души косматые потемки
И темный лес ума...

Но все оно, как бы ни было сложно, а подчас и смутно, обретает в этих лучах какую-то особую ясность и глубину.

Память Н. Тихонова, словно спрессованное время, охватывающее различные пласты жизни — в их единстве, а вместе с тем в их резко ощутимом различии, в невероятных метаморфозах, когда повседневною явью становится то, о чем раньше можно было только мечтать или прочесть в фантастическом романе.

Сейчас берут в полет, как чудо, быстрый
Космический походный рацион, —
При мне в трамвай садились с любопытством,
Чтобы освоить, как аттракцион...

Это «при мне» придает неоспоримую достоверность лирическому повествованию Тихонова, свидетеля и участника описываемых событий. Да, все, о чем повествуется здесь, лично испытал, все пережил поэт. Он лицезрел,

Как первый летчик с треском, трепыхаясь,
Вдоль над забором гордо пролетел...

Видел и героев первых кинолент, и то, как жадно люди прислушивались к первым радиосигналам. Все это с уже очень и очень давних лет,

...счастливый, как в копилку,
Так чудо я за чудом собирал...

Захваченный стремительным бегом времени, поэт задумывается о том, чтó же ждет того мальчишку, который еще только постигает начала азбуки.

Что поразит, как чудо, школяра
В век двадцать первый?..

И хотя мы еще и не можем до конца на это ответить, для самого поэта очевидно, что и этого «школяра» ждут такие чудеса, о которых мы сейчас даже и не помышляем.

Поэту присуще постоянное стремление и увидеть весьма отдаленные друг от друга времена, и запечатлеть их живую связь, как это мы видим в стихотворении «Костер у Смольного».

Здесь сначала перед нами предстает простой скромный солдат «из рабочих парней», который в дни Октября задумался у жаркого костра, пылавшего возле Смольного, и «костер этот пламя простер в бесконечность походных дорог». А потом, много лет спустя, уже генералом, он оказался в Берлине, где перед ним снова догорал костер, и

Он узнать уголек был не прочь
От костра, что когда-то горел
Перед Смольным в Октябрьскую ночь...

Глубокие раздумья вызывал у него этот не остывший с годами уголек, словно бы уже перенесенный сюда вихрем истории, ветром времен и еще в давние годы осветивший перед ним даль бóльших, неизведанных дорог, пути истории, «нестерпимо большие года». И как же не увидеть ему через многие годы в костре, вспыхнувшем в сорок пятом году, отблеск того огня, какой осветил всю нашу жизнь, те пути, что многие годы спустя привели нашу армию в Берлин, — здесь одно неотделимо от другого, связь времен, «нестерпимо большие года» отчетливо различимы в свете уголька от того костра, который вспыхнул у стен Смольного.

Торжественным гимном стойкости, мужеству, преданности великому делу революции стало стихотворение «Латышские стрелки», посвященное тем воинам, которые еще со времен гражданской войны вошли в предания и легенды, ибо именно им поручалось множество самых больших и ответственных заданий, и разве можно забыть о том, что

В мире отныне вольном,
В мире больших тревог
Кремль охранял и Смольный
Латышских полков стрелок.

Этих стрелков заслуженно называли «гвардией Октября». Поэт подчеркивает самое главное в характере своих героев, завоевывавших одну победу за другой ценою любых жертв и испытаний. Их направляли туда, где было всего трудней, всего опасней, и автор с гордостью за своих легендарных героев провозглашает:

Вы проходили над безднами,
Мало осталось в живых.
Вас называли железными,
Были такими вы!

Не о таких ли натурах и характерах говорил он в своей давней уже балладе, сложенной полвека назад:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Почему мы вспомнили об этих давних стихах?

Потому что в стихотворении «Латышские стрелки» (как и во многих других) поэт, не повторяя себя, утверждает ту же цельность и стойкость своих героев, какую он еще и в былые времена называл железной и какая в его глазах сродни бессмертию, неотъемлемому от героического служения великому делу.

В стихах Н. Тихонова память о давних событиях перекликается с нашими днями, словно бы продолжается в них, а современность неотрывна от тех далеких событий, вне которых нельзя осмыслить всю ее глубину и весь ее грандиозный размах.

Примечательна широта итогов прожитого и заново передуманного, та широта, какая свидетельствует о бессмертии нашей жизни, о ее устремленности к будущему. Но бессмертие, пафосу которого отвечает книга Тихонова, не носит абстрактного или сугубо пантеистического характера (как оно нередко толкуется в нашей лирике), неотъемлемо от того коммунистического будущего, к которому устремлены все помыслы и свершения нашего народа, от верности делу и учению Ленина.

То бессмертие, о каком говорит поэт, носит черты конкретные и зримые, как это мы видим в стихотворении «Малая Гребецкая, 9/5», где (как сообщает поэт в эпиграфе) «...на квартире преподавателя пехотного юнкерского училища К. Ф. Неслуховского с осени 1906 года до начала 1907 года работал В. И. Ленин...».

Говоря об одной из квартир старого Петербурга, так тесно связанной с его личной жизнью, поэт завершает стихотворение «Малая Гребецкая, 9/5» знаменательными строками:

При скучном сумеречном свете,
В пальто, блестевшем от дождя,
Так скромный вид хранит Бессмертье,
В жилище смертного входя.

Вслед за поэтом мы входим и в ту небольшую комнату Смольного, куда Ленин возвращался к утру после ночных совещаний, и так пристально вглядывался в окно, за которым уже простиралась ранняя заря, —

Точно все, что свершится на свете,
Все, что будет с родною страной,
Он увидит на зимнем рассвете
В это синее, с хмурью окно... —

увидит то, что еще неведомо другим, а вот ныне поэт и его спутники стоят у того же окна,

...пораженные видом мгновенным,
Ощущая времен перелом,
Точно темные судьбы вселенной
Вдруг столпились за этим стеклом.

Во многих весомых и значительных стихах книги возникают черты живого и неповторимого образа Ленина, то обращающегося к рабочим с броневика, то на Втором конгрессе Третьего Интернационала выступающего с высокой трибуны перед делегатами, прибывшими из множества стран мира, то в беседе с Уэллсом, когда воображение великого фантаста века не могло угнаться за размахом гениальных ленинских прозрений и предвидений — и обо всем этом поэт повествует по-своему, никого не повторяя.

Книга «Времена и дороги» пронизана духом великого интернационального братства, в ней подчеркивается огромное международное значение Октября, — и когда один из делегатов, прибывших в Петроград из-за рубежа на Второй конгресс Третьего Интернационала, слушает страстное выступление Ленина, обращенное к трудящимся всего мира, то у него сам собою напрашивается вывод:

— Здесь дело сделано. Точная дата.
Нам бы такую в своей стране...

История обретает весомость, конкретность, и когда поэт снова видит ленинградские площади, дворцы, арки, ему кажется, что «от дыханья истории жарко нынче на хладных Невы берегах».

И по-прежнему чутко прислушивается он не только к тому, что происходит у нас, где «вся жизнь гудит, блистает и трепещет», но и там, где «полвека злобу не тушили», лелеют и вынашивают против нашей страны новые враждебные планы и зловещие замыслы.

Утверждение бессмертия наших дел, стремлений, чаяний становится пафосом книги «Времена и дороги», определяет и другие ее особенности.

По-прежнему для него «Аврора» — это и легендарный крейсер революции, и воплощение той зари, какая уже тысячелетия назад звалась Авророй, являясь перед людьми «розовопенной и живой». А мы, говорит поэт от лица своих сверстников, сначала даже и не помышляли ни о каких богинях и ни о каком бессмертии — слишком много было впереди самых неотложных дел и всепоглощающих забот, — и

...не все ли было нам равно,
Какой богинею крылатой
Стучится к нам заря в окно...

Но эта богиня — живое воплощение красоты, юности, бессмертия! — стучалась не напрасно и услышала ответный отклик в

миллионах и миллионах сердец, зажегших иную, новую зарю «для всех людей, для всей земли» и не забывших о той розовопенной и окрыленной, какая еще тысячелетия назад вещала о неизбежности наступления новой и прекрасной жизни. А вот теперь она предстала в новом, земном облике, воплотившем уже не только дерзновенные мечты лучших людей былых веков и тысячелетий, но и реальную суть самой действительности, ее устремленности к будущему:

Аврора! Про твое рожденье
На всю планету говорим!
Ты стала знаком пробужденья
Всечеловеческой зари!

А когда под Ленинградом в освобожденном Пушкине Н. Тихонов увидел бронзовую деву в лицейской комнате поэта, то и здесь в его глазах самые отдаленные друг от друга времена словно скрестились — и в той же комнате, где Пушкин впервые услышал голос Музы, появилась другая дева, чем-то схожая с ней, но с лицом, преображенным отблеском страсти и гнева, пришла она сюда через многие годы, чтобы отстоять бессмертное достояние великого поэта и всего народа, —

...пришла туда, где Пушкин,
Лицеист с пером гусиным,
Голос грозной Музы слушал,
Мира черные глубины.

И как глубоко и страстно перекликаются, словно родные сестры, и дева с разбитым кувшином, и наша дева-мстительница, — и в этих стихах раскрывается их глубокое родство, а мифы и образы древности словно бы возрождаются к новой жизни.

А когда ночью в объятой военной бурей Варшаве все грохотало, рушилось, уходило на самое дно некоего незримого вулкана («Продлись все это чуть подольше — меня б смело с лица земли...» — признается поэт), то даже и те памятники и статуи, которые словно бы воплощали дух Варшавы, встали на ее защиту и свидетельствовали о ее бессмертии — и, как читаем мы здесь, —

Когда вся адская арена
Взыграла в ярости двойной,
Сама варшавская Сирена
Простерла щит свой надо мной.

Она и сегодня неизменно и властно предстает перед поэтом —

Как гений города, хранивший
И меч и пламя очага... —

и в ней он узнает не просто и не только лик мифической Сирены, но и поныне живой «судьбы меняющийся лик», и в таких стихах легенды веков и создания классического искусства обретают особую жизненность и красоту, ибо не только говорят о бессмертии, но словно бы воплощают и величие современности, перекликаются с ней, зовут к тому будущему, какое не может не быть прекрасным.

Поэт, как видим, обращается к древним мифам и легендам

не из одной любви к прошлому, но и потому, что эти мифы и легенды ныне обрели новое звучание и новый смысл, ибо «легенды снова сделали мы былью».

И не «арфа Эола» — как она ни прекрасна! — а простая «солдатская арфа» — рогатка с колючей проволокой, заброшенная взрывом на опаленную огнем сосну, «играет в ночном и бессмертном лесу», играет над почерневшим снегом, над павшими в борьбе за наше великое дело — и здесь легенды веков и образы, созданные в тысячелетиях, возникают с тем, чтобы мы могли воочию убедиться, что деяния наших дней не уступят тем, какие уже стали преданием, войдя в бессмертие.

Все это отзывается и на характере стиха, как никогда у Тихонова близкого классической традиции, отвечающего не минутному порыву и преходящему настроению, а углубленным чувствам и раздумьям. Поэт обращается к такому стиху, который несет на себе печать особой мерности, монументальности.

Значительно в этом отношении стихотворение «В горах», где образы обретают особую внутреннюю сдержанность:

И вот опять, горами окруженный,
Приветствую высокий первый снег,
Сиянье скал, и лес завороженный,
И у Хертвиси двух потоков бег.

Теснятся горы, говорят все разом,
Вплоть до ручья, скользящего, звеня.
Они несут навстречу мне рассказы
О том, что здесь случилось без меня...

Вслушаемся: ритм этих стихов словно отвечает шагу по тропе на крутом склоне, и как полно передана в этих близких классической норме стихах новизна и свежесть ощущений человека, привычного к миру гор и к тем ясным и торжественным раздумьям, какие рождаются на их высотах!

Перечитаем хотя бы и такое стихотворение, как «Смена караула»:

...Москвы ночной глубок рабочий роздых,
Шаги в тиши отчетливо стучат,
Морозный свет горит на красных звездах
И на щеках у молодых солдат.

Какая озабоченность застыла
В их строгом взоре, точно разлита
Здесь в воздухе торжественная сила,
Особого величья простота...

В этих стихах не только отчетливо и основательно передана «торжественная сила» молодых солдат, встающих на пост у ленинского Мавзолея, — самый стих словно бы отвечает размеренной поступи караула, а морозный свет, горящий на их лицах, как бы пронизывает и эти стихи с их стройностью, незыблемостью, какой-то особой ясностью, кристальностью, когда каждая грань отточена и выверена с предельной четкостью и чистотой. Да, все это отвечает классической норме, утвердившейся традиции стиха, сдержанному, а вместе с тем глубокому

и страстно напряженному чувству нового, без чего нельзя было бы воплотить и захвативший поэта замысел.

Нельзя не заметить и того, что в книге «Времена и дороги» перед нами во весь рост встает и личность самого поэта в ее самобытности, активности, цельности, никогда не отступающая перед трудностями и испытаниями.

В новой книге своих стихов Н. Тихонов отвечает на самые большие и сложные вопросы нашей эпохи, говорит от лица того свидетеля и летописца, который не со стороны судит о событиях истории и важнейших проблемах, а является их активным и непосредственным участником, идет в одном ряду со своими героями, делит все их испытания, тревоги, надежды, является их сподвижником и соратником.

Личное так явственно сочетается здесь с историческим, что не всегда подметишь, где одно переходит в другое.

Показательно в этом смысле стихотворение «Дом», где поэт говорит о петербургском здании, выстроенном лет двести назад, — сколько видели его стены, каких только событий не были они безмолвными свидетелями, каких только людей, оставивших после себя незабываемый след в истории, не повидали!

В годах необозримо дальних
Здесь Пушкин по Морской бродил
И к Смурову, в колониальных
Товаров лавку, заходил.

Пройдя в апрельский холод Невским
(И дневником сей факт храним),
Здесь был Шевченко с Лазаревским
И грелся джином огневым...

И об иных событиях, неизгладимых в горькой памяти, мог бы рассказать этот дом, только дай ему язык:

...в дни осады беспросветной
Все окна, как глаза, закрыв,
Дом только вздрагивал ответно
На недалекий бомбы взрыв.

Но этим стихотворение «Дом» не исчерпано; завершается оно весьма знаменательным для поэта признанием, бросающим какой-то новый отсвет на все то, что сказано в предшествующих строках:

Проходит век в огне и громе,
Смотрю в знакомое окно, —
Ведь я родился в этом доме...
Припомнить страшно, как давно...

Дом, ставший как бы воплощением истории Петербурга — Петрограда — Ленинграда, оказывается вместе с тем близким личной жизни поэта, его добрым другом, начиная с самых давних, детских лет, память о котором навсегда дорога и неизгладима.

В лирике Николая Тихонова даже и самые широкие темы, такие как дружба наших народов, как борьба за мир во всем мире, обретают вместе с тем и сугубо индивидуальные черты,

неповторимое звучание, что связано с личным опытом поэта, с его жизнью, ибо он не только мечтает о дружбе народов, но и стремится утвердить ее самой активной деятельностью.

Страстный певец и поборник дружбы народов, многое в своем творчестве посвятивший ее развитию, укреплению, Н. Тихонов верен ей и в новой книге. Вместе с ним мы проходим по улицам старого Ташкента, сидим вечером в чайхане с душевными друзьями Николая Тихонова — Айбеком и Гафуром Гулямом. И как не запомнить ту чайхану, где поэты разных народов находят не только общий язык, но и подлинное родство помыслов, стремлений, и все это порождает у них такой душевный отклик, что и весь окружающий мир становится в их глазах удивительным и прекрасным, как это и запечатлено в стихотворении:

Бородатые люди в белом,
Золотая в воде луна,
Хороша и душой и телом
Старых грешников чайхана...

Она описана здесь с таким восторгом и такой притягательной силой, что и любому читателю этих стихов поневоле захочется вместе с поэтом переступить порог этой чайханы и посидеть со «старыми грешниками» — ее задорными посетителями, мудрыми собеседниками, дружба с которыми порождает большие и задорные чувства!

А когда поэт поднимался над Севаном и путь уводил его словно бы в самое небо, то ему казалось, что дивные строки Туманяна, сверкающие, как эти покрытые снегом южные выси, сливаются с ними, пронизаны тою же горной свежестью, вызывают ту же жажду высоты и подъема, и это о них говорит Николай Тихонов, восторгаясь мощностью и мудростью стихов армянского поэта:

Как радуга, они связали выси
Людей и землю сказочных высот,
Звеня, светясь, земную страсть превысив
И бросив сердце в песенный полет!

Духом этого полета к новым и новым высотам пронизаны стихи Н. Тихонова.

В стихотворении «С юности мечтал я о Востоке» поэт говорит о том, как наяву сбылась его давняя мечта о путешествиях и как он побывал в самых далеких странах — не как праздный искатель экзотики и приключений, а как посланец Страны Советов.

И нельзя не вспомнить индийского мальчика Сами (о каком поведал нам поэт десятилетия назад!), когда в новой его книге мы читаем стихотворение «Индийский гость», посвященное тому, кто некогда пробирался в Москву глухими и опасными тропами, чтобы постигнуть правду и учение Ленина, а теперь стремительно перелетел через Гималаи, словно бы склонившиеся перед ним, чтобы воздать великую честь вождю и учителю трудового человечества.

Да, этот «индийский гость» и Сами — люди той же самой складки и закваски, герои освободительной борьбы, издавна нашедшие в лице советского поэта своего большого и отзывчивого друга.

Поэт, перелистывая страницы своей жизни, вспоминая «воздух стран полуденных», достойно и по праву говорит:

В городской или в зеленой чаще,
Может быть, и скажут обо мне:
«Это друг был добрый, настоящий,
Хоть и жил в далекой стороне».

О героях и героике нашего времени сказано много и многими и, нечего греха таить, нередко слова о них звучат отвлеченно и риторично. У Николая Тихонова сказано о подвигах с такою воодушевленностью и доподлинностью и так глубоко раскрыта в них личность самого поэта, что это не может не захватить читателя. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать одно из примечательных стихотворений книги: «Когда все то, что мы любили...».

Да, все то, что мы любим и что было светлым для сердца, подверглось в дни и годы ленинградской блокады величайшим испытаниям и смертельным угрозам. Казалось, подлинно человеческое обречено на гибель так же, как и эти дома, в те дни, когда смерть подстерегала людей на каждом шагу и косила их без счета.

Но именно Человек, как утверждает поэт с той правдивостью, в которой чувствуется и личный опыт одного из самоотверженных защитников осажденного Ленинграда, поднялся в эти дни в полный рост, обнаружил такие великие и несокрушимые, рожденные Октябрем силы, какие изумили весь мир, и Человек, воплощенный в облике верной подруги поэта, покоряет своей страстностью и душевностью.

Поэт поведал здесь об одной из героинь осажденного Ленинграда, связав с нею и свою судьбу, свои самые глубокие переживания и сокровенные чувства:

То не подсказывает разум,
То было в сердце все хранимо,
Всей жизнью я тебе обязан,
И это — неопровержимо!..

Чутко прислушивался поэт и к переживаниям бывалого солдата, за плечами которого огромный опыт сражений и испытаний. И если его ночью во сне будит какой-то глухой гул, он вскакивает, чтобы снова стать к оружью.

...Но в мире тишина,
И в тишине ночной
То эхо донеслось
Глухих воспоминаний
Из темной памяти,
Ожившей под луной...

О многом, пережитом нашими людьми, говорят эти глухие воспоминания. Здесь чутко запечатлен и внутренний мир поэта — с той сложностью присущих ему переживаний, тревог, какие далеко не всегда можно высказать со всею ясностью и определенностью.

Так во все, о чем поведано здесь, поэт вносит свое, сугубо личное начало, свою напряженную страсть. Перед нами словно бы наяву возникает и проходит его жизнь — в тех переломных моментах, от которых зависела не только личная судьба, но и судьбы всего мира, — об этой жизни он и ведет прямой разговор, подводя итоги, далеко выходящие за рамки личных и частных. Как же можно не отозваться на них?!

В книге «Времена и дороги» (как и во всем творчестве Николая Тихонова) утверждается деятельное отношение к жизни, беззаветная борьба за будущее, какая не оставляет места ни для чего мелкого, жалкого, эгоистически ограниченного. Подытоживая, поэт скажет, словно исповедуясь: «...в нашем пути непростом мы отдали главное людям...»

Эти скромные и гордые слова производят тем большее впечатление, что за ними — годы и годы великого труда, самоотверженной борьбы, суровых испытаний. Всем этим и засвидетельствована их истинность и непреложность, их весомость, уже подтверждающаяся тем огромным и многолетним жизненным опытом, о котором и поведал нам поэт на страницах своей книги.

Пафос, определяющий ее существо и ее наиболее характерные черты, и состоит в том, что перед нами здесь возникает образ человека, словно подытоживающего все, что составляет самую суть его жизни, и здесь нельзя не поразиться той целостности и последовательности, какие присущи ему всегда и во всем, начиная от мотивов и воспоминаний сугубо личных и вплоть до тех, какие стали судьбами мира и путями истории.

Именно потому так весомы и значительны свидетельства и голоса его неусыпной «отдельной памяти», что в ней неповторимо личное и сугубо индивидуальное является неотъемлемой частью общего, исторического, бессмертного.

Это определяет и характер книги «Времена и дороги», и не только ее содержание, ее материал, но и самую манеру повествования, самый стиль и слог — сдержанный, мерный. Да, все, чем так значительна и своеобразна новая книга Н. Тихонова, взаимосвязано и взаимообусловлено в своих наиболее характерных чертах и приметах.

В ней захватывает «особого величья простота» (говоря словами ее автора), насыщенная глубоким смыслом и заставляющая задуматься о многом, многое пережить и перечувствовать вместе с поэтом.

И потому она могла бы стать хорошей школой для наших молодых поэтов, которые подчас слишком робко берутся за большие общественные темы и вопросы нашей современности (а то и вовсе обходят их), ограничиваясь областью непосредственных впечатлений и преходящих настроений, граждански аморфных и общественно нейтральных. Книга «Времена и дороги», вся проникнутая пафосом героики, активного вмешательства в жизнь нашего общества и судьбы всего мира, кровной заинтересованности в ходе тех исторически знаменательных событий, свидетелем и участником которых являлся поэт, — пример подлинно новаторского, граждански зрелого и реалистически полнокровного искусства.

■

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА СВЕТЛОВА

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ

СТИХИ-ТОВАРИЩИ

Михаил Светлов принадлежит к славному поколению ровесников двадцатого века. Не так уж важно, что родился он в девятьсот третьем, а не точно в девятисотом. Существенно то, что поколение это встретило свою юность одновременно с Революцией. Она творила и создавала, формировала и закаляла их души и характеры, она сделала их поэтами.

В советской поэзии получилось так, что на рубеже каждого десятилетия появлялась новая шеренга поэтов, представителей и выразителей мыслей и чувств поколения.

Маяковский, Есенин... Приближается и наступает пора их восьмидесятилетия.

Багрицкий, Светлов, Щипачев, Сурков, Безыменский, Исаковский, Кедрин, Жаров, Прокофьев, Уткин — семидесятилетние. Надеюсь, читатель примет эту мою «таблицу» поэтических поколений во всей ее условности и неточности. К перечислению имен прошу тоже отнестись снисходительно: выяснилось, что, чем подробней список поэтов того или иного поколения, тем менее он полон...

Дело, конечно, не в паспортном возрасте, а в том, какие характерные особенности времени и облика современника отразили эти поэты.

В шеренгах наших молодых поэтов время и читатель еще сделают свой отбор. Будем надеяться, справедливый и точный. Я говорю об этом по праву «долгожителя». Рядом со Светловым возникали поэты бурного успеха, ныне и имен их не помнит никто! Молодому читателю могу рассказать, что при всем редкостно добром отношении и литературной среды и читателя к поэзии и личности Михаила Светлова его несколько раз на протяжении творческого пути полагали (а то и объявляли) исчерпавшим свои возможности, исписавшимся, замолчавшим. Впервые

было так в самом начале, примерно в 1924 году, вторично — после 1927-го, после «Гренады», «Рабфаковки», «Перед боем», «В разведке», когда эти шедевры лишь начинали путь к читателю.



Путь Михаила Светлова невозможно изобразить, как на диаграмме, линией, идущей только вверх. Да и нужны ли диаграммы творческого пути? Правильней рассматривать его во всей сложности, трудности, противоречивости.

Одно можно сказать в точном соответствии с истиной: Светлов в разные периоды своей жизни и творчества, в творениях своих самых лучших и в тех, которые можно назвать рядовыми, всегда оставался самим собой.

Существует утверждение, что почерк — одно из самых постоянных и определенных выражений и свидетельств характера человека. Почерк стихотворца — иная материя. Есть у нас (и были всегда) стихотворцы, умело повторявшие и даже украшавшие чужой почерк, менявшие свой в зависимости от мод и литературных обстоятельств. Правда, в конечном счете выяснялось, что такие авторы не поэты, а лишь стихотворцы. И все же свой почерк поэта — явление столь же редкое, как талант, да и является неотрывной частью таланта.

Светлов всегда говорил своим голосом и писал своим почерком. Это же было для него основным в оценке других поэтов. Он любил рассказывать, как нашел клочок газеты со стихами, причем случайно фамилия автора оказалась оторванной. Это Смеляков, сказал Михаил Аркадьевич. Стихотворение, созданное настоящим поэтом, сразу узнаешь! Даже по недостаткам — и они характерные, свои, а не чьи-нибудь.

Итак, семьдесят лет Светлову. Жизненный путь поэта, точнее говоря, его личная биография оборвалась уже почти десять лет назад. Но, как это бывает с подлинной поэзией, прошедшее десятилетие лишь дало новую жизнь стихам Светлова. Многое теперь стало видней, выпуклей и определенней. Какие-то «проходные» стихи отшелушились, зато все, представляющее подлинную ценность, избавилось от налета мелкой будничной пыли.

Но я не могу умолчать и о том, что сформировалось и в каких-то читательских сферах бытует упрощенное представление

о Михаиле Светлове, как об авторе одного, замечательного, а все же одного произведения.

Речь идет, конечно, о «Гренаде», к которой иногда еще снисходительно добавляют «Каховку».

Не один Светлов в таком положении. С легкой руки равнодушных перечислителей и регистраторов и других поэтов делают авторами лишь одного произведения. Читателю навязывается стереотип, заменяющий полное представление о поэте, затрудняющий вход в страну его поэзии. Вот что по этому поводу говорил сам Светлов:

«Вот уже много лет ко мне приходит эхо «Гренады»... В этом, конечно, заключается большое счастье, но есть и ощущение горечи. Неужели же я — автор только одного стихотворения? Хочется думать, что это не так».

(Я цитирую по сборнику «Беседует поэт». Но мне и самому не раз приходилось слышать от Светлова примерно те же соображения.)

Мы самих себя обедним, если почтем «Гренаду» единственной и одинокой вершиной творчества поэта. Творчество поэта — скорее горный хребет, чем одинокая вершина. Есть и ущелья, и долины, и высокогорные плато.

Как замечательно, что герой «Гренады» вовсе не одинок в книгах поэта. Мечтатель из «Гренады» воскресает в новых стихах поэта, как и в новых поколениях. Ему не раз еще предстоит снова сражаться и, если надо, снова погибнуть.

Парень, презирающий удобства,
Умирает на сырой земле.

Герои Светлова сражаются за великие идеалы, отдают Революции все, в том числе и жизнь. Нет ли излишней и навязчивой жертвенности в этом? Нет, и не может быть. Прочитайте внимательно книги Светлова, и вы непременно заметите одну повторяющуюся мысль, но повторяется она бесконечно разнообразно, как это бывает с пламенем: в чистой и доброй жажде сделать людей счастливыми поэт все время стремится к спасению, а то и сказочному воскрешению своих героев.

Эта мысль заявлена в далеком 1927 году в стихотворении «Живые герои»:

Я сам лучше кинусь
Под паровоз,
Чем брошу на рельсы героя...

Ироничные, почти шутливые, но глубокие строки. И дальше героям Светлова придется смотреть в глаза смерти. Но поэт все время будет мучительно искать возможности для спасения своих героев. В 1943 году в стихах о Лизе Чайкиной он воскликнет:

Не хочу присутствовать в конце,
Дай еще раз мне побыть в начале!

А после войны, в 1946-м, он напишет замечательное стихотворение «Возвращение». Не могу не процитировать его начало:

Ангелы, придуманные мной,
Снова посетили шар земной.

Сразу сократились расстоянья,
Сразу прекратились расставанья,
И в семействе объявился вдруг
Без вести пропавший политрук.

Будто кто его водой живою
Окропил на фронтовом пути,
Чтоб жене его не быть вдовою,
Сиротою сыну не расти.

Я — противник горя и разлуки,
Любящий товарищей своих,
Протянул ему на помощь руки —
Оставайся, дорогой, в живых!

В этом стихотворении много еще прекрасных образов и мыслей, но это начало — благородное кредо поэта, пронесенное сквозь всю жизнь и по страницам всех книг.

В пьесе «Двадцать лет спустя» комсомольцы двадцатого (точнее — девятнадцатого) года поют:

Но наши дни, но годы боевые
В сохранности в грядущее нести
Мы обещаем вам, чтоб рядом, как живые,
По Красной площади в октябрьский день пройти.

Во что бы то ни стало — «как живые». Вот что важно в поэзии Светлова. Не этой ли неукротимой и неугомонной верой так привлекла она нас?

Светлов — это точные и мудрые стихи сорокалетнего диапазона 1924—1964, это пьесы «Сказка», «Двадцать лет спустя», «Глубокая провинция», «Бранденбургские ворота», это песни — и перевод знаменитой «Средь нас был юный барабанщик», и яркое свидетельство военного времени «Фонарик» с музыкой Шостаковича. Как видим, вовсе не одиноки «Гренада» и «Каховка»!

В последние годы жизни поэт сложил совершенно юношескую по своей прозрачности и самую зрелую свою книгу «Охотничий домик». Именно она, эта книга, удостоена Ленинской премии. Хочу привести одно из самых чудесных ее стихотворений. Оно написано — по форме — в несвойственном Светлову восточном стиле, но автора сразу узнаешь:

Все ювелирные магазины —
они твои.
Все дни рожденья, все именины —
они твои.
Все устремленья молодежи —
они твои.
И смех, и радости, и песни тоже —
они твои.
И всех счастливых влюбленных губы —
они твои.
И всех военных оркестров трубы —
они твои.
Весь этот город, все эти зданья —
они твои.

Вся горечь жизни и все страданья —
они мои.
Уже светает.
Уже порхает стрижей семья.
Не затихает,
Не отдыхает любовь моя.

Когда меня просят рассказать о Светлове, я сначала читаю это стихотворение, написанное поэтом в 1960 году. Я ясно представляю себе, как оно возникло. Наверное, Светлов переводил таджикских или узбекских товарищей, вошел в ритм повторов и редифов, и не без озорства подумал — надо попробовать и свое сказать в этом стихе. И вдруг, мне кажется, очень быстро восточная форма обернулась совсем-совсем светловскими строками.

Да, когда спрашивают о поэте, прежде всего надо читать его стихи. Именно это убеждение заставило меня приводить в статье о Михаиле Светлове обширные цитаты. Хочу, чтобы читатель — человек нового поколения, который уже не мог, не успел увидеть и услышать живого Светлова, читал прежде всего его стихи.

Призыв мой не покажется странным тем, кто прошел по страницам довольно обильной и не всегда серьезной литературы о Светлове, распространившейся за последнее десятилетие: Светлов улыбается... Светлов шутит... Светлов смеется...

Да, Светлов был ироничен, остроумен, его речь изобиловала парадоксами. За четверть века нашего знакомства я имел возможность убедиться в этом. Но шутка, афоризм, улыбка всегда сопутствовали главному. А главным были поэзия, стихи. Чего греха таить, вокруг Светлова роились порой и мастера и поклонники острословия, не пошедшие дальше этого речевого жанра. Каждое в отдельности воспоминание о шутках Светлова, быть может, и достоверно, хотя бы приблизительно. Но ни в коем случае нельзя выдавать случайно оброненные фразы за литературное наследство поэта.

На минуту консолидируясь с незадачливыми «воспоминателями», скажу, что Михаил Аркадьевич терпеть не мог анекдотов и анекдотчиков. Он считал юмор анекдотов заемным, навязанным, а потому дешевым. Вот остроумная реплика в споре, пронзительная оценка только что происшедшего события — это было в духе Светлова. Это он умел и ценил в других. Но передать шутку, родившуюся как ответ, как реплику и сменяющуюся новыми репликами в еще не закончившейся беседе, — занятие почти невозможное. Вокруг Светлова разрастается литература реплик. В ряде случаев из-под груды обрывочных фраз уже и стихов не видно! Призываю читателей, при всем естественном и правомерном интересе к личности поэта, искать эту личность прежде всего в его произведениях, а воспоминания и не очень точно закавыченные или раскавыченные (ужасные термины!) цитаты рассматривать лишь как дополнительный материал. Все же лучшим дополнением к произведениям поэта является вторжение стихов в чужие жизни, их верное товарищество.

Стихи Светлова — товарищи верные!

■



ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК

Среди суждений Л. Н. Толстого об искусстве есть замечание о том, что «в художественном произведении главное — душа автора!». Искусство состоит в том, говорил Толстой, что один человек, то есть художник, сознательно, известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их.

Но чтобы возбудить в других людях чувство сопереживания, художник должен обладать способностью пластического изображения обстановки, действий, лиц и характеров.

Мастером пластического изображения, художником слова с полным основанием можно назвать Михаила Алексеева. Его романы и повести, выходившие в разное время на протяжении двадцати пяти лет, получили признание широкого круга читателей значительностью содержания, естественной живостью образов, волнующей искренностью чувства, многоцветностью и многозвучностью изображаемых картин жизни. Эти черты таланта Михаила Алексеева отмечали и литературная критика и другие художники слова, в том числе такой взыскательный мастер, как поэт Н. Асеев. Но вот вышел двухтомник избранных произведений писателя *, и это дает повод говорить уже не об отдельных романах или повестях, а о том главном, что Л. Н. Толстой назвал «душой автора».

Отбор произведений, сделанный автором для этого двухтомника, не случаен. Представленные в нем романы и повести посвящены главной теме всего творчества Михаила Алексеева: земля и на ней человек.

Земля не в планетарном смысле, не пылинка, летящая в космосе, а мать-земля, о которой с сыновней любовью писателем сказано: «...То теплая и влажная, курящаяся паром, исполненная нетерпеливой жажды материнства; то вновь ожившая, вся в буйном, шалом цветении; то опять в гейзерах взрывов, в дыму, в заревах все пожирающих пожарищ, и все-таки

Михаил Алексеев, Избранное в 2-х т. М., «Художественная литература», 1972.

вечно живая, жизнежаждущая и жизнетворящая...»

И человек—не праздный житель на ней, а сеятель и хранитель, терпеливо и трудно оплодотворяющий ее жесткое лоно, выращивающий хлеб и плоды, создающий и утверждающий жизнь.

Вспомним «Вишневый омут». В этом романе широко раскрывается своеобычный мир с его страстями, горестями и радостями, смертями и рождениями, любовью и злобой, с надеждами и свершениями. Это не Зурбаган и не Лисс, созданные фантазией сочинителя, а Савкин Затон, реально существующий на нашей земле. Нам кажется, что мы идем по тропинкам, где только что ступали крепкие ноги Михаила Харламова и Фроси-вишенки, слышим утренний крик петуха и тревожно вглядываемся в мрачную глубину Вишневого омута...

Во второй половине минувшего века пришел сюда добрый человек, голубоглазый силач Михаил Харламов, мечтавший о том, чтобы раскорчевать дикое место на берегу реки Игрицы, против Вишневого омута, и насадить сад, в котором было бы все: яблони, вишни, терн, сливы, смородина, крыжовник, малина. И еще мечтал этот человек жениться на любимой девушке Уле, дочери Подифора Короткова.

И вот зацвел его сад. С яблонями, вишнями, крыжовником и малиной, с нежным волнующим запахом, с птичьим пеньем, с высоким небом над ним. Люди, сами того не замечая, делались тут добрей, покладистее, внимательнее и предупредительнее друг к другу.

Но не осуществилась вторая мечта Михаила Харламова.

С давних времен заправилой жизни в Савкином Затоне был богатей Гурьян Савкин. Свой мираж был у этого человека, «радужный мираж красненькой» — неистребимая жажда стяжательства. Прельстившись родством с богатеем, Подифор Коротков отказывает Михаилу Харламову и выдает Улю за немилого ей Андрея Савкина.

Пережив горе, Михаил Харламов женится на тихой, безответной Олимпиаде, которая народила ему сыновей и всю жизнь оставалась верной женой, только жаркого счастья и светлой любви у них не было.

Столкновениям Харламовых с Савкиными, добра со злом посвящено в романе много правдивых и сильных страниц, много картин, написанных живо и смело, поднимающихся до символических обобщений, как, например, самая смерть Гурьяна Савкина в поединке с быком: зверь убивает зверя.

О жизни трех поколений крестьянской семьи Харламовых поведал Михаил Алексеев на страницах своего «Вишневого омута».

Почти столетие прошло перед нами. И какое столетие! Войны и революции, сокрушение царского строя и рождение власти труда, коллективизация деревни и раскулачивание стяжателей, обновление земли и великая битва за эту родную русскую землю. Ничто не прошло стороной мимо Савкина Затона. Все коснулось героев романа, сказалось на их судьбе. И все это входит в память не просто перечислениями, а живыми картинами бурного ве-

ка, страстью, горечью, надеждой и верой.

Перевернув последнюю страницу романа, пережив всю горечь и боль, выпавшую на долю героев этого произведения, все же утверждаешься в вере, что харламовским садам суждено процвесть новым цветом. Веришь в это, потому что писатель показал нам не только Михаила Харламова, заложившего сад на дикой земле у Вишневого омута, но и таких устроителей жизни, как Федор Орланин, который борется за то, чтобы поднялись на многострадальной земле сады социальной справедливости.

«В каждом — малом, большом ли — селении есть некий «набор» лиц, без которых трудно, а может, даже и вовсе невозможно представить себе само существование селения. Без них оно утратило бы свою физиономию, свой характер, более — свою душу...» Этими словами, предпосланными повести «Хлеб — имя существительное», Михаил Алексеев предваряет читателя о своем намерении рассказать о людях колхозного селения Выселки.

Бок о бок живут в Выселках люди, для которых хлеб — имя существительное, то есть основа их бытия. Таковы прежде всего секретарь сельской парторганизации Аполлон Стышной, добровольный хранитель леса Меркидон Люшня, «вечный депутат» — колхозный кузнец Акимушка, неутомимый сельский опытник Егор Грушин, старик Кузьма Удальцов, по-уличному — Капля, строгая, чистая, как капелька ясной росы, молодая вдова Марфа Лунина, по-сельскому Журавушка, и многие другие, вместе составляющие мир Выселок. Этот мир и является главным героем повести.

Мир Выселок неоднороден и состоит не только из добрых людей. Существуют в нем и такие, как Василий Маркелов, прохвост и хапуга, охваченный страстью наживы, или вертопрах и пустомеля Самонька, метнувшийся из деревни «на сторону» и приезжающий в Выселки лишь затем, чтобы похвастаться своей якобы высокой должностью в городе, или вороватая вековуха Глафира.

Но не на них держится жизнь. Основу сельского мира, его фундамент составляют люди, в сознании которых существеннейшее из имен существительных — хлеб — неразрывно связано с заботами о коллективном хозяйстве, в укреплении которого видят они и свое личное благополучие.

Образ Журавушки проходит через всю повесть, сцепляя отдельные главы ее в единое целое. И хотя внешне повесть «Хлеб — имя существительное» выглядит как ряд самостоятельных картин жизни и быта колхозного селения Выселки, как галерея портретов его обитателей, по сути своей это очень цельное, остро и глубоко социальное произведение, показывающее материальные и нравственные устои современной деревни.

Пронзительной силы чувства и яркой точности изображения горького, ушедшего в прошлое мира деревенской жизни достиг Михаил Алексеев в небольшой по объему повести «Карюха».

В «Карюхе» с наибольшей полнотой нашла свое выражение душа художника, его любовь к труженикам земли.

Говоря о деревенских рома-

нах и повестях Михаила Алексеева, нельзя не отметить того, с каким сердечным сочувствием и светлой нежностью созданы автором образы женщин-тружениц Ули Коротковой, Фроси-вишенки, Журавушки или героини романа «Ивушка неплакучая» Фени Угрюмовой!

Есть что-то некрасовское в отношении Михаила Алексеева к русской крестьянке. Он глубоко проникся пониманием женского горя, неизбывных женских забот и великой всепобеждающей силы женской души, которую можно сравнить разве что с силой самой матери-земли и кормилицы всего сущего.

Но если героини «Вишневого омута» вызывают сочувствие прежде всего глубиною печали и горя, то Журавушка, а тем более Феня Угрюмова особо привлекательны нравственной чистотой и силой своих убеждений. Это уже героини нового времени, беззаветные труженицы новой колхозной деревни.

В романе «Ивушка неплакучая» Михаил Алексеев показывает жизнь деревни в суровые годы Великой Отечественной войны, когда почти вся тяжесть забот о земле и хлебе легла на женские плечи.

В центре внимания писателя — судьба еще совсем молодой колхозницы Фени Угрюмовой, которую муж ласково называл Ивушкой неплакучей. Выросшая в большой трудолюбивой семье, Феня-Ивушка в конце тридцатых годов вышла замуж за председателя сельсовета Филиппа Ивановича, незадолго до того отслужившего свой срок в армии. Вышла не то что по любви, а по уговору матери своей Аграфены Ивановны, беспокоившейся о том, как бы дочь ее не засиделась в девках. Но недолго прожила Феня с мужем. Вскоре после свадьбы Филипп Иванович уехал добровольцем в Испанию, воевать против фашистов и погиб там. Так на девятнадцатом году жизни осталась Ивушка неплакучая вдовой да еще с ребенком...

Потом началась Великая Отечественная. Мужчины ушли на фронт. В деревне остались женщины, старики да малые дети. Феня, как и другие сельские женщины, принимает на себя все заботы о коллективном хозяйстве, становится душой и совестью общего дела, примером своим ободряя и поднимая подруг.

Долго не забудут люди то лихолетье. Заревами кровавых сражений, тяжким непосильным трудом, голодом и лишениями, горючими слезами вдов и матерей, примерами самоотверженности и бессмертными подвигами отмечены военные годы в народной судьбе. И неотделимо от народной судьбы складывалась судьба Ивушки — Фени Угрюмовой.

Кроме романов и повестей, посвященных изображению деревенской жизни, в двухтомник Михаила Алексеева, как уже сказано, вошли автобиографическая повесть о войне и рассказы из фронтового блокнота. Однако было бы неправильно особо выделять их лишь на основе тематического признака, ибо по своему духу они отвечают общей идейно-художественной направленности творчества писателя. Кроме того, герои военных произведений Михаила Алексеева в большинстве своем те же самые труженики земли, только облаченные в солдатскую форму. «Так уж испокон веку на

Руси: при вражеских нашествиях сеятель сейчас же становится воином, что дало Некрасову основание окрестить нашего мужика Сеятелем и Хранителем родимой земли. Сеятель и хранитель, пахарь и солдат, по-видимому, останутся главными моими героями до конца дней моих», — говорит сам писатель в очерке «Сеятель и Хранитель» (журнал «Наш современник», 1972, № 9).

Собранные вместе романы и повести Михаила Алексеева представляются эпическим полотном, отобразившим подвиг не одного поколения наших тружеников. Но в этом как бы едином эпическом произведении отчетливо звучит лирическая струна, являющаяся одной из отличительных черт художнического дарования писателя.

Особенно поэтичны у Михаила Алексеева картины природы, на фоне которых развертываются действия его деревенских героев. Описания природы у Михаила Алексеева не идилличны. Они проникнуты любовью к земле и заботой о ее красоте и богатстве.

Местом действия большинства произведений Михаила Алексеева является Поволжье, и говоря точнее — милая его сердцу Саратовщина. Это не случайно. Здесь в селе Монастырском, по-старому Баландинского, а теперь Калининского района Михаил Алексеев появился на свет. Как большинство крестьянских ребятишек, он с детства приобщился к нелегкому земледельческому труду. Для него это было тем более необходимо, что после смерти родителей в 1933 году, будучи еще подростком, он остался сам себе голова. Самому пришлось и пахать, и косить, и корову доить, словом, делать все, что умеют и делают деревенские люди. Вот почему деревенская жизнь, ставшая впоследствии главным предметом его писательского труда, известна ему в достоверных подробностях, а герои его произведений — будь то жители Савкина Затона, Выселок или Завидова — это люди, знакомые ему с детства, и даже родные.

В то же время герои произведений Михаила Алексеева — если иметь в виду любимых героев — являются как бы доверенными лицами автора, выразителями его сокровенных мыслей, его идей. Но ведь и сам он, утверждая своими произведениями идеи социальной справедливости, свет и добро, служит земле и человеку на ней. Именно в такой органической связи искусства с жизнью и заключается великая сила литературы.

Виктор ПОЛТОРАЦКИЙ

ПЕСЕННЫЙ ЛАД

«Ничто так не омолаживает слово, как поэзия», — заметил однажды Паустовский. Это высказывание вспомнилось мне при чтении книги Александра Говорова «Сеятель».

Заметим прежде всего, что

Александр Говоров. Сеятель. М., «Советский писатель», 1972.

основные произведения сборника напоминают небольшие поэмы. И хотя, с другой стороны, жанр «чистой», так сказать, поэмы представлен в книге только одним произведением — «А на то у селезня зеркальца на перьях...», в пользу сказанного могут свидетельствовать такие вещи, как «Семейные речи», «Мы часто говорили по ночам...», «Русские сказки». Они явно тяготеют к жанру поэмы. Основную причину этого я вижу в стремлении автора глубже, объемнее осмыслить лирическую тему, в простом, обычном, даже обыденном раскрыть не только свои личные переживания, но и увидеть высокую поэзию человеческих отношений и поступков.

Вникая в стихотворные строки, видишь, что автор «Сеятеля» и его лирический герой связаны не просто глубоким личностным чувством, но одним отношением к деревенским будням, к природе, к земле, к жизни в целом. И не случайно как лейтмотив проходит через всю поэму старинная народная песня: «А на то у селезня зеркальца на перьях, чтоб уточкам глядеться. А на то на свет рождаются, во-первых, чтоб Земле понравиться...» Эту глубокую мысль о подлинном назначении человека, отраженную в песенном фольклоре, поэт многозначно развивает во многих своих стихах.

Сей,
Сеятель,
Сей! —
Искрится на солнышке
Просо,
И сыплются зернышки
Косо
По пашне пахучей твоей.

Мне дороги эти строки своей гражданской направленностью, емко выраженной мыслью и проникающим их искренним чувством. Переосмысление нелегкого крестьянского труда ведет к широким логическим обобщениям, оправданным сопоставлениям, где слово, сохраняя эмоциональность и экспрессию, не утрачивает предметности. При этом автор каждый раз задумывается над тем, как наиболее точно передать поэтическую метафору. Неоднозначное употребление поэтом этой стилистической фигуры наглядно иллюстрируют строфы из взятого наугад стихотворения:

Сытный дух, исходящий от хаты,
Подмороженный воздух вдыхал.
Словно витязь в сверкающих латах,
Самовар на столе закипал.

А. Говорову близок мир русской народной сказки, фольклорные образы легко и свободно, органично входят в его поэзию. Но этот сказочный мир, рисуемый на фоне знакомых вещей и простой деревенской природы, далек от таинственности, он выглядит естественным и добрым, а потому доступным детскому мышлению. Судите сами. Вот перед нами

...Домовой
Сидит на теплой печке
И завивает над трубой
Седой дымок в колечки.
Сидит,
Усами шевелит,
Степенный,
Добрый,
Сытый...
И мир
да
лад
В избе хранит
Хозяин домовитый.
(«Русские сказки»)

Вот Лесовичок, который, прежде чем сесть за «скатерть-самобранку», сначала залечит ранку на «могучем ство-

ле» дерева, «...добрый даст совет шмелю, где нынче меда больше, поможет к дому муравью нести бревно...».

С теплой иронией рисует также поэт добродушную фигуру трудяги Водяного, который «в век этой самой... химии» «не спит ночей», чтобы была «река — чиста и чист — ручей, колодезь каждый вычищен...».

Все «волшебные» герои поэта, как видно, заняты чисто земными делами, им свойственны обычные людские заботы. И было бы ошибочным думать, что нарочитое снижение этих образов ведет к пародийности восприятия. Напротив, благодаря именно отказу от традиционного осмысления действий и поступков этих необычных существ в характерном для них сказочном плане поэт достигает предельной реальности и художественной выразительности.

Отдельно хочется сказать о языке поэта. Пишет он не столько о своих личных думах, но в основном о деревне, о речке Сейм, о лошадях, о дожде, о ветре, о земле, о матери, о своем одноногом дядьке-трактористе, который «в танке горел, да не сгорел». Во всем этом поэт не повторяется, находит для каждого своего произведения верные краски и нужный ритм. Язык его отличают слаженность, энергичность и в то же время напевность слова, то задумчивая, печальная, то, наоборот, в ней просверкивает звонкая удаль, вся она так и искрится весельем, светом:

Радуга, радуга,
Ой, дид-ладо, чудо!
Радуйся,
радуйся!
Возрадуйтесь, люди!
Возрадуйтесь дождичку —
Лей,
разливайся.
Возрадуйтесь зернышку —
Пей,
напивайся.
(«Косой дождь»)

Одно из стихотворений А. Говорова начинается такими словами: «Кого люблю — того порадую. А не порадую — простят». Мне кажется, что эти строки как нельзя более отвечают внутренней напряженности его поэзии, жизнеутверждающей по сути, где автор сумел передать драму человека, которого война «оторвала от дел» и который так и не сумел оправиться от ее ран. Герой поэта — его родной дядька — живет не только воспоминаниями о войне, храня память о командире, который «не дожил до Победы». Хотя эти воспоминания составляют кусок его жизни, трезво и реально смотрит на вещи этот умудренный суровым опытом человек. Он понимает, что жизнь, несмотря ни на какие потери, продолжается, а раз жизнь продолжается, то надо продолжать делать добро людям. Это простое и ясное понимание своей жизненной линии, уходящее в истоки народной психологии, он лаконично высказывает студенту-племяннику:

...Могу ведь я племяннику
Подбросить и деньжонок!
Учись!
А я уж с трактором!
Стремись
Теперь повыше!..

Авторские отступления, проникнутые задушевным лиризмом, вплетаясь в повествование, составляют с ним одну неразрывную связь. Нет, не скрыться поэту в его «лирическом убежище», как назвал А. Говоров одно из своих стихотворений. Раздумья автора в поэме полны личной боли за все происходящее вокруг. В них не только трагическое

осознание бесповоротности бытия (особенно острое в силу безвременности случившегося), но одновременно живое дыхание жизни, запечатленной в нехитрой крестьянской песне-аллегории.

В бубен ударю — бубен
молчит,
Словно медали —
Листья ракит.
Я снова приехал.
Изба как изба —
Над черной застрехой
Чудная резьба.
Но что-то такое
Почудилось мне.
С такою
тоскою
Ступал по земле,
Как будто земля —
И та
и не та.
Собралась семья —
А изба-то пуста.

Да, вместо дядьки с его милыми чудачествами вернувшегося в родные места поэта встречает лишь «тихий погост». Не выдержало, разорвалось еще одно хорошее человеческое сердце. И боль непоправимой утраты сливается в сознании поэта с уже слышимой «песней просторной», напоминающей живым о жизни...

Ради объективности надо сказать, что в книге А. Говорова встречаются и строки небрежные, порой неуклюжие, вялые, встречаются и неоправданные, излишне красивые либо просто неточные сравнения. Нельзя не заметить и печальных несовпадений между замыслом и его осуществлением в некоторых лирических стихах. Нельзя пройти и мимо прямых заимствований (например, в стихотворениях «Я зимние запомнил вечера», «Природа за ночь так продрогла...») из других поэтов (в частности, С. Есенина) и т. д.

На мой взгляд, не растрачивая безудержно своего лиризма, А. Говорову следует сосредоточиться на большой поэме. Именно здесь его ждут новые удачи и свершения.

А. ШАГАЛОВ

ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ

По новым правилам приема в вузы к отметкам, полученным на вступительных экзаменах, приплюсовывается средняя оценка школьного аттестата. Для золотого медалиста — это лишняя пятерка в экзаменационной ведомости и, соответственно, больший шанс оказаться в числе студентов.

Но все-таки по-прежнему юношу или девушку, окончивших школу с медалью, подстерегает обидная случайность. Из-за понятного волнения так легко потерять драгоценный балл, — и вот пошли насмарку десять лет упорного труда.

И тогда недавний ученик вправе задать вопрос, в котором его «учитель впервые почувствовал некий нечистый тон»: «...зачем устраивается эта ходынка... из года в год?»

Геннадий Матвеевич, герой рассказа «Поздний костер» из последней книги Анатолия Знаменского *, по инерции от-

* А. Знаменский, Не белы снега. М., изд-во «Советская Россия», 1972.

ветит своему бывшему ученику Саше Чередниченко: «Цель одна. Выявить наиболее способных, трудолюбивых. Талантливых, наконец...

— Так. А медалист — это что?»

Саша тем более вправе спрашивать так, поскольку новые правила действуют лишь первый год. А в его время золотая медаль, что «была полновесной, как высший орден», не давала ему ровно никаких преимуществ.

Так что же сказать на это парню?

Старый учитель промолчит, потому что не захочет снова ссылаться на «сложность и многообразие жизни, не вмещающейся в логику общедоступных правил», — ведь сам он всегда учил ребят проникать в существо проблем, вызывающих такие жизненные «осложнения». И если в тот момент Геннадий Матвеевич сгоряча спрашивает себя: «Почему нет доверия школе, куда подевались стимулы, черт возьми?» — надо полагать, и ответ ему хорошо известен: не во всех школах медали «обеспечиваются».

Так что сложность здесь реальная, объективная, сущность которой не столько постичь трудно, сколько устранить. И об этом учитель мог бы, конечно, напрямую поговорить со своим воспитанником, если бы не занимало тогда Геннадия Матвеевича другое обстоятельство, столь же реальное, такое же жизненное, постичь которое Геннадий Матвеевич, однако, не мог.

Только что старый учитель столкнулся с «тупой злобой», непонятным «презрением ко всему на свете».

Впрочем, определение «непонятное» выбрано Геннадием Матвеевичем не совсем точно.

Что может быть непонятного в самом дерзком и хулиганском поведении пятиклассника Пети Угарова, если его отец — пьяница и его методы «воспитания» очень далеки от педагогики. Естественно, что мальчишка озлоблен, домашняя обстановка, где паренек беззащитен, а родители безнаказанны, вызывает у него желание отыграться на ком-либо. Где еще проще это сделать, как не в школе?

Здесь, наоборот, все даже слишком понятно, недаром и Геннадий Матвеевич после посещения семьи Угаровых приходит к выводу: «Парень в этой истории, как я понял, не виноват».

Но и второй случай — семнадцатилетний Степка, бывший ученик Геннадия Матвеевича, а ныне школьный шофер, привозит старого учителя с женой на дальние огороды, отведенные преподавателям под картошку, и оставляет их ночью одних посреди чистого поля — тоже, в общем-то, немногим сложнее. Да, сейчас «они терпели нелепое, глупое, непредусмотренное хамство, которое даже не ведало, что оно творит...» Но чего же еще ожидать от всегдашнего лодыря, которого, несмотря на все это, обхаживали — как сына матери-одиночки — всей школой, так что Геннадий Матвеевич сам два раза в год писал акты о материальной необеспеченности своего ученика? Конечно, помогать следовало, но при одном лишь условии: чтобы в ответ на эту заботу парень старался, чтобы он ценил... Но «условие» это не соблюдалось Степкой. И теперь «Геннадий Матвеевич медленно

ходил по дороге, все ждал чего-то, и невероятная, недопустимая ярость поднималась в нем, желание кому-то и за что-то отомстить».

Без сомнения, в этот момент старому учителю простительно забыть, что в том, каким вырос Степка, повинен и он сам. Ведь это кажется таким естественным, что на добро человек должен отвечать только добром. Петя Угаров просто не видел доброго. Но этот-то как смеет не ценить тех, кто отдавал ему силы, не чувствовать себя в долгу!

И как теперь решать эту проблему? Ведь это действительно проблема, хотя их только двое таких: Гена да Степка.

Поставив эту проблему в центр повествования, автор не может, не греша против художественной правды, сам снять ее. Между тем «Поздний костер» заканчивается так: посреди ночи в поле появляется попутный мотоцикл, а потом еще за Геннадием Матвеевичем приезжает грузовик, о котором позаботился... Саша Чередниченко. Мотоцикл же принадлежит начальнику станичной милиции, который ездил разбираться, как случилась авария, в которую попал пьяный Степка, оттого-то, выходит, он и не приехал.

Ярость, душившая Геннадия Матвеевича, после этого прошла, более того, он даже снова забеспокоился о Степке. Вскоре, однако, ход его мыслей переменился:

«Странное дело, только что стряслась с человеком беда, и не с чужим, а с близким, во всяком случае, хорошо знакомым парнем, Степкой Волковым... Напился Степка, разбил машину и пойдет под суд... Но ни сожаления, ни злорадства не испытывал Геннадий Матвеевич, как будто ничего, в общем, не случилось, либо то, что случилось, не могло уже тронуть его, усталого и равнодушного».

Что ж, возможно, конечно, и такое художественное решение: даже столь отзывчивого человека бессердечие и невнимание других доводят до равнодушия. И все-таки, думается, для поставленной проблемы органичнее был бы драматический исход повествования, тем более что усталость Геннадия Матвеевича временная, а из последних строк рассказа мы узнаем, что старый учитель уже готов снова «сеять разумное, доброе, вечное»: «Пора было подниматься к новому рабочему дню...»

Такой облегченный взгляд на воссоздаваемую жизнь еще отчетливее просматривается там, где А. Знаменский берется за более широкое изображение действительности.

Сразу надо сказать, что глаз писателя зорок, а ухо чутко. Он хорошо видит, а особенно слышит своих персонажей — наших современников, родных ему тружеников кубанских полей и предгорий, — например, героев повести «Осина при дороге». Таких, как механизатор Василий Рыжиков, сторож Веденев Трофим Касьянович с его бабкой-«воительницей», звеньевая Агриппина Зайченкова и управляющий совхозным отделением Белоконь, А. Знаменский наверняка «подсмотрел» и «подслушал» если не в подлинном хуторе Веселом 2-м, то уж точно, что в подлинной жизни. Потому-то нам интересно узнавать их судьбы, следить за их мыслями, наблюдениями.

Однако простым списыва-

нием с натуры писатель удовлетворяться, конечно, не может. Его задача — проникнуться делами и заботами своих, взятых из действительности героев. А проникнувшись, увидеть реальные конфликты, которые и послужили бы художественной основой произведения.

Но вот как разворачиваются события в повести «Осина при дороге».

Корреспондент Голубев, выехавший в хутор для проверки «сигнализирующего» письма, не обнаруживает ничего, что подтверждало бы правоту добровольного «селькора» Кузьмы Надеина. Все, кого пытался он оклеветать, оказываются прекрасными работниками и такими же людьми. Все они живут дружной трудовой семьей, общим стремлением сделать жизнь лучше и богаче, и если кто им мешал и мешает, так как раз такие вот Надеины.

Еще отец Надеина отличался тем, что, «какая бы власть в хутор ни вошла, он тут как тут, на подхвате». Как на ладони со своим письмом и Кузьма. А сын Кузьмы, которого он повеличал Гением, тот уж просто вырос уголовником.

Что ж, бывает и такое в жизни... Но в данном случае сравнение «как в жизни» вряд ли прозвучит похвалой.

Зачем рассказал все это писатель? С какой целью? В чем оказался он умнее, зорче нас, тоже видавших вот такое «как в жизни»?

Корреспондент Голубев — совсем необязательная, неорганическая для повести фигура, введенная только для того, чтобы познакомить читателя с хуторянами. Правда, с ним связана тема преемственности поколений: когда-то его отец, тоже журналист, именно в Веселом был убит врагами колхозной деревни, а теперь вот и сын приехал защищать новую жизнь от цепляющегося за нее старого. Только получается, что в повести никто и не нуждается в его защите. И в самом Голубеве каких-либо заметных следов эта поездка не оставила. Так что единственная польза от нее сводится к следующему: Голубев «только сейчас понял наконец, что не зря заехал в этот глухой, отдаленный хуторок, не напрасно узнал здешних людей. Вот только сейчас ясно стало, что попался ему — причем совершенно случайно — ценный материал. Надо только хорошенько осмыслить все подробности, организовать их сюжетно в единый узел...».

То, что предстоит Голубеву и о чем А. Знаменский пишет: «осмысление» случайно попавшегося «материала», его сюжетная организация, — должно было «иметь место» и в самой повести. Но увы...

В другой повести сборника «Обратный адрес» оказывается на прицеле ложная романтика, порождающая никчемную, бестолковую «охоту к перемене мест». Но чем обосновывается «возвращение блудного сына»? Чем привязывается наново герой повести к родимым местам? Тем, что у Федора за время его скитаний умерла мать, а у брошенной им Нюшки успел вырасти шестилетний Федька — имя-то и решило все дело...

Здесь, как и в «Позднем костре», писатель рассматривает весьма широкую проблему и снова удовлетворяется весьма частным ее решением. Только если в рассказе А. Знаменский убедителен психологически, то в повести часто до-

вольствуется банальностью: у героя при известии о смерти матери «звенящая тишина проколола барабанные перепонки», а бывшие влюбленные при встрече «потеряли дар речи». Да еще тогда же «черная ворона опустилась поблизости на сухую ветку, каркнула. Ветка прогнулась — Федор смотрел и никак не мог понять, почему иссохший вербовый отросток не ломается под тяжестью, а еще пружинит и гнется, как живой».

Как это ни печально, но пишут так только в одном случае: когда конструируют, а не знают своих персонажей изнутри. Понятно, что такие приемы вызывают недоверие и к поступкам героев, — не запрограммированы ли они автором заранее, в соответствии с выбранной задачей: «романтику» развенчать, например...

...Трудно, да и надо ли давать советы писателю, за которым числится несколько вышедших книг, в том числе романов. Остается только ждать встречи с его новыми произведениями в надежде, что они-то опровергнут наши наблюдения.

Д. ИВАНОВ

У ПОРОГА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Вспомним: доверие и признание ребят отдаются лишь тем взрослым, кто с ними ответствен и честен, кто не отгораживается барьером возраста и опыта, кто не позабыл своего детского «я». В литературе для юношества к этим требованиям присоединяется еще и обязательная серьезность проблематики произведения, без скидок на возраст читателя.

Авторы помещенных под одной обложкой книги повестей * А. Коробов и В. Рожков хорошо знают своих героев — рабочую молодежь, воспитанников профтехучилищ, шестнадцати-семнадцатилетних мальчишек и девчонок, и все, что их волнует в жизни: об этом свидетельствуют собственные биографии молодых писателей, в том же залог достоверности их произведений.

Толика Мезенцева и его приятелей из повести А. Коробова «День нынешний, день завтрашний» встречаешь как старых знакомых, их характеры, размышления, поступки точно выверены, и потому быстро приходит доверие к изображаемому в повести.

Ребята увидены писателем как бы на переломе жизни. Уже за спиной детство и отрочество, у порога — день завтрашний, а с ним приходят взрослые заботы, мысли о собственном месте в жизни, о выборе профессии. Приходит ожидание любви и первая любовь.

«Завтрашний день» у этих ребят сложится по-разному. У Толи, возможно, не так, как у Валеры; цельная, думающая Вера вырастет более интересным человеком, нежели Свет-

* Первые повести. А. Коробов. День нынешний, день завтрашний. В. Рожков. Будь сильным, Чижик! М., «Молодая гвардия», 1972.

ка, ее взбалмошная подружка; не ждешь добра в будущем от заводил, дворовых ребят Чудила и Крохи — все чаще хулиганские выходки в переулке...

На заводе, где работают друзья Толя и Валера,— они начинают постигать неоднομерность мира взрослых. Оказывается, в жизни, в которую они вступают, не все так ясно и просто, как казалось в школе. Рядом с людьми, достойными уважения и доверия ребят (бригадир Сан Саныч, технолог опытного цеха Андрей Иванович, директор), они встречают и озлобленного лентяя сварщика Филиппова, и равнодушного, хотя и суетливого начальника цеха Хлопова, и любителя подзаработать — водопроводчика... Дома у Толи добрые и умные родители (как психологически точен ночной разговор отца с сыном о любви!). У Валеры родители разошлись, а о матери во дворе говорили всякое... Дворовая компания привлекательна бесшабашным озорством и «взрослой» независимостью парней, но уже и тяготит, а отколоться от нее как-то неудобно, да и страшновато: Чудило с Крохой не простят.

Жизненный материал, привлеченный А. Коробовым в повести, придает ей публицистическое звучание. Обостренное восприятие подростками мира осложняется здесь тем, что они вступают в рабочий коллектив, попадают в атмосферу предприятия, где далеко не всегда находятся умелые воспитатели, мастера, готовые передать свой опыт и любовь к делу начинающему рабочему. Тяга ребят к собственной независимости, интерес к новому миру, намерение овладеть сложной и интересной рабочей профессией подчас наталкиваются на казенное отношение. Бывает, от подростка отмахиваются. А ведь за разочарованием может прийти равнодушие, а потом и цинизм, ложное понимание своих прав и обязанностей в обществе...

Когда-то, уйдя из обычной школы в вечернюю, поступив на работу, ребята мечтали: займемся, наконец, настоящим мужским делом, получим специальность, разряд! Однако начальник цеха Хлопов не торопился приобщать их к настоящему делу, держал «на подхвате». Уходили дни, месяцы, таяла вера в свои возможности и силы, исчезали надежды на перемены, и обострялось чувство неверия в слово начальника цеха Хлопова, и более того, уже все взрослые казались несправедливыми, невнимательными...

В чужих руках работа спорилась, выглядела привлекательно, даже празднично. Вот работает слесарь дядя Жора: «Мы смотрели, как весело слетала с заржавленной болванки стружка, как на наших глазах из бесформенной железяки появлялся блестящий вал». А что же предлагают Толе с Валерой? Чистить колодец промышленной канализации?! Ах, где то время-времячко, когда они знали только те трубы из задачки о бассейне, в который через одну трубу вода вливается, из другой... Однако Валера умеет и в этой работе увидеть возможность приложения технической смекалки, вот он уже что-то и придумал...

Но пройдет еще немало времени, прежде чем с помощью людей опытных и ответственных наши молодые герои научатся отбирать в жизни главное, видеть перспективу, раз-

берутся в себе и поверят своим старшим наставникам. А любимая учительница Серафима Борисовна и Андрей Иванович предупреждают их: нельзя жить беспечно и безответственно, есть и завтрашний день. «И завтрашний день так просто не приходит. Все-таки он делается сегодня».

Автор любит своего героя, Толю Мезенцева, но не щадит его, не приукрашивает и вместе с тем справедлив к нему и чуток. В истории Толи, в его жизни на заводе, дома, во дворе, есть свои маленькие победы и поражения, борьба с совестью, отступления от принципов во имя ложного понятия чести, есть обретения и потери.

Он гордится родителями — и стыдится это обнаружить. Он влюблен в Веру, дорожит ею, светло и трепетно думает о ней, а при встречах развязен, в беседах грубоват — боится показаться таким, какой он есть. И Вера сказала: не звони больше, «ты хороший парень, но...» — «Какой?» — закричал я. Она повесила трубку. Какой? Пустой? Кретин? Сволочь? Хороший? Ка-а-ко-ой? Я точно обезумел».

За первой драмой следует вторая — Толя становится невольным виновником ранения (а может быть, и убийства?) Валеры Чудилом... «Набежали какие-то люди, и голос, похожий на Витьку, гремел над ухом:

— Это он! Это он! Он может! У них здесь такая...

Если бы это был сон! И что будет завтра?..

Чьи-то руки больно зажали меня».

Так кончается повесть. Толя расплачивается этой драмой за свою трусость перед Чудилом, рабское потакание его власти над ребятами двора, за свое затянувшееся духовное младенчество, нежелание задуматься глубоко и честно о том, что и озорство, и равнодушие к нравственным законам общества далеко не безобидны.

Повесть А. Коробова «День нынешний, день завтрашний» позволяет понять внутренний мир подростка, сложность его личности. Автор добивается большой достоверности, выбрав форму повествования от первого лица. Сам ритм повествования созвучен ритму жизни главных ее персонажей: короткие главки, небольшие абзацы, энергичное движение сюжета, острые диалоги, часто сопровождающиеся внутренним «параллельным» монологом героя. Кстати, этот прием как нельзя более здесь уместен: он показывает подростка объемно, многомерно, ибо ребята не всегда таковы, какими кажутся, — они лучше, чище, сложнее, взрослее... и уязвимее.

По совпадению вторая повесть, входящая в книжку, «Будь сильным, Чижик!» Виктора Рожкова тоже заканчивается драматически: героя повести, паренька из профессионально-технического училища Митю Чижикова, ударил ножом Санька Леший, успевший в свои неполные семнадцать два раза побывать в колонии и ныне не работающий, занимающийся нечистыми делами. Можно спорить, непременно ли такой исход жизненного конфликта должен, наконец, окончательно убедить и Толю Мезенцева, и Митю Чижикова, и других ребят из обеих повестей в том, что мир подворотен и голубятен опасно зыбок, что настоящую романтику, возможность испытать свое муже-

ство, волю, силу характера они найдут в интересной работе, пытливой учебе, спорте, среди ребят, овладевающих секретами профессионального мастерства. Пожалуй, оба автора такими «уголовно наказуемыми» сценами облегчили себе задачу: показать процесс преображения молодого человека, его духовное и гражданское возмужание. Ведь чаще всего в жизни этот процесс происходит менее драматично, однако и гораздо сложнее.

Молодой литератор Виктор Рыжков, сам в прошлом ученик-ремесленник, уже восемнадцать лет работает в профессионально - техническом училище мастером производственного обучения. Ему хорошо известно, как нелегко подростку вступать в мир труда, стать настоящим рабочим.

В повести он сумел показать добрую атмосферу внимания, заботы и требовательности, встречающую приходящих в профессионально - технические училища ребят. Они учатся своими руками создавать «умные вещи» и убеждаются, как много умения, терпения, таланта, любви должен вложить рабочий человек в свое творение — будь то всего-навсего сварной шов на трубе! Все наносное — лень, «уличные» словечки, злое озорство — с них постепенно спадает: его вытесняет гордость новой рабочей профессией, ощущение своей полезности, необходимости заводу, училищу, товарищам по группе и цеху.

И если А. Коробову больше удается психологическая мотивировка поведения персонажей и изображение жизни вне стен завода, то В. Рыжков выразительнее в картинах, рисующих сам процесс труда, его захватывающий ритм, красочность, созидательный пафос. В книжке, адресованной молодежи, это особенно ценно — увлечь читателя поэзией труда! «А вот и мартеновский цех. Пылали жаром огненные пасти печей. Гудело ненасытное пламя... Шла разливка стали. Сверкающая струя металла ровно и величественно лилась в огромный ковш... В прокатном цехе ребята увидели, как из-под могучих грохочущих валков выплывали вишнево-красные слитки. В клубах пара и дыма выскакивали друг за другом синеватые, пахнущие раскаленным металлом, зеркально гладкие листы стали...»

Но, безусловно, человек, его взаимоотношения с другими людьми остаются главным предметом исследования. И здесь В. Рожкову пока многое не удается: в повести еще чувствуется литературность, в ней немало наивно разрешаемых конфликтов, ребячьи разговоры подчас недостоверны, слишком они «правильны», приглажены. Большинство учеников ПТУ очерчены в повести бегло, и — что греха таить! — они все почти не представляют для своего воспитателя, мастера Сергея Петровича, реальных «педагогических трудностей». Взять, к примеру, Алешу Вихрова. Несколько месяцев назад сбежал он из дому, скитался по стране и прибился, наконец, к училищу. И вот как «беззубо», облегченно он поясняет свой поступок: «А. может, остановиться пора, уж не маленький. Шестнадцать скоро. Вот только дома ему почему-то тоскливо. Терпеть не мог он противные уроки, зубрить английские глаголы. Да за братишкой малым посматривать. То ли дело путешествовать!» Кажется, скитания прошли бесследно для Алеши.

И разумеется, никакого труда не стоило приобщить его к коллективу. А в жизни так не бывает...

Хочется посоветовать В. Рожкову пристальнее присмотреться к жизненному материалу, к ребятам, которые его окружают, смелее завязывать сюжетные узлы, острее ставить проблемы, глубже проникать в душу подростка — пока автор ограничивается показом внешних проявлений характера.

А вот образ мастера Сергея Колосова удался писателю больше. Пожалуй, ему в повести уделено больше места и авторского внимания. Мы видим движение образа — раздумья Сергея над предложением о новой работе — с ребятами, ощущаем его первые трудности, постижение «секретов» педагогики, верим в его любовь к беспокойным своим воспитанникам и в привязанность их к Сергею.

Обе повести решают общую художественную задачу — показать преображение юного человека в коллективе, становление его личности. Хотя, как уже мы говорили выше, не во всем замысел удался.

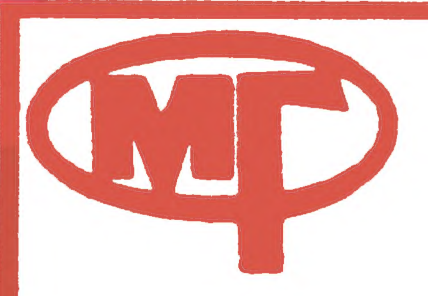
Книгу завершает небольшая статья-беседа заместителя председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по профтехобразованию В. А. Саюшева «Вам вершить пятилетки». Она обращена к тем, кому сегодня «от 14 до 18 лет». Беседа эта, прочтенная после повестей о жизни молодых рабочих и учащихся профессионально - технических училищ, обретает как бы образное воплощение. И поэтому будет «услышана» большим числом ребячьих сердец.

Н. ПОДЗОРОВА

Ст. художественный редактор Ю. Киселев

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 3/IV 1973 г. Подп. к печ. 21/V 1973 г. А00718.
Формат 84×108[1]/32. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 474 000 экз. Зак. 665. Цена 60 коп.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.



НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

- На первой странице гравюра художника В. Носкова «На тренировке».
- На третьей странице репродукции картин московского художника О. Осина «Растет город Усть-Илим» и «Дорога на Усть-Илим». Картины экспонировались на Всесоюзной молодежной выставке 1972 года. Очерк А. Зябрева об ударных комсомольских стройках Сибири читайте на стр. 246.

Цена 60 коп. Индекс 70544